

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Но Сергей никому не прислуживал.
Он и не знал, почему так, но не мог он
и всё. Он не решал, что не будет при-
служивать, не гор-
дость, не самоуве-
ренность или там
еще что-то руково-
дили им... Просто
не мог он и всё.
Один раз его избил
шваброй, втем-
ную, избил так,
что он оказался в
больнице...



Михаил Ломкин

А мне бы жить и умереть оленем.
Над озером в заснеженном лесу.
Где каждый взиз могучим
разветвляемь
Удерживает
звезды на весу.
Пускай всю жизнь
облавы и погони,
И ледяные ветры
всех ночей,
Но только б не за
провоолокой в Зоне
Под отческим при-
смотром стучачей.

Иван Елагин



...вернемся к размыш-
лениям об экономичес-
ком укладе Страны Со-
ветов. В утверждении,
что уклад этот – госу-
сударственный капита-
лизм, содержится утвер-
ждение, что экономика
Страны Советов не со-
циалистическая. Это
вредное и опасное заб-
луждение. Оно жи-
дется на романтичес-
кой вере в социализм.



в строй, лучше всяко-
го другого соответст-
вующий истинной при-
роде человека. (Замечу
в скобках: за исклю-
чением коммунизма,
до которого первооб-
ытные люди досрели в
свое время, а совет-
ские граждане только
дорастают в процессе
строительства социа-
лизма...)

Райса Берг

Красный смех Андреева пророчен,
Красной стала в лагерях параша,
Красная слона у заключенных
Красная слеза у
привлеченных,
Красный век
словами позолочен,
Красными досками
заколочен...
Ты, Владимир
Красно Солнышко,
прости, –
Неизбывны
Красные грехи,
Сергей Петрунис



Теперь, к сожалению, писатели раз-
розненны, писатели не устраивают
творческих вечеров. Я пошел на
творческий вечер
одного поэта, вме-
сте со мной там
оказалось один-
надцать человек.
Такое было совер-
шенно невысимо
в Париже... Зна-
чит, тут по-насто-
ящему литератур-
ной жизни нет.

Андрей Седых



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,
D. C. 20008, USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikaiga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова

Ⓚ

КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

46

**Издательство «Континент»
1985**

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Елагин – Стихи	7
Владимир Максимов – Звезда Адмирала. Глава из романа	14
Бахыт Кенжеев – 1984. Стихи	58
Иосиф Бродский – Путешествие в Стамбул	67
Юрий Кублановский – Новые стихи	112
Михаил Лемхин – «В синем небе звезды блещут». Рассказ	120
Сергей Петрунис – Четыре стихотворения	139
Юз Алешковский – Смерть Ленина. Рассказ. Из книги «Пустая посуда»	142
Юрий Иофе – Франкфурт/Майн, январь 85. Стихи	168
Израиль Малер – Бедные люди, или Двадцать писем к другу. Избранные места	173
Роман Бартель – Стихи	189
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Раиса Берг – Политэкономия социализма	193
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Томаш Мяннович – Из записной книжки экстремиста	207
Милован Джилас – Горбачев: предостережение	215
ЗАПАД – ВОСТОК	
Эрнст Нейзвестный – Трагедия свободы	219
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Александр Хухулин – Умерщвление таланта	233
ИСТОКИ	
Михаил Линецкий – Карл Маркс и евреи	237
ИСКУССТВО	
Семен Черток – Урок Эйзенштейна	283

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Наум К о р ж а в и н – Гармония и утопия	327
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	351
НАША ПОЧТА	355
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Анатолий К о п е й к и н – Лев Лосев, поэт	381
Кира С а п г и р – Дальний брег Палисандра	385
Е. Т у д о р о в с к а я – Путеводитель по «Заповеднику»	389
Василий Б е т а к и – Сотворение универсума	393
Любовь Ф е д о р о в а – Книга о балетмейстере Баланчине	397
Э. Ш т е й н – Русская литература и американские слависты	402
КОРОТКО О КНИГАХ	407
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	409
НАША АНКЕТА	
Беседа с Главным редактором «Нового Русского слова» Андреем С е д ы х . Ведет профессор Декон Глэд	413
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

* *
*

Где машина мчится за машиной
И под мост ныряет, как в провал,
Эллина в тунике с дудкой длинной
Кто-то на стене нарисовал.

Кружатся однообразно сутки,
День и ночь машины мчат и мчат,
День и ночь играет он на дудке,
Как тысячелетия назад.

Ничего, что ветры воют дико,
Что снега бегут над ним гурьбой,
Что с годами синяя туника,
Выцветая, стала голубой,

Что вблизи встает махиной жуткой
Небоскреб во весь гигантский рост...
Как тебя с твоей смешною дудкой
Занесло сюда, под этот мост?

Ты о чем горюешь одиноко
И в уединении своем,
Может быть, играешь песню Рока
Тем, кто тут мелькает за рулем?

Ты глядишь из мрака ниши узкой
И напоминаешь мне о том,
Что и я с моею дудкой русской
Оказался где-то под мостом.

* * *
*

Меж небом и землею в коридоре,
Похожие на поседевших птиц,
Мои друзья и я в житейском море
Качаемся на палубах больниц.

А было путешествие отменным,
Благоговейно поклонились мы
Камням Европы, все еще священным,
Америки увидели холмы.

Спеша путем подъемов и обвалов,
Мы чувствуем по холоду в груди,
Что никаких других не будет палуб,
Что гавани остались позади.

* * *
*

Привыкли мы всякую ересь
Читать на страницах газет.
Твердят, с географией сверясь,
Что я эмигрантский поэт.

Известно, что терпит бумага
Все, чем ее ни нагрузят.
Но если я даже бродяга,
У книг моих есть адресат.

Пускай и ухабы и встряски –
Мое кочевое житье,
Но разве должно быть в участке
Прописано слово мое?

Иль, может быть, критик циничный
Действительно способ нашел
В стихи мои столб пограничный
Забить, как осиновый кол?

Художника судят по краскам,
Поэта – по блеску пера.
Меня называть эмигрантским
Поэтом? Какая мура!

* *
 *

В тот темный год отца из дома увели.
Под рев ветров заупокойных,
Казалось, треть страны в тот год ушло с земли
В сопровождении конвойных.

Год пыток, год смертей, год сталинских расправ,
Процессов, массовых расстрелов,
Вожди беснуются, стране хребет сломав,
И бед на сотни лет наделав!

Год ссылок и разлук, арестов и тревог,
Год всероссийского погрома!
Я вспоминаю блеск начальственных сапог
И грозный окрик управдома.

Он всюду как шакал вынюхивал беду
И, будучи дельцом прожженным,
Кому-то сразу он, как водится, за мзду,
Сбыл нашу комнату с балконом.

А я, заткнув в полу крысиную дыру,
Мой стул, мой стол, одежду, койку
Легко перетащил в пустую конуру,
Где видишь из окна помойку.

Однажды вечером я в свой чулан иду
 (Я где-то ночевал у друга).
Сосед мой, торопясь, кивнул мне на ходу,
 Глаза скосивши от испуга.

А позже я узнал, что в эту ночь за мной
 Какие-то явились трое.
Еще наслушаюсь я брани площадной
 Осатанелого конвоя.

А в институте все я рассказал друзьям,
 Я навсегда прощался с ними.
Я думал, что меня сошлют в Сибирь, а там
 Сгноят в каком-нибудь Нарыме.

А вечером один сидел я в тишине.
 Окна темнела крестовина.
Ждал, что придут за мной, но с шумом вдруг ко мне
 Ввалились Жорж, Борис и Нина.

У каждого из них какой-то тюк в руке.
 – Бери-ка теплые вещицы!
– Достали кое-что! Не дело налегке
 Тебе по холоду тащиться!

Но брать мне не пришлось тех сказочных даров.
 Причиной опасений ложных
Была как раз в ту ночь проверка паспортов
 У элементов ненадежных!

Страна, где прошлого зола еще тепла,
 Страна, где волны страха катят,
Там хватит, может быть, на сто столетий зла,
 Но и добра на сто столетий хватит.

* *
*

Он красоту от смерти уносил!

Бунин

Олень упал. Пробила шею пуля.
За деревом, его подкарауля,
Стояла смерть в дубленном кожухе,
В папахе старой и с ружьем в руке.
Олень хрипел и скреб рогами пень
И, умирая, вздрагивал олень.
Казалось, что он жаловался громко,
Казалось, что, собрав остаток сил,
Он Бунину рассказывал о том, как
Он красоту от смерти уносил,
Как жил в лесу, щипал кусты по скалам
И спал, укрывшись звездным покрывалом.

И в тот же самый день в больнице где-то
Родился человек и стал кричать.
О нем уже заполнена анкета,
Указаны его отец и мать,
Какой в нем вес, глаза какого цвета,
Стоит на папке номер и печать.
В хранилище особого отдела
Заведено на человека дело.
И кажется, что в этой папке плотной
Весь человек упрятан как живой –
Он с метрикой, он с книжкой зачетной,
С дипломом он и с книжкой трудовой,
Он с паспортом и с воинским билетом,
Он на расправу справкам и анкетам
И бюрократам выдан с головой!
Там аккуратно сложен каждый листик,
Там человек измазан дегтем лжи
И вывален в пуху характеристик!
И в сыске искушенные мужи

Там только ждут условленного знака,
Чтоб, шутку безобидную твою
Истолковав превратно и двояко,
Состряпать уголовную статью.

А мне бы жить и умереть оленем,
Над озером в заснеженном лесу,
Где каждый вяз могучим разветвленьем
Удерживает звезды на весу.
Пуškai всю жизнь облавы и погони,
И ледяные ветры всех ночей,
Но только б не за проволокой в Зоне
Под отческим присмотром стукачей.

* *
*

Надо дальше жить, говорят.
Говорят – вспоминать не надо.
Лучше будь, как другие, рад,
Что достал кило мармелада.

Отдыхающий Пилат
Поедает мармелад.

Наслаждается Пилат.
Он большой начальник.
Посреди его палат
Новый умывальник.

Пусть невинного казнят
Иль ведут на муки –
Осмотрительный Пилат
Умывает руки.

Пусть рабы в цепях стоят,
Строят акведуки –
Обтекаемый Пилат
Умывает руки.

Надо дальше жить, говорят.
Говорят – вспоминать не надо
Озверело-угрюмый взгляд
Конвоира и блеск приклада.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы
самиздата, протесты из СССР, произведения лучших
эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ЗВЕЗДА АДМИРАЛА

Глава из романа

*«Все свершалось не по воле Наполеона,
не Александра Первого, не Кутузова, а по
воле Божьей».*

Лев Толстой

Глава первая

АДМИРАЛ

1

В гулком омуте дворового колодца кружились белые мухи зацветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближние крыши солнца цветы в палисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады ярких лодчонок. Со двора, в распахнутые настежь окна, тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней.

Оттуда, из-за крыши соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная перекличка с дымившей поблизости товарной станции.

В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивало мушиным зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, врывающимся в окна откуда-то со стороны.

Эту историю она рассказывала себе всю жизнь с того дня, когда ружейный залп над февральской Ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцветчивался все но-

выми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности.

Эта история тянулась за ней, как нитка за иглой, через Иркутский централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время завершило вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилось.

У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а была замкнутая на самое себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней, смерть, небытие.

Когда это случилось? И случилось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред, не отпускающий ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы?

Но если это так, то откуда же тогда сквозь тополинный пух майского дня тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем Ангары.

Было это, было, и никуда от этого не денешься!

2

– Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах, и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линияющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял печальный и бледный среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клуби-

лась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услышала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожаления и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет – лучше я один, а ты живи, ты должна жить!» Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманулась в нем, но

он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содому всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, – но лишь трагил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забвение любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневым дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием. «Аннушка, – шептал он мне, – прости меня». – «За что! – отзывалась я. – За что, Саша!» – «Я не смог сделать тебя счастливой». – «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». – «Но ты достойна лучшего». – «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала ни себя, ни своего сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только иртышская вода сомкнулась над ним. Тридцать шесть лет лагерей, тюрем и частной жизни затем я лишь влачила здесь свое

бренное тело по воле Господа. Его предали подло и уни-
зительно, предали за кучку золота, предали люди, кото-
рым он безоглядно доверился. Что ж, мать городов
славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь
плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же
помнят правители и народы, какой ценой расплачива-
ются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом!
Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы
повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он
отрекался от нашей любви, от наших клятв и обяза-
тельств во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву
ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять
от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила
одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не
заслуживала этого, слишком большой для меня каза-
лась им эта честь, таким недостижимо высоким они его
видели. Говорят, он вел себя до конца как подобает муж-
чине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его
равное спокойствие в течение всего следствия, его бла-
городство по отношению к своим бывшим сотрудникам,
вину которых он полностью брал на себя. Говорят,
единственным занятием его в перерывах между допро-
сами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен
Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей
веры, наподобие Иова, а принял их, со смирением и
молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что
творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же
чашу. До сих пор мне непонятно только одно, зачем им
понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко
мне, какую опасность она для них представляла, что
могла изменить? Где мера этой непонятной черствости,
этой душевной глухоты, этого нравственного падения?
Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь
войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и
перемены его зов, его последнее «прости» всё же дошло
до меня, а значит – так было угодно Всевышнему. Я зна-
ла, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роко-

вую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем отплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр свет Васильевич!..

* *
*

Было это, конечно было, хотя намного короче и проще.

3

В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилось, и, кутаясь в шубу, Адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседование допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все «за» и «против» вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести, есть ли за ним вина во всем, уже случившемся?

Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему, возможность задержать или смягчить окончательный обвал у него оставалась, стоило ему только принять предложенные противником законы «игры без правил», что, может быть, если не изменило бы результаты, но сохранило бы многие, преданные ему жизни, правды, за счет чужих и тоже многих. И хотя, конечно

же, в его окружении иные не гнушались невинной крови и чужого добра, – в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабые быстро теряли голову, – сам он, даже в минуты полного отчаяния, так и не смог преступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей.

В первые дни после выдачи Адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андреич – добродушный дядька из старых тюремных служак относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятуя, видно, мудрое правило осторожной жизни: нынче князь, завтра – в грязь, а послезавтра опять в чести.

Заглядывая в камеру, он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же:

– Морозит, ваше превосходительство, мочи нету, сопля с лету мерзнуть, собаку зашибить можно.

И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношенной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то – от них же! – какое-либо съедобное подспорье: тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше.

То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе – облегчало ему собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее: слишком вызывающе вела она себя при аресте.

О, как ему хотелось бы, чтобы она оказалась сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем.

«Только бы ее миновала чаша сия, – иступленно молился он про себя, – смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной!»

Когда в одной из последних записок Анна сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску, на него впервые пахнуло дыханием близкого конца: комитетчики, которые теперь полностью контролировались большевиками, в случае успеха каппелевцев не оставят его победителям живым. Но, несмотря на это, он страстно желал им такого успеха: если уж ему все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден.

Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево Северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он, если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения, их могло спасти только чудо, но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же, не случилось, и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении: не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести.

Адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери. И по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он, с мгновенно холодеющим сердцем, догадался, что пришли за ним и – в последний раз.

После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревянело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры: «Господи, – четко отпечаталось в его мозгу, – укрепи душу раба своего Александра!»

Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного

проема, чуть ли не вытолкнув впереди себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам – чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же, подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать Адмиралу постановление Иркутского ревкома.

Слова тот выговаривал, будто от кого-то отругиваясь, зло, отрывисто, с вызовом, на Адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится, на себя или на осужденного.

Выслушав приговор, Адмирал, скорее, чтобы разрядить возникшую напряженность, чем недоумевая, спросил:

– Значит, суда не будет?

Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу, и вышел за ним следом в такой близости, что Адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке.

Так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили и Пепеляева.

Бывший премьер, видимо, уже находился в полной прострации. Тяжелая коренастая фигура его заметно съезжилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более поблекли, провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, в синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание:

– ...яко видется очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на Адмирала:

– Есть ли у вас просьбы, адмирал?

– Могу ли я попрощаться с госпожой Тимиревой?

– Нет. – Отказывать ему, может быть, и не доставляло радости, но властью своей он упивался. – Еще что?

– Тогда я прошу передать моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына, а для себя – закурить.

– Если не забуду, то сообщу, а курить – курите.

– Благодарю...

Памятью Адмирал еще жил в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидания или кого-то благословлять и – что самое удивительное! – получать на это разрешение, но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать наверняка, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять.

А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву:

– Что у вас, только не размазывайте?

Тот, словно бы внезапно очнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полую полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложенный вчетверо листок бумаги.

– Что это? – скривился Чудновский.

– Записка матери, – еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием, умоляюще: – Пожалуйста.

– А! – отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою. – Выводите!

В неверном свете керосиновых ламп лица двинувшихся к Адмиралу конвойных вдруг обозначились перед ним резче и определеннее. И он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика.

И только один из них – из-под офицерской, не по размеру папахи тюленьи глаза над пуговкой вздерну-

того носа, – пропуская его вперед, злорадно осклабился:

– Отвоевался, вашество...

«Господи, – шагнул мимо него Адмирал, – они даже шутить уже разучились по-человечески!»

В безветренной ночи под луной скрип наста под ногами казался почти оглушительным. Сквозь уже подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемней, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, а клубился под сердцем пьяняще и освежающе. На фиолетовом снегу, заштрихованном размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны.

Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в Адмирале это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего:

– ...Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков...

Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куцые флотилии торчавших из-под снега в морозной наледи могильных крестов, сразу же за которыми маячило черное полотнище сплошного леса, а над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим, будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда. Его звезда.

Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с Адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского:

– Здесь, – выплюнул он в ночь. – Конвою развернуться в каре. – И уже пристраиваясь в затылок осужденным: – Пройдите вперед!

Пепеляевское бормотание за спиной Адмирала делалось громче, надрывнее:

– ...Крестителю крестов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: Тебе бо дадется благодать молиться за ны...

Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади:

– Достаточно. Встаньте рядом, – и, приблизившись вплотную к Адмиралу, впервые за все это время прямо взглянул ему в лицо. – Если у вас есть платок, адмирал, вам завяжут глаза.

– Платок у меня, разумеется, есть. – Он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивал это самое «разумеется». – Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память, только осторожнее, в нем зашит яд – может, он когда-нибудь вам пригодится.

Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало осунулось, в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского недоумения:

– Что же вы не воспользовались этим сами, адмирал?

– Вы безбожник, уважаемый, для вас это будет легче.

– Думаю, что мне это едва ли пригодится.

– Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь.

...Ты вспомнишь его слова, Чудновский, вспомнишь, когда поволокут тебя сопящие от азарта «молотобойцы»* по лестничным пролетам внутренней тюрьмы в ее расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского платка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в ряд смертоносного оружия мировой буржуазии!

– ...Под Твое благоутробие прибегаем, – пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто, – Богородице,

* Молотобойцы – заплочных дел мастера. Чекистский жаргон.

моления наша не призри во обстоянии, но от бед избави ны, едина Чистая, едино Благословенная...

Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника:

– Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански?

– Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть, и нестерпимый возопий Господу во умиление сердца: согреших Ти в ведении и неведении, щедрый, молитвами Богородицы, удщери и спаси мя...

Тот, видно, находился уже по другую сторону сознания.

В медленно удаляющихся шагах Чудновского чувствовалась грузная тяжесть, и, окажись у Адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо, он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения.

– На изготовку! – коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом. – Пли!

Странно, но Адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим перед ним возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекаая его к этому свету, и, осиянный оттуда встречной волной, он радостно и освобожденно растворился в ней.

Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростертое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.

Ленин – Склянскому:

«Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: (шифром).
Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не

печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно?»

Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках:

«Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало, ближе к ночи, особенно, когда луна, топчешься вокруг дома, а с терраски вдруг тоненько-тоненько так, вой доносится, ну точь-в-точь будто волчий, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать, вот он, болезный, и надрывался, от тоски, видно, помирать не хотелось, а кому, скажи на милость, хочется?..»

Об Э. М. Склянском:

«В 1924 году снят с поста заместителя Реввоенсовета Республики, отправлен в США и уже там, спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами в одном из многочисленных американских озер».

Смирнов – Ленину и Троцкому:

«В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов... Сегодня ночью дал по радио приказ Иркутскому штабу коммунистов (с курьером подтвердил его), чтобы Колчака в случае опасности вывезли на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме».

Он же – исполкому Иркутского совета:

«Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения Советской власти в Иркутске, настоящим приказываю вам находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя совета

министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Из книги Роберта Конквеста «Большой террор»:

«Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Воркутинского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркуты, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других „нежелательных“».

Оттуда же – последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году:

«Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Сообщение о Троцком:

«20 августа 1940 года во второй половине дня советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью (о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике) и, когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом».

Вот так, господа хорошие, вот так!

Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг

и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место.

За несколько месяцев здешней колготни Адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего встречался с военными или чиновниками, реже – со светской публикой, на поездки вглубь территории и на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное.

При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший, наподобие некоего панциря, их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки, жесты, обволакивающее радушие служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений.

Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразъедающего скепсиса с болезненным снобизмом. Не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни к чему на свете, аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговения перед разного рода знаками, чинами, званиями – благоговения, свойственного в России разве что исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой Тьмутаракани. По количеству различного калибра «президентов», «полковников» и «командоров», стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации.

Панибратски похлопывая по плечу всякого встречного-поперечного и «тыкаясь» со всеми напропалую, каждый из них, тем не менее, с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим

образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах.

У каждого сословия здесь существовала если не в полном смысле своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий, поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста, а здешние парады и празднества отличались таковой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались целью доказать свое неоспоримое превосходство перед любыми претензиями Старого Света на этот счет.

Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному анализу и осуждению подвергалось вся и все, невзирая на значимость явления, уровень круга или положение лица, но – странное дело! – с течением времени Адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии никто не осмелился возразить своему прямому начальнику, без чего, к примеру, в куда более консервативном русском Морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание.

В частных же разговорах дело обстояло еще своеобразнее. Свободомыслие собеседника простиралось обычно лишь до пределов узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведущий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался, навсегда вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интересов. О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело, «как у людей», тем самым ежедневно и ежечасно благодатно

унаваживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку.

Но что действительно восхищало его в Новом Свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но, слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность.

Они чем-то походили на больших детей и, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем не лучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот.

Слов нет, они были также великодушны и незлопаметны, отзывчивы на чужую беду, но стоило этим прекрасным качествам принять организационные формы, как, героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою полную противоположность. В результате, забавно было наблюдать их искреннее недоумение перед той неблагодарностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы.

Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущее всяким неофитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создало, по мнению Адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир.

Опасность здесь, как думалось ему, таилась в роковом несоответствии распухающей, словно тесто на дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития восходил так беспорядочно и резко, что культура по самой своей умеренно поступательной сути просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью, когда человек, занятый в этом процессе, зачастую не имел никаких, хотя бы приблизительных общих знаний или элементарных понятий об этике и морали.

В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но, тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению Адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни канализировать: человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против самого себя, против своей собственной природы.

К сожалению, и тут и там во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы, но в кажущейся покорности, в их показном раболепии всегда вызревал бунт, тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закабаление. Сумеет ли, догадается ли Новый Свет вовремя осознать стерегущую его опасность и добровольно, не ожидая взрыва, исподволь выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух – вот в чем вопрос.

И все же, чего бы там ни говорить и как бы там ни судить, в Адмирале за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она – эта противоречивая, по-своему наивная, напористая и уступчивая, застенчивая и кичливая, воинственная и робкая, но в то же время еще не утерявшая своей связи с Богом страна.

Рабочий день Адмирал начинал с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову, с вестей из России. Сегодня, среди броских заголовков об очередном краснбайстве Керенского и чхеидзевской говорильне ему на глаза попало крохотное, набранное нонпарелью, сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов – Владимира Ульянова-Ленина.

Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей, заметка эта не могла привлечь внимания или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стремительно сменявшихся друг друга известий из России, но, едва осмыслив ее – эту заметку, Адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело: и в нем сразу же, с обессиливающей ясностью, определилось, что это – начало конца.

Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной – да и то полуподпольной! – поверхности, Адмирал, интересуясь запутанным, как всегда в их говорливом отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды писучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии.

Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая иступленная уверенность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно – этот человек знает, чего он хочет, и не остановится ни перед чем, чтобы достичь поставленной цели.

Этот человек, в чем Адмирал с годами все более убеждался, знал главное для политика – человеческие слабости – и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную сво-

боду, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет – авторитет вождя. Он допускал всё, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью, при счастливом стечении обстоятельств, оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья?

Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачных предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освящалось самой Справедливостью, но и вменялось в обязанность.

Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковверным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея: пусть будет хуже, зато поровну.

И, что самое поразительное, в чем Адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо. И это чудо подарила ему война.

Российская телега стронулась с места и покатила под гору. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить, от греха подальше, на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь

мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхеидзе у него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов, и он, в чем Адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения.

Ему вспомнилось, как еще в апреле, во время визита к Плеханову, к которому он обратился с просьбой выступить против большевистской агитации на фронте, тот, характеризуя своего бывшего ученика, сказал с усталой безнадежностью:

– Ульянов способен на всё: понадобится – родной матери глотку перережет, так-то, батенька...

По сравнению с этой угрозой все в памяти Адмирала тушевалось, съезживалось, отходило на задний план: жена, сын, Анна, собственные планы и карьера. На карту ставилась судьба России и, наверное, не только ее одной. В душе его; пока еще едва ощутимо, исподволь, вызревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели всего того, с чем связана была его жизнь с ее укладом, традициями и корнями, но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью: он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем.

С этим он и постучался в кабинет помощника военно-морского министра.

Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного равнодушия.

– Хелоу, адмирал, рад вас видеть! – белоснежные клавиши ухоженных зубов ослабились навстречу гостю, уже не угасая до самого конца разговора. – Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем? В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам...

Краем глаза Адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под

наспех и небрежно наброшенных сверху бумаг: помощник министра явно изнывал от безделья, а потому был словоохотлив пуще обычного:

– Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах: Россия, Россия, Россия! Русские теперь самые модные люди в американских салонах. Что вы обо всем об этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться?..

Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита.

– К чему так драматизировать события, адмирал! – улыбка хозяина в душной полутьме кабинета расцвела еще лучезарней и снисходительнее. – В Петрограде просто стало одним демагогом больше, вот и всё. Пройдет два-три месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как и обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу, дайте им всем там перебеситься, толпа в конце концов устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега, тогда и вернетесь себе спокойно, разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь! Вы уже совершили в нашем минном деле целую революцию!

При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка, лице американца без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств: «О, эти русские, никак не могут без аффектации, подумай, историческое событие, некий заштатный социалист выполз из подполья, стоит ли из-за подобных пустяков так взвинчивать себя! Сколько в них еще дикости, в этих слегка европеизированных азиатах!»

Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дис-

куссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу:

– Я только выполняю свой долг, сэръ.

Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение, и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся:

– Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности у нас нет оснований задерживать вас, но, тем не менее, я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги...

Уходя, Адмирал только окончательно утвердился в своем решении: домой, и как можно скорее!

6

Во сне к нему пробился отдаленный колокольный звон. Приходя в себя, Адмирал никак не мог отделаться от вязкого недоумения: откуда он – этот звук – в таком небольшом японском городке, как Никко, за многие сотни верст от ближайшего берега России?

Густой, протяжный звон заполнял его, вызывая в сонной памяти зыбкое чередование картин и видений давно минувшего: отец в парадной паре перед зеркалом в передней их петербургской квартиры, Крестный ход по Обуховке, над праздничной пестротой которого слепяще сияет золото образов и хоругвей, карнавальная радуга рождественских елок на марлевом фоне январского снега, и, сквозь все это, укоризненный голос няньки – Натальи Савишны: «Ох, Сашок, ох, барчонок мой неумный, остепенись, не сносить тебе головы!»

Затем, одновременно с наступающим пробуждением и чувством реальности, к нему возвратилось все то же, точившее его в эти дни тревожное нетерпение: «Пора, свет Александр Васильевич, пора дальше двигаться, засиделся ты тут, у моря погоды не высидишь!»

Солнце сочилось сквозь бамбуковые жалюзи – тихое, ровное, вкрадчивое. Там, за этими жалюзями, облитый зоревым свечением, притаился город, весь в колдовской вязи ручьев, ручейков и крошечных водопадов: крылатое скопище хрупких, словно бы карточных крыш вокруг лаковых ярко-кирпичного цвета шинтоистских храмов, в обрамлении зеленых вековых кренти-мефий. Уголок земли, словно нарочно придуманный для безмятежного забвения. Видно, недаром в Японии говорят: «Не говори слово „кекко“*, пока не видел Никко».

Второй месяц Адмирал жил здесь, в почти игрушечном номере случайной гостиницы, скрываясь от назойливости журналистов и политиканов средней руки, но они настигали его и тут, с вежливым упорством настаивая на своем праве разговаривать с ним: бесшумно вскальзывали к нему в номер, часто, долго, улыбочиво кланялись, усаживались против него на корточки и вперялись ему в лицо с вопросительной требовательностью.

И хотя любопытство гостей не выходило обычно за рамки злободневных русских событий, за бездонной тьмой их раскосых глаз Адмирал угадывал их неистребимое любопытство не к нему лично – нет! – а к географическому пространству, которое он для них олицетворял и которое отдавалось в них заманчивым эхом – Россия.

Что-то грозное и неотвратимое чувствовалось в этом их любопытстве, так бывает во сне, когда человек и подсознательно догадывается о призрачности своего страха, и в то же время не в состоянии сопротивляться ему. Вот уж воистину: Восток есть Восток!

Окончательно отряхиваясь от остатков дремы, Адмирал без труда вообразил себе предстоящий день. После завтрака, с его утомительно тягучими «чайными»

* Кекко – восхитительно (японск.).

церемониями, без которых здесь невозможно было выпить даже стакан воды, появится Володя Крымов – его новый знакомый, издатель «Столицы и усадьбы», сравнительно молодой, но образованный человек с далеко идущими издательскими и литературными амбициями, и до самого обеда они снова примутся плести и плести по-московски бесконечный разговор о судьбах России, о Гражданской войне, о большевиках, о неблагодарности союзников и снова о судьбах России.

Затем, после еще более утомительного, чем завтрак, обеда, к нему потянутся визитеры, один другого усидчивее, и речь опять-таки будет идти все о том же: о российских делах, шансах Белого движения, намерениях союзников, большевистском терроре и по-прежнему – о будущем страны.

И только где-то под вечер ему удастся вырваться из этого заколдованного круга праздной болтовни, чтобы встретиться с Анной и побродить с ней вдвоем по догорающим в отсветах закатного зарева городским улочкам, разговаривая обо всем на свете, но так и не успевая наговориться. И, конечно же, в эти, первые в их жизни дни наедине друг с другом главной, выжигающей душу болью была покинутая ими страна.

Еще на Обуховке, едва осознав себя, он проникся острым ощущением своей принадлежности к тому незримому вблизи, но огромному в его воображении телу, что в обиходе звалось Россией, родиной, русским государством. С годами – дома, в гимназии, в корпусе, на флоте – эта звенящая связь только укреплялась в нем, приобщая его к мощи и несокрушимости всего тела в целом. Казалось, нет, не найдется на земле такой силы, какая смогла бы поколебать их, слитых вместе одной историей и судьбой. Окружающий мир выглядел для него таким устойчивым и прочным, что любые политические или военные неурядицы представлялись ему не более, чем досадной рябью на ровной глади людского моря.

И лишь после крутого японского урока и грянувшей вслед за ним беды Пятого года, в нем впервые пробились и взялись его подтачивать сомнения в извечной незыблемости отечественной твердыни: слишком уж явно обозначили эти встряски швы, по которым прорисовывалась роковая трещина, разделившая русское общество надвое и навсегда.

И стянуть, заживить эту трещину было уже невозможно, оставалось лишь навести на нее стыдливый грим, но она вновь выявлялась при первой же неувязке: смене кабинета, случайной катастрофе, стихийном бедствии. Любой, даже самой пустяшной причины оказывалось достаточно, чтобы стороны немедля вступали в непримиримое единоборство, не считаясь со средствами и последствиями.

Адмирал мучительно доискивался истоков такой непримиримости. Нищета неимущих? Разорение дворянства? Социальная зависть? Утрата веры?

Задумываясь над этим, он, в конце концов, постепенно начинал приходить к убеждению, что если даже это все, вместе взятое, и способствовало разделению страны на два противоположных лагеря, то еще не определяло полностью причин и сути возникшей вражды.

Вдоволь помотавшись по свету, он встречался с нищетой много хлеще и куда непригляднее. Дворянство как производительная база вырождалось повсеместно. Зависть заложена в природе человека вообще. Вера везде подогревалась лишь самоотречением подвижников да усилиями заинтересованного клира. Россия в этом смысле мало чем отличалась от большинства других стран и людских сообществ, но только в ней слепая злоба достигла такого смертельно губительного накала.

Тогда что же? Словно огромную мозаику – из фактов, фактиков, догадок, печатных и устных свидетельств, снов и химер – складывал он с течением времени мысленный образ страны, смешавшей на своем огромном пространстве сотни языков, десятки вер и

верований, множество культур и культов, филий и фобий, суеверий и предрассудков. И монархия, благодетельная в пору географического слияния, когда только воля самодержца в состоянии была удержать в единой узде центробежные силы стремления к распаду, оказалась бессильной, а порою и не желающей соответствовать ее становлению и расцвету. В последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда-то леонтьевской мысли: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.

Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки в Харбине и Пекине, попытался было собрать в единый кулак разрозненные политические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его энергия тогда рассосалась в изматывающих душу спорах об амбициозных пустяках с плодившейся после февраля семнадцатого, как саранча, крикливой оравой кандидатов в Наполеоны и наполеончики, и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный.

Об этом долгими вечерами он и говорил с Анной, изливая в словах источавшие его сомнения: Боже мой, Боже мой, неужели это и вправду конец?..

Стук в дверь вернул его к яви, напомнив о том, что день начался. Стук прозвучал не по-крымовски, для Крымова он был слишком продолжителен и резок, и не успел Адмирал откликнуться, как на пороге возникла подбористая фигура в штатском, под которым без труда угадывалась отменная строевая выправка:

– Ваше превосходительство, – белые, с нездоровым блеском внутри, глаза гостя на юношеском, почти детском лице выглядели чужими, – разрешите представиться, корнет Савин, только что из Сибири, по совершенно безотлагательному делу...

После первой неловкости, вызванной неожиданно вторжением, Адмирал кивком головы предложил гостю войти, но тот словно и не нуждался в пригла-

шении, ринувшись лихорадочно кружить по крошечной комнате:

– Сибирь ждет, адмирал, – с места в карьер заспешил гость, – от Приморья до Урала народ жаждет сражаться с большевиками, народу нужен только вождь и этот вождь – вы, адмирал. – Во взвинченной экзальтации гостя чувствовалась неподдельная искренность, но тем заметнее проступал в нем отсвет безумия. – Я был у Дутова, я был у Семенова, у Калмыкова, по первому вашему зову двести тысяч сабель выступят навстречу врагу. Чехи устали от претензий бездарных самозванцев из Комуча, им тоже необходим авторитет, облеченный ничем не ограниченной властью, антибольшевистские партизаны действуют по всей территории Сибири, я берусь собрать их в один кулак, и все эти силы мы без промедления двинем на соединение с добровольцами на Юге и вместе с ними пойдем на Москву, разгоним там всю эту жидовскую банду и установим порядок. – Он вдруг замер против адмирала и, вытянувшись по стойке «смирно», щелкнул каблуками стоптанных сапог. – Скажите слово, адмирал, и я пойду за вами в огонь и в воду!..

Гость вперился в Адмирала своими горячечными глазами, и, судя по всей его отчаянной напряженности, готовой каждую секунду сорваться в бег, в лет, в новое лихорадочное кружение, можно было поклясться, что, скажи ему и вправду сейчас слово, да что там слово, кивок сделай, он, не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду.

«Боже мой, Боже мой, – передернула Адмирала тоскливая жалость, – проклятое время, оно не пощадило даже таких вот, совсем безусых!»

А вслух сказал:

– К сожалению, корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый-географ, я никогда не имел никакого отношения к политике, да и, признаться, не питаю к ней особого почтения, к тому же, сухопутная война для

меня – темный лес, боюсь, что могу оказаться никудышным вождем и обмануть ваши надежды.

Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души если не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль, но сейчас, видя перед собой юнца, почти мальчика, уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не считал себя вправе подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой.

С каждым словом Адмирала пухлое, с младенческими ямочками на щеках лицо гостя покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опали книзу, рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него, он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук захлопнутой в сердцах двери.

Но если до этой неожиданной встречи Адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию, прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел, не считал для себя возможным долее здесь оставаться: каждый день, каждый час, каждая минута становились отныне для него невозможными.

Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением:

– Надо ехать, дружок, здесь мы только попусту тратим время, теперь не только день, час дорог.

Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятный для них двоих разговор:

«– Ты все же надеешься?

– Я должен надеяться.

– По силам ли тебе этот крест?

– Крест, Анна, всем не по силам.

- Дай-то тебе Бог, Александр.
- По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам».

А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам, навстречу связавшей их до конца судьбе.

7

Владивосток встретил Адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсэры, анархисты, областники, монархисты, республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники – все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя, с тем чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Этому сухопутному ковчегу сонма «чистых» и «нечистых» явно требовался собственный Ной, который бы освятил своим славным именем их право на существование и вдохнул им в бесплодные их души искру живой жизни.

Трудно было даже представить, откуда, из каких незримых щелей, из какого подполья, из какой житейской трясины выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончавшие курса студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или, на худой конец, хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они не совершили ради столь заманчивой цели.

Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили или зарабатывали свой хлеб насущ-

ный каким-нибудь иным занятием: отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средней руки чиновничество и офицерство, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось – «российской общественностью».

Жить бы и жить им так впредь, до скончания века, пробавляясь между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя «пульками» разговорами о «сне золотом» и «небе в алмазах», если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу Великой Смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг ровно никакого применения.

В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное, до того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать.

Встречаясь с Адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно-фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто, на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же Адмирал, прискучив развязностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия.

Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с Управляющим Восточно-Китайской железной дороги генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним.

Они уже не раз встречались и до этого, одно время Адмирал даже числился членом правления дороги, но

договориться до чего-нибудь путного так и не смогли, слишком разными оказались у них отношение к происходящему и взгляды на будущее.

Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры.

В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотный:

– Драйжайший, батенька, Александр Васильевич, – сиял он в сторону гостя близорукими, чуть на выкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды «а ля Александр Третий», – куда же это нас несет теперь, сами посудите! Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно, никто не хочет дело делать – норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний – одна фанаберия. – Наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов. – Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет, неужели, – он так и произнес, по-стариковски с ударением на втором слоге «неужели», – нет выхода, всему конец?

– Но ведь пишут, что Деникин продвигается и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения. – Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник. – Все может перемениться.

– Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, – тот даже руками слегка всплеснул от досады, – знаю я Антона Ивановича, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик, но не орел, нет – не орел, звезд с неба не хватает, а политик, так уж и вовсе никудышный. – Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру. – С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет, а что мы ему взамен предлагаем?

Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может. Хоть один день, да мой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, приходится теперь платить. Слуга я его Императорскому величеству верный и вечный, но, возьму грех на душу, скажу: его вина! – Машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу. – С Петром-то Аркадьевичем до такой смуты не дошло бы, да и в войну не влезли бы, чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой! – Громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал. – А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, и за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич.

– Где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидыч? – осторожно спросил Адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее. – Диктатура?

Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью:

– Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич, одна загвоздка – с кем? – Он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолока. – С этими не только Россией – полустанком управлять не договоришься, не люди – шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину, головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, Царство им Небесное, и уж, конечно, ни Антону Ивановичу, мужичья кровь сказывается, под ноги смотрят, а не вперед. Одним словом, коренник требуется, пристяжные найдутся. При авторитетном вожде и Деникин на месте.

– Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидыч, – у него жарко перебило дыхание, – подумать страшно.

– Кроме вас, некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому...

Этим у них и кончилось.

День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало уже из-за океанского окаема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчея становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время: час, да мой!

Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею – вверх, вниз и снова вверх! – на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город.

Разговор с Хорватом разбередил Адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он, тем не менее, никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после первой российской встряски девятьсот пятого года он стал понемногу присматриваться и при-

слушиваться к событиям внутри страны, пытаюсь разобраться в причинах и следствиях происходящего.

Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос: в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве, он – кадровый моряк по профессии и ученый-географ по призванию – сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий. И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству.

И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости: крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же, доверчивым (вовсе непростительный грех для вождя) расположением к первому встречному, обладай только этот встречный покладистым характером. Все это, вместе взятое, исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть – собственную.

В нынешней России Адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей – Великого князя Николая Николаевича, но, олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена романовской династии. Да и где он теперь – Великий князь Николай Николаевич!

В этих долгих раздумьях Адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони:

– Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит, дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму, не надо, не беги от судьбы, касатик...

Старая цыганка – лицо, как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент – вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку.

И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности:

– Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв-трава, как звезда полынная...

Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него, все так же – снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его, словно бы издалека:

– Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь...

И тут же исчезла, будто бы ее и не было тут, а только пригрезилась беспричинно.

Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к своему номеру, мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный, татарского разреза глаз.

Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только где и когда? Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг – зима, Петербург, снег на решетках Лет-

него сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо, – но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился.

«Вот ведь нечаянность, – с мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он, – нагадают же!»

Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавшей случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текущие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна.

И угадал: она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье:

– Что вам такое снилось, Александр Васильевич, – от нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного – моря, – вы так блаженно улыбались?

– Вы!

– Неужто?

– Честное слово, душа моя, честное слово. – Окончательно отряхиваясь ото сна, он, наконец-то, разглядел ее. – Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя?

Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза:

– Я видалась с Сергеем Николаевичем.

– Да, – едва выдохнул он, – и что же?

– Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же, вы же прекрасно знаете.

– Вы сказали ему?

– Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено.

– Значит, со мной?

– С кем же мне быть, Александр Васильевич, – прохладная ее ладонь вновь легла на его запястье, – куда вы, туда и я.

Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них, и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение.

9

И потянулась за вагонным окном страна, всегда, словно заново и заново, узнаваемая им, но только теперь, не как обычно для него – с Запада на Восток, – а наоборот.

Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом истлевающих трав и листья вперемежку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций и полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее, совсем недавние, времена.

На больших остановках, хочешь – не хочешь, Адмиралу устраивались торжественные встречи, с обязательными в таких случаях хлебом-солью на блюде с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременно, собранным с бору по сосенке, духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал Адмирала, но, в конце концов прискучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не соучаствовать в предлагаемом действе, мысленно отстраняясь от окружающего.

Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду – да, да, чуду! – которого везде от него ждали и которое, как всем хотелось надеяться, он – и только один он! – мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размахистее обставлялись устроителями эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность, сложившегося положения.

Покорно подчиняясь неизбежному, Адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующе выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той частью, какую ему готовило его будущее.

Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивался сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством: умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не

быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере.

Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора: пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры!

И лишь однажды, это случилось в Чите, на этом пути, в калейдоскопе мельтешившей вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый, татарского разреза взгляд, походя опаливший его как-то вечером в коридоре владивостокской гостиницы.

«Господи, – мгновенно пронеслось в нем, – что это еще за наваждение, откуда она здесь?»

Вечером, за чаем, Адмирал не выдержал, поделился с Анной:

– Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы, теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции.

– Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии, вот уж воистину богатое воображение! – Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему. – Всё гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург, что же в этом сверхъестественного?

Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное:

– А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?

Он затевал эту, ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших

его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему, будто впервой:

– Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло, вы были тогда такой важный. – Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе. – А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телеграфу ландыши? Целую корзину ландышей, мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище. – Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой. – Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией.

– Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня? – бездумно спросил он, но тут же спохватился. – Извините, на нас, Анна Васильевна.

Она только пожала плечами:

– Не думаю. Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой, он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж Сергей Николаевич, не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее, о нас с вами он, наверное, уже забыл.

Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними пронеслась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться: в кровавом безвременьи этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплачивать свою цену.

В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор:

- Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?
- Знаю.
- Ты готова к этому?
- Я сама выбрала свою судьбу.
- Ты не пожалеешь об этом?
- Теперь уже поздно жалеть.
- Я верю в тебя.
- И я...

Едва поезд остановился в Омске, как Адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация Директории Учредительного собрания во главе с Авксеньевым.

«Вот, – с горечью подумал он, – начинается совдеп на колесах, только слушай».

Авксентьев оказался белокурый, довольно молодым еще человеком с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко презнакомил Адмирала со своими спутниками и первым же заговорил:

– Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве Директории Учредительного собрания.

Еще перед этим до Адмирала доходило, что тот, с самого своего появления в Уфе, поспешил окружить себя стайей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство»: новоиспеченная власть, не успев еще опереться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о «золотом веке» и «небе в алмазах» на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников.

«Стоило ради этого такой огород городить, – разглядывая гостей, горько иронизировал про себя Адмирал, – и лить столько крови?»

А вслух сказал:

– Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатом, сегодня у каждого порядочного человека один враг – большевизм. Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк и в сухопутных делах, в сущности, очень мало смыслю, ваш выбор может оказаться ошибочным.

– Адмирал, – высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом, – сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей: «Кто вы?», сегодня она спрашивает у них: «Где вы?»

Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты: в общем и никем не управляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчekanивается временем в нерукотворные письмена истории.

«Боже мой, Боже мой, – продолжал вглядываться в них Адмирал, – от какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!»

И, чтобы более не затягивать аудиенции, попыток жил:

– Во всяком случае мне необходимо подумать, господа.

Отпустив гостей, он постучался в купе к Анне:

– Что вы обо всем этом думаете, дорогая?

– Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете, я ваша тень.

Он порывисто опустил рядом с ней и упал лицом в подставленные ею ладони:

– Простите меня.

В ответ она лишь коснулась губами его затылка.

Была тишина.

1984

* *
*

Завидовал летящим птицам и камням,
И даже ветру вслед смотрел с тяжелым сердцем,
И слушал пение прибоя, и разбойный
Метельный посвист. Так перечислять
Несовершенные глаголы юности своей,
Которые еще не заместились
Молчанием китайских мудрецов,
Недвижно спящих на бамбуковых циновках,
И в головах имеют иероглиф ДАО,
И, просыпаясь, в руки журавлиное перо
Берут, и длинный лист бамбуковой бумаги.

Но если бы ты был мудрец и книгочей!
Ты есть арбатский смерд, дитё глухих подвалов,
И философия витает над тобой,
Как серо-голубой стервятник с голой шеей.
Но если бы ты был художник и поэт!
Ты – лишь полуслепой, косноязычный друг
Другого ремесла, ночной работы жизни
И бесполезного любовного труда, птенец кукушки
В чужом гнезде, на дереве чужом.

И близится весна, и уличный стекольщик
Проходит с ящиком по маленьким дворам.
Зеленое с торцов огромное стекло
Играет и звенит при каждом шаге.

Так близится весна, и равнодушный март
Растапливает черные снега, и солнечным лучом
В невымытых зимних стеклах зажигает
Подобие пожара. И старьевщик
Над кучей мусора склоняется, томясь.

* *
 *

Ты оглянулся? Ты запомнил – дом
Терялся в ранних сумерках, темнея
От времени? Из приоткрытой двери
Струилось дымное житейское тепло.
Весло скрипело. Лодка протекала.
И пировали медленные волны.

Там ждут тебя товарищи твои.
А ты еще с пилой и топором
По острову блуждаешь, проверяя
Пригодность сосен к смерти. Вот одна.
Роня иглы желтые, она
Уже не различает ни весны,
Ни осени. Отечество. Октябрь.

Вернешься утомленный. Бросишь дров
В утробу печки – и завоет пламя,
И руки отогреются. Так сухость
Легко переплетается с огнем,
И северные ночи нам дают
Уроки философии. Уроки?
Скорей упреки, друг. На озере туман
Расходится. В воде неотвратимой
Горит второе небо. Хорошо.

Что нужно ей от нас, любимой жизни?
И что нам – от нее? Неужто счастья?

Сомнительно. Неужто горькой силы
Огня и дыма, ледяного света?
Учиться у природы – Бог с тобой!
Прощай, земля, ольшаник, сухостой
Осиновый. Другое торжество
Нам суждено, другой мы ищем смерти,
И в зрелости уже не просим ничего
У безутешной вдовствующей тверди.

А помнишь дождь на озере? Наутро
Снимались гуси дикие. Вдали
Гигантские раскачивались сосны
С каким-то светлым корабельным звоном.
И пахло порохом. И выстрелы неслись
Вперед и вверх, в нетронутое небо...

* *
*

Экран, и вокзал, и облава,
кровавое небо дрожит –
и ворон над полем, где правый
в обнимку с виновным лежит.
Комар? Или дальние трубы?
Какой это, Господи, год?
В дверях деревенского клуба
нетрезвый толпится народ...

Зачем мне мерещится это,
впотьмах отнимается речь?
Очнуться. Достать сигареты.
Картонную спичку зажечь.
Найдется и выпивка в доме –
несладкая, злая лоза,
и ты в благодарной истоме
опять закрываешь глаза.

Все то же – застыть у вокзала,
в разбитое выпасть окно...
Давно ли мне жизнь обещала
другое, другое кино?
Сержант, я даю тебе слово,
сержант, безо всякой вины
мне сыпалась в горло солома,
солома гражданской войны...

И снова по площади грянет
начищенный мертвый металл,
одних испугает и ранит,
уложит других наповал –
и все это сердцу не любо,
бежит, узнавая беду
в дверях деревенского клуба,
и в зале, в последнем ряду...

Проснись же – созвездий в проеме
оконном на тысячу лет,
и выпивка сыщется в доме,
крепленный российский букет –
но бьется старинная лента,
и с неба, безумен и чист,
к чугунным ногам монумента
слетает осиновый лист...

* *
 *

Смотри, любимая, бледнеет ночь, гора
Над городом, граница сна и яви.
Не знаю как тебе, а мне давно пора
Спешить к прощальной переправе.

Ты говоришь – прощай, а я в ответ – прости.
Ты – выпили, а я подхватываю – пропил.
На вязь словесную, на светлый прах в горсти
Я столько времени угробил!

Искал синонимов, не видел леса за
Деревьями слогов, полночной ворожбою
На внутренностях слов – и верил, что гроза
Ведет к свободе и покою...

Окаменела, превращается в агат,
Кольцо к кольцу, просвет в гранитной оболочке,
В котором стиснуты, как десять лет назад,
Мои зареванные строчки.

И в этот-то просвет, в воронку блеклых вод,
Где вой озерных волн, птиц гибнущие стаи,
Подводит с каждым днем, и тянет, и зовет –
Глухая, нежная, простая...

* *
*

Что это было – бракосочетанье?
Крещение? Похороны? Первое свиданье?
Был праздник. Отшумел. И меркнет, наконец.
Закрывать глаза – дощатый переулок,
Распахнуто чердачное окно,
И фейерверк конца пятидесятых –
Ночная синька в выцветших заплатках,
Каскад самоубийственных огней...

Мать плакала, я возвращался к ней.

Я детство прозевал, а молодость растратил –
Пропел, продрог, прогоревал.
Родился под землей подвальный обитатель –
И возвращается в подвал.

Что светит надо мной – чужие звезды, или
Прорехи в ткани бытия?
Где смертный фейерверк, сиявший в полной силе
С тех пор, как грозный судия?

Мой праздник отшумел, и меркнет, наконец.

Что ж, выйду-ка и я без друга на дорогу,
В тот самый, середины жизни, лес.
Сверну к оврагу, утолю тревогу
Мерцаньем будничных небес.
И одиноко станет, и легко мне,
И все пройдет, действительно пройдет.
Куда ты брел? Ей-Богу, не припомню.
Из смерти в жизнь? Скорей наоборот.

Я ничего не знаю, отпустите,

Помилуйте! Не веря ни лучу,
Ни голосу, не ожидая чуда,
Вернусь в подвал, руками обхвачу
Остриженную голову, и буду
Грустить по городу, где слеп заморский гость,
Позорных площадей великолепье,
Где выл я на луну, грыз брошенную кость,

И по утрам звенел собачьей цепью...

* *
 *

Все на свете выходит из моды, любимая. Мы
превращаемся в анахронизм, в пережиток
отдаленной эпохи, когда накануне зимы
лед блистал, словно гвозди на конских копытах,

и падучие звезды не вскрикивали на лету,
не сжимали зубов, не роняли кровавую пену,
а летели безропотно в ласковую пустоту,
и шептали – до встречи, конечно, пиши непременно..

Это значит – я выжил, и значит, что жить не могу –
не хватает зацепки, такой ерундовой...
только город, как прежде, чернеет на свежем снегу,
и сияет крестами, и блазнится гладью ледовой...

* *
 *

Ждать проблеска, просвета, отголоска
февральского, скрипичного ключа.
Стелили мягко, почиваем жестко,
спросонок озираемся, ворча.
Взгляд в полутьме скользит по инструменту
трехструнному, будильнику, столу.
Иные сны легко и незаметно
перерастают в музыку и мглу,
но я уже забыл, что так бывает.
Они забыли. Он забыл. Она.
Безумная грамматика ночная,
наука беспричинная одна...

Знакомые утехы крохобора:
скрип половицы, выкрики гудка
бродячего. Рассвет еще не скоро.
Так преодолевается тоска,
вернее, обживается. Любая
потеря тянет шелковую нить
к бессмертию, любая пряжа знает,
как порванную нить соединить –
октавою, сиянием во взгляде...
бормочет ночь, и голос обречен
твердить о ней, обузе и отраде,
об узелке на память ни о чем...

* *
*

...а что дурак, и умница, и скряга –
все перейдет, и реки утекут,
пока в руках у Господа Живаго
переживешь бессонницу и труд,
надтреснутое небо ледяное,
ночной полет над вымершей рекою,
где музыка, испуганно дыша,
не покидала звездного ковша –
лишь озиралась в сумраке великом,
и не подозревала об одном –
что ей еще кружить вороньим криком
над железнодорожным полотном...
Верши, метель, забытую работу
над первую страницей из блокнота
ростовщика, где кляксою мое
лукавое, дурное бытие
распластано... вся жизнь была залогом...
вся жизнь была... в беспамятстве убогом
спит родина, погас ее гранит –
и мокрый снег ладони леденит...

* *
*

Спи, патриарх, среди своих словарных
отар. По нераспаханной степи
козлища с агнцами в слезах неблагодарных
слоняются. Не убивайся, спи.
Лежи в обнимку с беспробудной лирой,
старей во сне, и сам себя цитируй,
пристанывай, взывай о тех ночах,
лицом вращая в бурый солончак...

Пускай другой, поющий и пропавший,
которому загубленное слаще,
незванный гость на воровском пиру,
ошибкой выйдет к твоему костру...
пускай другой, и любящий другую –
дорога оренбургская долга –
сближенье звезд вполголоса толкуя,
не различает друга и врага –
по вытоптаным пастбищам овечьим
пускай бредет, ему томиться нечем,
в чужой степи, без окон и огней –
затем и жизнь, чтобы с ножом по ней...

* *
 *
 *

Пустые улицы, провалы подворотен.
Осенний мир прохладен и бесплотен.

Сорокалетний тополь надо мной
Еще шумит листвою жестяной.

Его хозяин к будущему лету
Должно быть, спилит – чтоб не застил света,

Чтоб не шумел, не пел над головой,
Корнями не корежил мостовой,

И не надышишься – а хочется – хотя бы
Сентябрьской горечью, последним солнцем слабым...

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ

Веронике Шильц

1.

Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма – если не с полным недоверием. Единственное, что наблюдатель может, тем не менее, заявить в свое оправдание, это что и он, в свою очередь, обладает определенной степенью реальности, уступающей разве что в объеме, но никак не в качестве наблюдаемому им предмету. Подобие объективности, вероятно, достижимо только в случае полного самоотчета, отдаваемого себе наблюдателем в момент наблюдения. Не думаю, что я на это способен; во всяком случае, я к этому не стремился; надеюсь, однако, что все-таки без этого не обошлось.

2.

Мое желание попасть в Стамбул никогда не было желанием подлинным. Не уверен даже, следует ли вообще употреблять здесь это понятие. Впрочем, ни капризом, ни подсознательным стремлением этого тоже не назовешь. Так что оставим «желание» и заметим, что частично оно объясняется обещанием, данным мной себе самому по отъезде из родного города навсегда, объехать обитаемый мир по широте и по долготе (т. е. по Пулковскому меридиану), на которых он располо-

жен. С широтой на сегодняшний день все уже более или менее в порядке. Что до долготы, тут далеко не все так благополучно. Стамбул же находится всего лишь на пару градусов к Западу от названного меридиана.

3.

Своей надуманностью вышеприведенная причина мало чем отличается от несколько более серьезной, главной, я бы сказал, причины, о которой – чуть ниже, и от ряда совершенно уж легкомысленных и второтретьестепенных, о которых – немедленно (ибо они таковы, что о них – либо сейчас, либо никогда): а) в этом городе в начале века провел как-то два решающих года своей жизни мой любимый поэт, грек Константин Кавафис; б) мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий уже повсюду дух и интерьер; в) я надеялся услышать здесь, на отшибе у истории, тот «заморский скрип турецкого матраса», который, как мне казалось, я расслышал однажды ночью в Крыму; г) услышать обращенное к себе «эфенди»; д) но, боюсь, для перечисления этих вздорных соображений не хватит алфавита (хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение – ибо тогда и разочарование меньше). Поэтому перейдем к обещанной «главной» причине, даже если она и покажется многим заслуживающей, в лучшем случае, «е» или «ж».

4.

«Главная» эта причина представляет собою верх надуманности. Состоит она в том, что несколько лет назад в разговоре с одним моим приятелем, американским византинистом, мне пришло в голову, что крест, привидевшийся Императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием, – крест, на котором

было начертано «Сим победиши», был крестом не христианским, но градостроительским, т. е. основным элементом всякого римского поселения. Согласно Эвсебию и прочим, вдохновленный видением этим, Константин немедленно снялся с места и отправился на Восток, где, сначала в Трое, а потом, внезапно Трою покинув, в Византии он учредил новую столицу Римской Империи – т. е. Второй Рим. Последствия это перемещение имело столь значительные, что, независимо – прав я был или неправ, мне хотелось взглянуть на это место. В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год – в Первом. Следовало – для коллекции – добрать Второй.

Но – займемся всем этим по порядку, буде таковой нам по силам.

5.

Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присущий всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным. Составляя эту записку в местечке Сунион, на юго-восточном берегу Аттики, в 60 км от Афин, где я приземлился четыре часа назад, в гостинице «Эгейская», я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку «классической розы», которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни. Меня действительно немного лихорадит от увиденного; отсюда – некоторая сбивчивость всего нижеследующего. Думаю, впрочем, что и мой знаменитый тезка ощущал нечто похожее, пытаюсь истолковать сны фараона. И одно дело заниматься интерпретацией сакральных знаков по горячим – точнее, теплым – следам; другое – полторы тысячи лет спустя.

6.

О снах. Сегодня под утро в стамбульской «Пёра Палас» мне тоже привиделось нечто – вполне монструозное. То было помещение где-то на филологическом факультете Ленинградского университета, и я спускался по ступенькам с кем-то, кто казался мне Д. Е. Максимовым, но внешне походил более на Ли Марвина. Не помню, о чем шел разговор – но и не в нем дело. Меня привлекла бешеная активность где-то в темно-буром углу лестничной площадки – с весьма низким при этом потолком: я различил трех кошек, дравшихся с огромной – превосходившей их размеры – крысой. Глянув через плечо, я увидел одну из кошек, задранную этой крысой и бившуюся и трепыхавшуюся в предсмертной агонии на полу. Я не стал досматривать, чем сражение кончится – помню только, что кошка затихла, – и, обменявшись каким-то замечанием с Максимовым-Марвином, продолжал спускаться по лестнице. Еще не достигнув вестибюля, я проснулся.

Начать с того, что я обожаю кошек. Добавить к этому, что не выношу низкие потолки. Что помещение только казалось филологическим факультетом – где и всего то два этажа. Что серо-бурый, грязноватый его цвет был цветом фасадов и интерьера почти всего и, в частности, нескольких контор Стамбула, где я побывал за последние три дня. Что улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роятся голодные местные кошки. Что город этот – всё в нем – очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом. Что накануне решил уехать – но об этом позже. В общем, достаточно, чтоб засорить подсознание.

7.

Константин был прежде всего римским императором, главой Западной Римской Империи, и «Сим побе-

диши» означало для него прежде всего распространение его власти, его – личного – контроля над *всей* Империей. В гадании по внутренностям петуха накануне решительного сражения или в утверждениях о небесном содействии при успешном его исходе нет, разумеется, ничего нового. Да и расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью тоже, как правило, не слишком велико. Но даже если он и был истинно и истово верующим (а насчет этого имеются разнообразные сомнения – особенно если учесть, как он обращался со своими детьми и родственниками), «победиши» должно было для него быть равнозначным завоеваниям, т. е. именно поселениям, сэттльментам. План же любого римского сэттльмента именно крест: центральная магистраль, идущая с севера на юг (как Корсо в Риме), пересекается такой же магистралью, идущей с Запада на Восток. От Лептис Магны до Кастрикума, таким образом гражданин Империи всегда знал, где он находится по отношению к метрополии.

Даже если крест, о котором он толковал Эвсебию, был крестом Спасителя, составной частью его во сне – без- или подсознательной – являлся принцип сэттльментовой планировки. К тому же, в IV веке крест вовсе не был еще символом Спасителя: им была рыба, греческая анаграмма имени Христа. Да и самый крест распятия скорей напоминал собою русское (да и латинское заглавное) Т, нежели то, что изобразил Микеланджело, или то, что представляем себе сегодня мы. Что бы там Константин ни имел в виду, осуществление инструкций, полученных им во сне, приняло прежде всего характер территориального расширения Империи на восток, и возникновение Второго Рима было совершенно логическим этим расширением последствием. Будучи, судя по всему, натурой деятельной, Константин рассматривал политику экспансии как нечто абсолютно естественное. Тем более, если он действительно был истинно верующим христианином.

Был он им или не был? Вне зависимости от правильного ответа, последнее слово принадлежит всегда генотипу: племянником Константина оказался никто иной, как Юлиан Отступник.

8.

Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм. В этом смысле мое появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского. Особенно – если он действительно стал христианином: т. е. перестал быть римлянином. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительны. Я не оставляю по себе даже фотографий «на фоне», не только что – стен. В этом смысле я уступаю только японцам. (Нет ничего кошмарнее мысли о семейном фотоальбоме среднего японца: улыбающиеся коротконогие он и она на фоне всего, что в этом мире есть вертикального: статуи-фонтана-мечети-собора-башни-фасада-античного храма и т. п.; меньше всего там, наверно, будд и пагод.) Когито эрго сум уступает «фотография эрго сум»: так же, как «когито» в свое время восторжествовало над «созидаю». Иными словами, эфемерность моего присутствия – и моих мотивов – ничуть не менее абсолютна, чем физическая осязательность деятельности Константина и приписываемых (или подлинных) ему соображений.

9.

Римские элегики конца I века до н. э., особенно Проперций и Овидий, открыто издеваются над своим великим современником Вергилием и его «Энеидой». Это можно, конечно, объяснить духом личного сопер-

ничества, завистью к успеху, противопоставлением понимания поэзии как искусства личного, частного пониманию ее как искусства государственного, как формы государственной пропаганды. Последнее ближе к истине, но далеко не истина, ибо Virgilius был не только автором «Энеиды», но также и «Буколик» и «Георгик».

Истина, вероятно, в сумме перечисленных соображений, к числу которых следует прежде всего добавить соображения чисто стилистические. Вполне возможно, что, с точки зрения элегиков, эпос – любой, в том числе и Virgilius, – представлялся явлением ретроградным. Все они, т. е. элегики, были последователями александрийской школы в поэзии, давшей традицию короткого лирического стихотворения в том объеме, в котором мы знаем поэзию сегодня. Александринцы, говоря короче, создали жанры, которыми поэзия пользуется по сей день.

Предпочтение, оказываемое александрийской традицией краткости, сжатости, частности, конкретности, учености, дидактичности и тому подобным вещам было, судя по всему, реакцией греческой изящной словесности на избыточные формы греческой литературы архаического периода – на эпос, драму, мифологизацию, – если не просто на мифотворчество. Реакцией, если вдуматься – но лучше не надо, – на Аристотеля. Александрийская традиция вобрала в себя все эти вещи и сильно их ужала до размеров элегии или эклоги, до иероглифичности диалога в последней, до иллюстративной (экземпла) функции мифа в первой. Т. е. речь идет об известной тенденции к миниатюризации – конденсации (хотя бы как средству выживания поэзии во все менее уделяющем ей внимание мире, если не как средству более непосредственного, немедленного влияния на души и умы читателей и слушателей), – как вдруг, извольте ли видеть, является Virgilius со своим гигантским социальным заказом и его гекзаметрами.

Я бы еще добавил здесь, что элегики – почти все без исключения – пользовались главным образом элегическим дистихом и что опять же почти все без исключения пришли в поэзию из риторических школ, готовивших их к юридической (адвокатской, т. е. аргументирующей – в современном понимании этого дела) профессии. Ничто лучше не соответствует риторической системе мышления, чем элегический дистих с его гекзаметрической тезой и ямбической антитезой. Элегическое двустушие, говоря короче, давало возможность выразить как минимум две точки зрения, не говоря уже о всей палитре интонационной окраски, обеспечиваемой медлительностью гекзаметра и функциональностью пятистопного ямба с его дактилической – т. е. отчасти рыдающей, отчасти самоустраняющейся второй половиной.

Но всё это – в скобках. За скобками же – упреки элгиков Виргилию не метрического, но этического характера. Особенно интересен в этом смысле ничуть не уступающий автору «Энеиды» в изобразительных средствах и психологически куда более изощренный – нет! одаренный! – Овидий. В одной из своих «Героид» – сборнике вымышленных посланий героинь любовной поэзии к их погибшим или к покинувшим их возлюбленным – в «Дидона – Энею» – карфагенская царица упрекает оставившего ее Энея примерно следующим образом. «Я бы еще поняла, – говорит она, – если бы ты меня покинул, потому что решил вернуться домой, к своим. Но ты же отправляешься невесть куда, к новой цели, к новому, еще не существующему городу. Чтобы, видимо, разбить еще одно сердце», – и т. д. Она даже намекает, что Эней оставляет ее беременной – и что одна из причин самоубийства, на которое она решается, – боязнь позора. Но это уже не относится к делу.

К делу относится следующее: в глазах Виргилия, Эней – герой, ведомый богами. В глазах Овидия, Эней – по существу беспринципный прохвост, объясняющий свое поведение – движение по плоскости – божествен-

ным промыслом. (На этот счет тоже у Дидоны имеются конкретные телеологические соображения, но опять-таки не в них дело – как и не в предполагаемой нами чрезвычайно охотно антигражданственности Овидия.)

10.

Александрийская традиция была традицией греческой: традицией порядка (космоса), пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия (Эдиповский цикл): традицией симметрии и замкнутого круга. Элегиков в Вергилии выводит из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но в наличии принципа космоса – от небесных светил до кухонной утвари – им не откажешь.

Вергилий, судя по всему, был первым, в литературе по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе; скорее всего, это было продиктовано расширением империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то «Энеида» и не закончена: она просто не должна – точнее, не могла – быть закончена. И дело вовсе не в «женственности», присущей культуре эллинизма, как и не в «мужескости» культуры Римской – и даже не в мужеложестве самого Вергилия. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по отношению к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить ощущение это детальной разработкой будущего. Результатом являются либо «пророчество задним числом» а ля разговоры Анхиса у Вергилия, либо социальный утопизм – либо: идея вечной жизни, т. е. Христианство.

Одно не слишком отличается от другого и третьего. Во всяком случае, именно в связи с этим сходством – а

вовсе не за 4-ю эклогу – Виргилия вполне можно считать первым христианским поэтом. Пиши я «Божественную Комедию», я поместил бы данного автора именно в Рай. За выдающиеся заслуги перед принципом линейности – в его логическое завершение.

11.

Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, oprичь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного вокруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз – и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недалновидная сволочь – Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусочных, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо – перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых – единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерматолога, сакрофага и автора «Садомахии».

12.

Дитя своего века, т. е. IV в. н. э. – а лучше: п. В. – после Виргилия, – Константин, человек действия уже

хотя бы потому что – император, мог уже рассматривать себя не только как воплощение, но и как инструмент линейного принципа существования. Византия была для него крестом не только символическим, но и буквальным – перекрестком торговых путей, караванных дорог и т. п.: с востока на запад не менее, чем с севера на юг. Одно это могло привлечь его внимание к месту, давшему миру (в VII веке до н. э.) нечто, что на всех языках означает одно и то же: деньги.

Деньги же интересовали Константина чрезвычайно. Если он и обладал определенным гением, то скорее всего финансовым. Этому ученику Диоклетиана, так никогда и не научившемуся разделению власти с кем-либо, удалось, тем не менее, то, чего не могли добиться его предшественники: стабилизировать, выражаясь нынешним языком, валюту. Введенный при нем римский «солид» впоследствии на протяжении почти семи столетий играл роль нынешнего доллара. В этом смысле перенесение столицы в Византию было переездом банка на монетный двор, покрытием идеи – купюрой, наложением лапы на принцип.

Не следует, наверно, также упускать из виду, что благотворительность и взаимопомощь христианской Церкви в данный период представляла собой если не альтернативу государственной экономике, то, по крайней мере, выход из положения для значительной – неимущей – части населения. В значительной мере популярность Христианства в эту пору зиждилась не столько на идее равенства душ перед Всевышним, сколько на осязаемых нуждающимся плодах организованной системы взаимопомощи. То была своего рода помесь карточной системы и красного креста. Ни культ Изиды, ни Неоплатонизм ничего подобного не организовывали. В чем и была их ошибка.

Можно долго гадать о том, что творилось в душе и в уме Константина в смысле Христианской веры, но,

Император, он не мог не оценить организационной и экономической эффективности данной церкви.

Кроме того, помещение столицы на самом краю империи как бы превращает край в центр и предполагает равновеликое пространство по «ту» сторону, от центра считая. Что равняется на карте Индии: объекту всех известных нам имперских грез, до и после Рождества Христова.

13.

Пыль! эта странная субстанция, летящая вам в лицо. Она заслуживает внимания, она не должна скрываться за словом «пыль». Просто ли это грязь, не находящая себе места, но составляющая самое существо этой части света? Или она – Земля, пытающаяся подняться в воздух, оторваться от самой себя, как мысль от тела, как тело, уступающее себя жаре. Дождь выдает ее сущность, ибо тогда у вас под ногами змеятся бурно-черные ручейки этой субстанции, придавленной обратно к булыжным мостовым, вниз по горбатым артериям этого первобытного кишлака, не успевающей слиться в лужи, ибо разбрызгиваемой бесчисленными колесами, превосходящими в своей сумме лица его обитателей, и уносимой ими под вопли клаксонов через мост куда-то в Азию, в Анатолию, в Ионию, в Трапезунд и в Смирну.

Как везде на Востоке, здесь масса чистильщиков обуви, всех возрастов, с ихними восхитительными, медью обитыми ящичками, с набором гуталина всех мастей в круглых медных же контейнерах величиной с маленькую, накрытых куполообразной крышкой. Настоящие переносные мечети, только что без минаретов. Избыточность этой профессии объясняется именно грязью, пылью, после пяти минут ходьбы покрывающей ваш только что отражавший весь мир штиблет серой непроницаемой пудрой. Как все чистильщики

сапог, эти люди – большие философы. А лучше сказать – все философы суть чистильщики больших сапог. Поэтому не так уж важно, знаете ли вы турецкий.

14.

Кто в наше время разглядывает карту, изучает рельеф, прикидывает расстояния? Никто, разве что отпускники-автомобилисты. Даже военные этого больше не делают, со времен изобретения кнопки. Кто пишет письма с детальным перечислением и анализом увиденных достопримечательностей, испытанных ощущений? И кто читает такие письма? После нас не останется ничего, что заслуживало бы названия корреспонденции. Даже молодые люди, у которых, казалось бы, вдоволь времени, обходятся открытками. Люди моего возраста прибегают к открыткам чаще всего либо в минуту полного отчаяния в чужом для них месте, либо чтоб просто как-то убить время. Существуют, однако, места, разглядывание которых на карте на какой-то миг роднит вас с Провидением. Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, – места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-желтый-зеленый, но белый-желтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода – Босфор-Мармара-Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии... Отделяющие ли? О эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур – для отсутствия последней – тем более. Для кочевников даже, пожалуй, чуть больше, чем для одушевленного принципом линейности и заведомо оправданного захватывающей картиной будущего Государя.

Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства, т. е. дей-

ствительность; что временно – т. е. на всю жизнь – избавляло от ответственности. Что следующий шаг – любой, в любом направлении – становился логическим. В духовном смысле, по крайней мере, не оказалось ли оно антропологическим эхом кочевничества: метастазом оно в психологии человека оседлого. Или лучше: не совпадало ли оно с нуждами чисто имперскими? ибо одной оплатой легионера (смысл карьеры которого – в выслуге лет, демобилизации и оседлости) не заставишь сняться с места. Его необходимо еще и воодушевить. В противном случае легионы превращаются в того самого волка, держать которого за уши умел только Тиберий.

Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением. Еще менее способно оно причину в чем-либо заподозрить. Отношения между следствием и причиной, как правило, лишены рационального, аналитического элемента. Как правило, они тавтологичны и, в лучшем случае, окрашены воодушевлением последнего к первому.

Поэтому не следует забывать, что система верования, именуемая Христианством, пришла с Востока, и поэтому же не следует исключать, что одним из соображений, обуревавших Константина после победы над Максентием и вышеупомянутого видения, было желание приблизиться чисто физически к победе этой и этого видения истоку: к Востоку. Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее; но, по крайней мере, понятно, что, отправься Константин туда по суше, ему пришлось бы столкнуться со значительным количеством препятствий. Создавать же столицу за морем противоречило элементарному здравому смыслу. И не следует также исключать вполне возможной со стороны Константина неприязни к иудеям.

Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества. Христианство было только одной, хотя и наиболее активной сектой, каковых в

Империи было действительно великое множество. Ко времени воцарения Константина Римская империя, не в малой степени благодаря именно своему размеру, представляла собой настоящую ярмарку, базар вероисповеданий. За исключением, однако, коптов и культа Изиды, источником все предлагавшихся систем верований и культов был именно Восток.

Запад не предлагал ничего. Запад был, по существу, покупателем. Отнесемся же к Западу с нежностью именно за эту его неизобретательность, обошедшуюся ему довольно дорого, включая раздающиеся и по сей день упреки в излишней рационалистичности. Не набивает ли этим продавец цену своему товару? И куда он отправится, набив свои сундуки?

15.

Если римские элегики хоть в какой-то мере отражали мироощущение своей публики, можно предположить, что ко времени Константина, т. е. четыре века спустя, доводы типа «отечество в опасности» и «Рах Романа» силу свою утратили. И если утверждения Эвсебия верны, то Константин оказывается не больше не меньше как первым крестоносцем. Не следует упускать из виду, что Рим Константина – это уже не Рим Августа. Это уже и, вообще-то говоря, не Рим античный: это Рим христианский. То, что Константин принес в Византию, уже не означало культуры классической: то была уже культура нового времени, настоянная на идее единобожия, приравнявшая политеизм – т. е. свое же собственное прошлое со всем его духом законов и т. п. – к идолопоклонству. Это был уже прогресс.

16.

Здесь я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко дикова-

тыми. Я понимаю политеизм весьма простым – и поэтому, вероятно, ложным образом. Для меня это система духовного существования, в которой любая форма человеческой деятельности, от рыбной ловли до созерцания звездного неба, освящена специфическими боже-ствами. Так что индивидуум, при наличии определенной к тому воли или воображения, в состоянии усмотреть в том, чем он занимается, метафизическую – бесконечную – подоплеку. Тот или иной бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетить человека и на какой-то отрезок времени в человека вселиться. Единственное, что от последнего требуется – если таково его, человека, желание, – это «очиститься», чтоб сделать этот визит возможным. Процесс очищения (катарсиса) весьма разнообразен и носит как индивидуальный (жертвоприношение, паломничество к священному месту, тот или иной обет), так и массовый (театр, спортивное состязание) характер. Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, кастрюля от статуи.

Подобное мироощущение возможно, я полагаю, только в условиях оседлости: когда богу известен ваш адрес. Неудивительно, что цивилизация, которую мы называем греческой, возникла именно на островах. Неудивительно, что плоды ее загипнотизировали на тысячелетия все Средиземноморье, включая Рим. Неудивительно и то, что, с ростом Империи и островом не будучи, Рим от этой цивилизации в конечном счете бежал. И бегство это началось именно с цезарей, с идеи абсолютной власти. Ибо в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма.

Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами

античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде. Не сто́ит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством.

17.

Константин знать этого, естественно, не мог. Полагаю, что он догадывался, что Рима больше нет. Христианин в этом императоре естественным – я бы сказал, пророческим – образом сочетался с государем. В самом этом его «Сим победиши» слышна амбиция власти. И действительно: победиши – более, чем он даже себе это представлял, ибо Христианство в Византии просуществовало еще десять столетий. Победа эта, однако, была, боюсь сказать, Пиррова. Качество этой победы и заставило Западную Церковь отложиться от Восточной. То есть Рим географический от Рима умышленного: от Византии. Церковь – Христову невесту, от Церкви – жены государства. В своем движении на Восток Константин, возможно, руководствовался именно Востока этого политической конгениальностью – деспотий без опыта демократии – его собственному положению. Рим географический – худо-бедно еще хранил какие-то воспоминания о роли сената. У Византии таких воспоминаний не было.

18.

Сегодня мне сорок пять лет. Я сижу голый по пояс в гостинице «Ликабетт» в Афинах, обливаясь потом и поглощая в огромных количествах кока-колу. В этом городе я не знаю ни души. Выйдя вечером на улицу в

поисках места, где б я мог поужинать, я обнаружил себя в гуще чрезвычайно воодушевленной толпы, выкрикивавшей нечто невразумительное – как я понимаю, у них на днях – выборы. Я брел по какой-то бесконечной главной улице, с ревущими клаксонами, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова, – и вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается; что это и есть вечность.

Сорок пять лет назад моя мать дала мне жизнь. Она умерла в позапрошлом году. В прошлом году – умер отец. Их единственный ребенок, я, идет по улицам вечерних Афин, которых они никогда не видели и не увидят. Плод их любви, их нищеты, их рабства, в котором они и умерли, их сын свободен. И потому что они не встречаются ему в толпе, он догадывается, что он неправ, что это – не вечность.

19.

Что видел и чего не видел Константин, глядя на карту Византии. Он видел, мягко говоря, табулу расу. Провинцию империи, населенную греками, евреями, персами и т. п. – публикой, с которой он давно уже привык иметь дело, – с типичными подданными Восточной части своей империи. Языком был греческий, но для образованного римлянина это было как французский для русского дворянина в XIX веке. Он видел город, мысом вдающийся в Мраморное море, – город, который легко было защитить, стоило только обнести его стеной. Он видел города этого холмы, отчасти напоминавшие римские, и, если он прикидывал воздвигнуть там, скажем, дворец или церковь, вид из окон должен был быть сногшибательный: на всю Азию, и вся Азия взирала бы на кресты, церковь эту венчавшие. Можно также представить себе, что он развлекал себя мыслью о контроле над доступом в этот город оставленных

позади римлян. Им пришлось бы тащиться сюда через всю Аттику или плыть вокруг Пелопонесса. «Этого пушу, а этого не пушу». Так, наверно, думал он об устраиваемом им на земле варианте Рая. О эти таможенные грезы! И он видел, как Византия приветствует в нем своего защитника от Сасанидов и от наших с вами, милостивые государи и милостивые государыни, предков с той стороны Дуная, и как она, Византия, целует крест.

Не видел же он того, что имеет дело с Востоком. Воевать с Востоком – или даже освобождать Восток – и жить на Востоке – разные вещи. Византия, при всей ее греческости, принадлежала к миру с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе, в – каким бы языческим он ни был – Риме. Хотя бы уже чисто в военном отношении Персия, например, была более реальной для Византии, чем Эллада. И разница в степенях этой реальности не могла не отразиться в мироощущении этих будущих подданных христианского государя. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь – целых три! – в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол – или содрали бы с него живьем кожу, – и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего – как их действительно и не было на Востоке; был бы просто монолог Корана... Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Разумеется, Византия приняла Христианство, но Христианству в ней было суждено овосточиться. В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни к Церкви Восточной со стороны Церкви Римской. Да, спору нет, Христианство номинально просуществовало в Византии еще тысячу лет – но что это было за Христианство и какие это были христиане – другое дело.

Не видел – точнее, не предвидел – Константин и того, что впечатление, произведенное на него географическим положением Византии, – впечатление естественное. Что подобное же впечатление Византия сможет произвести на восточных властителей, стоит им взглянуть на карту. Что и возымело место. Не раз и не два, с довольно грустными последствиями для Христианства. До VI–VII вв. трения между Востоком и Западом в Византии носили, в общем, нормальный, типа я-с-тебя-шкуру-спущу, военный характер и решались силой оружия – чаще всего в пользу Запада. Что, если и не увеличивало популярности креста на Востоке, по крайней мере внушало к нему уважение. Но к VII в. над всем Востоком восходит и воцаряется полумесяц, т. е. Ислам. С этого момента военные действия между Западом и Востоком, независимо от их исхода, начинают оборачиваться постепенной, неуклонной эрозией креста, релятивизмом византийского мироощущения в результате слишком близких и слишком частых контактов между двумя этими сакральными знаками. (Кто знает, не объясняется ли конечное поражение иконоклазма сознанием недостаточности креста как символа и необходимостью визуального соперничества с антифигуративным искусством Ислама? Не бред ли арабской вязи подхлестывал Иоанна Дамаскина?)

Константин не предвидел, что антииндивидуализм Ислама найдет в Византии почву настолько благоприятную, что к IX веку Христианство будет готово бежать оттуда на Север. Он, конечно, сказал бы, что это не бегство, но распространение Христианства, о котором он, теоретически, мечтал. И многие на это кивнут головой в знак согласия, что да, распространение. Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов. Видимо, чтоб облегчить себе путешествие.

20.

Приняв решение уехать из Стамбула, я пустился на поиски пароходной компании, обслуживающей линию Стамбул – Афины или Стамбул – Венеция. Я обошел несколько контор, но, как всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманнее способы ее достижения. В конце концов я выяснил, что раньше начала июня ни из Стамбула, ни из Смирны уплыть мне на Запад не удастся, ни на пассажирском судне, ни на сухогрузе или танкере. В одном из агентств массивная турчанка, дымя жуткой папиросой что твой океанский лайнер, посоветовала обратиться в контору компании, носящей австралийское, как я поначалу вообразил, название «Бумеранг». «Бумеранг» оказался прокуренной грязноватой конторой с двумя столами, одним телефоном, картой – естественно – мира на стене и шестью задумчивыми брюнетами, оцепеневшими от безделья. Единственно, что мне удалось извлечь из одного из них, сидящего ближе к двери, это что «Бумеранг» обслуживает советские круизы по Черному и Средиземному, но что на этой неделе у них ничего нет. Интересно, откуда родом был тот старший лейтенант на Лубянке, придумавший это название? Из Тулы? Из Челябинска?

21.

Благоприятность почвы для Ислама, которую я имел в виду, объяснялась в Византии скорее всего ее этническим составом, т. е. смешением рас и национальностей, ни врозь, ни тем более совместно не обладавших памятью о какой-либо внятной традиции индивидуализма. Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления – т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль – я имею в виду интенсивность ощущения – выпол-

няет здесь идея рода, семьи. Я предвижу возражения и даже согласен принять их и в деталях и в целом. Но в какую бы крайность мы при этом ни впали с идеализацией Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какого-то подобия демократической традиции.

И речь при этом идет о Византии до турецкого владычества: о Византии Константина, Юстиниана, Теодоры – о Византии христианской. Но вот, например, Михаил Пселл, византийский историк, рассказывая в своей «Хронографии» о царствовании Василия II, упоминает, что его премьер-министром был его сводный брат, тоже Василий, которого в детстве, во избежание возможных притязаний на трон, просто кастрировали. «Естественная предосторожность, – отзывается об этом историк, – ибо, будучи евнухом, он не стал бы пытаться отобрать трон у законного наследника. Он вполне примирился со своей судьбой, – добавляет Пселл, – и был искренне привязан к царствующему дому. В конце концов, это ведь была его семья». Речь, заметим себе, идет о царствовании Василия II, т. е. о 986 – 1025 гг. н. э. Пселл сообщает об этом походя, как о рутинном деле – каковым оно и было – при Византийском дворе. Н. э.? Что же тогда до н. э.?

22.

И чем измеряется эта э.? И измеряется ли она вообще? Заметим себе, что описываемое Пселлом происходит до появления турок. То есть ни о каком там Баязете-Мехмете-Сулеймане еще ни слуху, ни духу. Когда мы еще толкуем священные тексты, боремся с ересями, созываем соборы, сочиняем трактаты. Это – одной рукой. Другой мы кастрируем выблядка, чтоб у него, когда подрастет, не возникло притязаний на трон. Это и есть восточное отношение к вещам, к человеческому телу, в частности; и какая там э. или тысячелетье на дворе, никакой роли не играет. Неудивительно, что Рим-

ская Церковь воротит от Византии нос. И тут нужно кое-что сказать о Римской Церкви.

Ей, конечно, естественно было от Византии отвернуться. По причинам, перечисленным выше, но и еще потому, что объективно говоря, Византия, этот Новый Рим, бросила Рим подлинный на произвол судьбы. За исключением Юстиниана, Рим был полностью предоставлен самому себе, то есть Визиготам, Вандалам и всем прочим, кому было не лень сводить с бывшей столицей древние или новые счета. Константина еще понять можно: он вырос и провел большую часть своей жизни именно в Восточной империи. Что касается последующих византийских императоров, их отношение к Риму подлинному несколько менее объяснимо. Естественно, у них был хлопот полон рот дома, на Востоке, учитывая непосредственных соседей. Тем не менее, титул Римского императора все-таки должен был накладывать некоторые географические обязанности.

Вся история, конечно, была в том, что Римскими императорами после Юстиниана становились выходцы, главным образом, из Восточных провинций, являвшихся главным поставщиком рекрутов для легионов, – т. е. с нынешних Балкан, из Сирии, из Армении и т. п. Рим для них был, в лучшем случае, идеей. Как и большинство своих подданных, некоторые из них и полатыни не знали ни слова. Тем не менее, все считали себя, и назывались, и писались Римлянами. (Нечто подобное можно наблюдать и сегодня в разнообразных доминионах Британской Империи или – зачем далеко ходить за примерами – среди, допустим, эвенков, являющихся советскими гражданами.)

Иными словами, Рим остался сам по себе, и Римская Церковь тоже оказалась предоставленной самой себе. Было бы слишком долгим занятием описывать взаимоотношения Церкви в Византии и Церкви в Риме. Можно

только заметить, что, в общем, оставленность Рима пошла в известной мере Римской Церкви на пользу. Но не только на пользу.

23.

Я не предполагал, что эта записка о путешествии в Стамбул так разрастется, – и начинаю уже испытывать раздражение: и в отношении самого себя, и в отношении материала. С другой стороны, я сознаю, что другой возможности обсудить все эти дела мне не представится, ибо, если она и представится, я ее сознательно упущу. В дальнейшем я обещаю себе и тем, кто уже дошел в чтении до этого места, большую сжатость – хотя более всего мне хотелось бы сейчас бросить всю эту затею.

Уж если довелось прибегнуть к прозе – средству именно тем автору сих строк и ненавистному, что она лишена какой бы то ни было формы дисциплины, кроме подобия той, что возникает по ходу дела, – уж если довелось пользоваться прозой, то лучше было бы сосредоточиться на деталях, на описании мест и характеров – то есть тех вещей, столкнуться с которыми читателю этой записки, возможно, и не случится. Ибо все вышеизложенное, равно как и все последующее, рано или поздно должно прийти в голову любому человеку: ибо все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории.

24.

Польза изолированности Церкви Римской от Церкви Восточной заключалась прежде всего в естественных выгодах, связанных с любой формой автономии. То есть Церкви в Риме почти никто и ничто, за исключением ее самой, не мешало выработаться в определенную твердую систему. Что и произошло. Комбинация Римского Права, принимаемого в Риме более

всерьез, нежели в Византии, и собственной логики внутреннего развития Римской Церкви действительно определилась в этико-политическую систему, лежащую в основе так называемой западной концепции государственного и индивидуального бытия. Как почти всякий развод, и этот, между Византией и Римом, был далеко не полным; масса имущества оставалась общей. Но, в общем, можно утверждать, что названная концепция очертила вокруг себя некий круг, который именно в концептуальном смысле Восток не переступал и в пределах которого – весьма обширных – и выработалось то, что мы называем, или подразумеваем под, Западным Христианством и вытекающим из него миропониманием.

Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она – система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования, приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.

Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждутся на опыте. Опытом зла для Западного Христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в Римском Праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, зла, возможности. Разведясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравнило Восток к несуществующему и этим сильно и, до известной степени, губительно для самого же себя занизило свои представления о человеческом негативном потенциале.

Сегодня, если молодой человек забирается с автоматом на университетскую башню и начинает поливать

оттуда прохожих, судья – если этого молодого человека удастся обезвредить и он предстает пред судом – квалифицирует его как невменяемого, и его запирают в лечебницу для душевнобольных. На деле же поведение этого молодого человека принципиально ничуть не отличается от кастрации того царского выблядка, о котором нам повествует Пселл. Как и не отличается оно от Иранского Имама, кладущего десятки тысяч животов своих подданных во имя утверждения его, Имама, представлений о воле Пророка. Или – от тезиса, выдвинутого Джугашвили в процессе все мы знаем чего, о том, что «у нас незаменимых нет». Общим знаменателем этих акций является антииндивидуалистическое ощущение, что человеческая жизнь – ничто, т. е. отсутствие – вполне естественное – представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому, что уникальна.

Я далек от того, чтобы утверждать, что отсутствие этого понимания – явление сугубо восточное. Весь ужас именно в том, что нет. Но непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из одного представлениями о мире, законе, порядке, норме и т. п. заключается именно в том, что, ради своего собственного развития и последующего торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией. Отсюда все эти становящиеся теперь почти ежедневными сюрпризы, отсюда эта неспособность – государственных систем и индивидуальная – к адекватной реакции, выражающаяся в оценке явлений вышеупомянутого характера как следствий душевного заболевания, религиозного фанатизма и проч.

25.

В Топкапи́, – превращенном в музей дворце турецкого султана, – в отдельном павильоне собраны наибо-

лее священные сердцу всякого мусульманина предметы, связанные с жизнью Пророка. В восхитительно инкрустированных шкатулках хранятся зуб Пророка, волосы с головы Пророка. Посетителей просят не шуметь, понизить голос. Еще там вокруг разнообразные мечи, кинжалы, истлевший кусок шкуры какого-то животного с различимыми на нем буквами письма Пророка какому-то конкретному историческому лицу и прочие священные тексты, созерцая которые, невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня и русского, думал я. В центре, под стеклянным квадратным колпаком, в раме, отороченной золотом, находится предмет темно-коричневого цвета, сущность коего я не уразумел, пока не прочел табличку. Табличка, естественно, по-турецки и по-английски. Отлитый в бронзе «Отпечаток стопы Пророка». Минимум сорок восьмой размер обуви, подумал я, глядя на этот экспонат. И тут я содрогнулся: Йети!

26.

Византия была переименована в Константинополь, если не ошибаюсь, при жизни Константина. В смысле простоты гласных и согласных, это название было, наверно, популярней у турок-сельджуков, чем Византия. Но и Стамбул тоже звучит достаточно по-турецки; для русского уха, во всяком случае. На самом деле Стамбул – название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» – что означает(ло) просто «город». «Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит стакан. Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» – один стакан чаю. «Дурак автобуса» – остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий.

27.

Человеку с отдышкой тут делать нечего, разве что нанять на весь день такси. Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев. В переводе на доллары-марки-франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение – наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую. Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое «очарование» Востока, для северного скряги.

28.

Что воспоследовало – хорошо известно: невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень внятен; ясно, что весьма издалика. Что привело их на берег Босфора – тоже не очень ясно, но понятно, что лошади. Турки – точнее: тюрки – были кочевниками: так нас учили в школе. Босфор, естественно, оказался преградой, и здесь-то тюрки, вместо того, чтоб откочевать назад, решили перейти к оседлости. Всё это звучит не очень убедительно, но мы это так и оставим. Чего они хотели от Константинополя-Византии-Стамбула – это, по крайней мере, понятно: они хотели быть в Константинополе. Примерно того же, что и сам Константин. До XI века сакрального знака у них не было. В XI-м он появился. Как мы знаем, это был полумесяц.

Но в Константинополе были христиане, константинопольские церкви венчал крест. Тюркский, постепенно превратившийся в турецкий, роман с Византией продолжался примерно три столетия. Постоянство принесло свои плоды, и в XIV веке крест уступил купола полумесяцу. Остальное хорошо документировано, и

распространяться об этом нужды нет. Хотелось бы только отметить значительное структурное сходство того, «как было», с тем, «как стало». Ибо смысл истории в существе структур, не в характере декора.

29.

Смысл истории! Что, в самом деле, может поделаться перо с этим смешением рас, языков, вероисповеданий – с этим принявшим вегетативный, зоологический характер падением вавилонской башни, в результате которого, в один прекрасный день, индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган – не а ля Витгенштейн, но охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они – всего лишь составные части, детали «конструктора», осколки калейдоскопа, сквозь который не причина на следствие, но слепая случайность смотрит на свет. Можно выскочить на улицу – но там летит пыль.

30.

Разница между духовной и светской властью в Византии христианской была чрезвычайно незначительной. Номинально государю следовало считаться с суждениями Патриарха – что нередко имело место. С другой стороны, государь зачастую не только назначал Патриарха, но, в ряде случаев, оказывался или имел основания считать себя бóльшим христианином, чем Патриарх. Мы уже не говорим о концепции помазанника Божьего, которая одна могла избавить государя от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением. Что тоже имело место, и что, в сочетании с механическими чудесами, до которых Теофилий I был большой любитель – и оказало, между прочим, решающее влияние на выбор, сделанный Русью в IX веке. (Между прочим же, чудеса эти: рыкающие искусственные львы,

механические соловьи, поднимающийся в воздух трон и т. п. – византийский государь заимствовал, слегка их модифицировав, на Востоке, у своих персидских соседей.)

Нечто чрезвычайно схожее происходило и с Высокой Портой, то бишь с Оттоманской Империей, то бишь с Византией Мусульманской. Мы опять-таки имеем дело с автократией, несколько более деспотического, сильно военизированного характера. Абсолютный глава государства – падишах, он же султан. При нем, однако, существует Великий Муфтий – должность, совмещающая – отождествляющая – власть духовную с административной. Управляется же все государство посредством чрезвычайно сложной иерархической системы, в которой преобладает религиозный (для удобства скажем – идеологически выдержанный) элемент.

В чисто структурном отношении, расстояние между Вторым Римом и Оттоманской Империей измеряемо только в единицах времени. Что это тогда? Дух места? Его злой гений? Дух порчи? И откуда, между прочим, «порча» эта в нашем лексиконе? Не от «Порты» ли? Неважно. Достаточно, что и Христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места. Где люди обращались в Христианство в V веке с такой же легкостью, с какой они переходили в Ислам в XIV-м (и это при том, что после захвата Константинополя турки христиан никак не преследовали). Причины и того и другого обращений были те же самые: практические. Впрочем, это уже никак не связано с местом; это связано с видом.

31.

О все эти бесчисленные Османы, Мехметы, Мурады, Баязеты, Ибрагимы, Селимы и Сулейманы, вырезавшие друг друга, своих предшественников, соперни-

ков, братьев, родителей и потомство – в случае Мурада II или III – какая разница! – девятнадцать братьев кряду – с регулярностью человека, бреющегося перед зеркалом. О эти их бесконечные, непрерывные войны: против неверных, против своих же мусульман-ношиитов, за расширение империи, в отместку за нанесенные обиды, просто так, и из самозащиты. И о этот институт янычар, элита армии, преданная сначала султану, но постепенно вырабатывавшаяся в отдельную, только со своими интересами считающуюся касту, – как всё это знакомо! О все эти чалмы и бороды – эта униформа головы, одержимой только одной мыслью: рэзать – и потому – а не только из-за запрета, накладываемого исламом на изображение чего бы то ни было живого, – совершенно неотличимые друг от друга! Потому, возможно, и «рэзать», что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери. Потому и «рэзать», что никто не бреется. «'Рэжу', следовательно существую».

Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в ту, хоть в эту сторону. И не оправданием, и не пророчеством ли одновременно звучат слова одного из них, опять-таки Селима, сказанные им при завоевании Египта, что он, как властитель Константинополя, наследует Восточную Римскую Империю и, следовательно, имеет право на земли, когда-либо ей принадлежавшие! Не та же ли нота зазвучит четыреста лет спустя в устах Устрялова и Третьеримских славянофилов, чей алый, цвета янычарского плаща, флаг благополучно вобрал в себя звезду и полумесяц Ислама? И молот – не модифицированный ли он крест?

Эти непрерывные, на протяжении без малого тысячелетия, войны, эти бесконечные трактаты со схоластическими интерпретациями искусства стрельбы из лука – не они ли ответственны за выработавшееся в этой части света отождествление армии и государства, политики-

как-продолжения-войны-только-другими-средствами, за вдохновенные, но баллистически реальные фантазии Циолковского?

И эта загадочная субстанция, эта пыль, летящая вам в морду на улицах Стамбула, – не есть ли это просто бездомная материя насильственно прерванных бесчисленных жизней, понятия не имеющая – чисто по-человечески, – куда ей приткнуться? Так и возникает грязь. Что, впрочем, тоже не спасает от сильной перенаселенности.

Человека с воображением, да к тому же еще и нетерпеливого, очень подмывает ответить на эти вопросы утвердительно. Но, может быть, не следует торопиться; может быть, надо повременить и дать им возможность стать «проклятыми» – даже если на это уйдет несколько веков. О эти «века»! – любимая единица истории, избавляющая индивидуума от необходимости личной оценки происшедшего и награждающая его почетным статусом жертвы истории.

32.

В отличие от оледенения, цивилизации – какие они ни на есть – перемещаются с Юга на Север. Как бы стремясь заполнить вакуум, оставленный оледенением. Тропический лес постепенно одолевает хвойный и смешанный – если не с помощью листа, то с помощью архитектуры. Иногда возникает ощущение, что барокко, рококо, даже шинкель – просто бессознательная тоска вида о его вечно-зеленом прошлом. Папоротник пагод – тоже.

В широтном направлении перемещаются только кочевники. И, как правило, с Востока на Запад. Кочевничество имеет смысл только в определенной климатической зоне. Эскимосы – в пределах полярного круга; татары и монголы – в пределах черноземной полосы. Купола юрт и иглу, конусы палаток и чумов.

Я видел мечети Средней Азии – мечети Самарканда, Бухары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Как не сказал Ленин, ничего не знаю лучше Шах-И-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они – шедевры масштаба и колорита, они – свидетельства лиричности Ислама. Их глазурь, их изумруд и кобальт запечатлеваются на вашей сетчатке в немалой степени благодаря контрасту с желто-бурым колоритом окружающего их ландшафта. Контраст этот, эта память о цветовой (по крайней мере) альтернативе реальному миру, и был, возможно, поводом к их появлению. В них действительно ощущается идеосинкретичность, самоувлеченность, желание за(со)вершить самих себя. Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы – в пустыне.

33.

Стамбульские же мечети – это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, – и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие – пророчески, боюсь, – установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие вздеть очи горé. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза.

На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление: рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в

самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, инопланетное, абсолютно герметическое, панциреобразное. И всё это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И всё это на фоне бирюзы Босфора.

И если перо не поднимается упрекнуть ихних безимьянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией – сооружением в высшей степени христианским. Константин, утверждают, заложил ей основание; возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уж каком султани, да это и неважно – была Айя-София превращена в мечеть.

Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя – не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому что и сама-то она была сооружением не римским, но именно Восточным, точнее – Сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что всё в этой жизни переплетается, что всё, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой.

Это – чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный принцип орнамента, основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве – и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т. п. графически – если принять во внимание арабскую письменность – совпадающая. То есть речь идет о декоративном аспекте письменности, о декоративном использовании фразы, слова, буквы; о чисто визуальном к ним отношении. Оставляя в стороне неприемлемость подобного взгляда на слово (как, впрочем, и на букву), отметим здесь лишь неизбежно буквальное, пространственное – ибо только средствами пространства и выражаемое – восприятие того или иного священного речения. Отметим зависимость этого орнамента от длины строки и от дидактического аспекта речения, зачастую уже достаточно орнаментального самого по себе. Напомним себе: единица восточного орнамента – фраза, слово, буква.

Единицей – основным элементом – орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка – и у нас в этот момент – абстракции, – отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметрии, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не/анти/дидактичность. Его – за счет ритмичности, повторимости – постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.

Я бы заметил еще, что единица этого орнамента – день – идея дня – включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрички греческой вазы

над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто бóльший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что всё переплетается, что всё лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что всё остается позади, ковер и попирающую его стопу – даже свою собственную – включая.

35.

О, я предвижу возражения! Я предвижу искусствоведа или этнолога, готовых оспорить с цифрами и с черепками в руках всё вышеизложенное. Я предвижу человека в очках, вносящего индийскую или китайскую вазу с бордюриком, только что мной описанным, и восклицающим: А это что? И разве Индия (или Китай) не Восток? Хуже того, ваза эта или блюдо могут оказаться из Египта, вообще из Африки, из Патагонии, из Северной Америки. И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительно того, что доисламская культура была фигуративной, что таким образом Запад просто отстал от Востока, что орнамент вообще, по определению, нефункционален или что пространство больше, чем время. Что я, в целях скорей всего политических, подменяю историю антропологией. Что-нибудь в этом роде, или того похуже.

Что мне сказать на это? и надо ли говорить что-либо? Не уверен; но, тем не менее, замечу, что, не предвидь я этих возражений, я бы за перо не брался. Что пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно – вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее.

И еще я предвижу, что не будет ни ваз, ни черепков, ни блюда, ни человека в очках. Что возражений не по-

следует, что воцарится молчание. Не столько как знак согласия, сколько как свидетельство безразличия. Поэтому устервим наш довод немного и добавим, что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт. Что в течение жизни каждый человек, рано или поздно, оказывается в положении Робинзона Крузо, делающего зарубки и, насчитав, допустим, семь или десять, их перечеркивающего. Это и есть природа орнамента, независимо от предыдущей цивилизации или той, к которой человек этот принадлежит. И зарубки эти – дело глубоко одинокое, обособляющее индивидуума, вынуждающее его к пониманию если не уникальности, то автономности его существования в мире.

Это и есть основа нашей цивилизации. Это и есть то, от чего Константин ушел на Восток. К ковру.

36.

Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айи-Софии. Там, вверху, недостижимые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, достигаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камеи с литерами, напоминающими Джексона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что – скользко: собор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потеет. Спрашиваю – говорят, от сильного перепада температуры. Я решаю – от моего присутствия, и выхожу.

37.

Взглянуть на Отечество извне можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или – расстелив карту. Но, как замечено выше, кто теперь смотрит на карту?

Если цивилизации – именно какие они ни на есть – действительно распространяются, как растительность, в направлении, обратном оледенению, с Юга на Север, то куда было Руси при ее географическом положении деваться от Византии? Не только Руси Киевской, но и Московской, а там уж и всему остальному между Донцом и Уралом? И нужно еще поблагодарить Тамерлана и Чингиз-хана за то, что они несколько задержали процесс, что несколько подморозили, точнее – подмяли, цветы Византии. Это неправда, что Русь сыграла роль щита, предохранившего Запад от татаро-монгольского ига. Роль щита этого сыграл Константинополь – тогда еще оплот организованного Христианства. (В 1403 году, между прочим, возникла под стенами Константинополя ситуация, которая чуть было не обернулась для Христианского – вообще для всего тогда известного – мира абсолютной катастрофой: Тамерлан встретился с Баязетом. По счастью, они обратили оружие против друг друга – сказалось, видимо, внутрисословное соперничество. Объединись они против Запада, т. е. в том направлении, в котором они оба двигались, мы смотрели бы нынче на карту миндалевидным, преимущественно карим оком.)

Деваться Руси от Византии было действительно некуда, подобно тому как и Западу от Рима. И подобно тому как он зарастал с веками римской колоннадой и законностью, Русь оказалась естественной географической добычей Византии. Если на пути первого стояли Альпы, второму мешало только Черное море – глубокая, но, в конечном счете, плоская вещь. Русь получила – приняла – из рук Византии всё: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую (и постепенно все более турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-идеологическую) систему государственности. Не говоря уже о значительной части собственно словаря. Единственно, что Византия растеряла по дороге на Север, это свои замечательные ереси,

своих Монофизитов, свой Арианизм, своих Неоплатоников и проч., составлявших самое существо ее духовного и литературного бытия. Но распространение ее на Север происходило в период все большего воцарения полумесяца, и чисто физическая мощь Высокой Порты гипнотизировала Север в большей мере, нежели теологическая полемика вымирающих схоластов.

В конце концов, восторжествовал же Неоплатонизм в искусстве. Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки-маковки церквей. Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд максиму Плотина насчет того, что задачей художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей. Что же касается идей, то чем покойный Сулов или кто там теперь занимает его место – не Великий Муфтий? Чем Генсек не Падишах или, лучше того, Император? И кто, в конце концов, назначает Патриарха, как, впрочем, и Великого Визиря, и Муфтия, и Халифа? И чем Политбюро – не Великий Диван? И не один ли шаг – шах – от дивана до оттоманки?

Не Оттоманская ли мы теперь Империя – по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости – нет! до узнаваемости! – Христианства. Не больше ли она, оттого что – соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: «А Дарданеллы будут наши!»? Эхо Катона? Тоску христианина по своей святыне? Или всё еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета? И уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева – крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!» Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?

Не дай нам Бог дальше заглядывать в турецко-русский словарь. Остановимся на слове «чай», означающем именно чай, откуда бы оно и он ни пришли. Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги. Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом бардаке – стакане емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он – лучшее, из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.

Чай – и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатил вокруг всего города.

По высоте, толщине и характеру кладки стены вы можете судить о серьезности намерений ее строителя. Константин был предельно серьезен: ее развалины, в которых теперь уютятся цыгане, козы и промышленяющие телом молодые люди, и сегодня могли бы удержать любую армию, будь нынешняя война позиционной. С другой стороны, если признать за цивилизациями характер растительный, то есть идеологический, то возведение и этой стены было пустой тратой времени. От антииндивидуализма, во всяком случае, от духа подчинения и релятивизма, ни стеной, ни морем не отгородиться.

Добравшись, в конце концов, до Топкапи и осмотрев большую часть его содержимого – преимущественно «кафтаны» султанов, и лингвистически и визуально абсолютно совпадающие с гардеробом московских государей, я направился к цели моего во дворец этот паломничества – к сералю: только чтобы обнаружить на дверях этого главного на свете павильона табличку, сообщавшую по-турецки и по-английски «Закрыт на реставрацию». О если бы! – воскликнул я мысленно, пытаюсь совладать с разочарованием.

Пора завязывать. Парохода, как я сказал, ни из Стамбула, ни из Смирны было не найти. Я сел в самолет и через два часа полета над Эгейским морем – сквозь воздух, не менее некогда обитаемый, чем архипелаг внизу, – приземлился в аэропорту в Афинах.

В 68 километрах от Афин, в Суньоне, на вершине скалы, падающей отвесно в море, стоит построенный почти одновременно с Парфеноном в Афинах – разница в каких-нибудь 50 лет – храм Посейдона. Стоит уже две тыщи с половиной лет.

Он раз в десять меньше Парфенона. Во сколько раз он прекрасней, сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства. Крыши у него нет.

Вокруг – ни души. Суньон – рыбацкая деревня с двумя-тремя теперь современными гостиницами – лежит далеко внизу. Там, на вершине темной скалы, в вечерней дымке, издали храм выглядит скорее спущенным с неба, чем воздвигнутым на земле. У мрамора больше сходства с облаком, нежели с почвой.

Восемнадцать белых колонн, соединенных белым же мраморным основанием, стоят на равном друг от друга расстоянии. Между ними и землей, между ними и морем, между ними и небом Эллады – никого и ничего.

Как и почти всюду в Европе, здесь побывал Байрон, вырезавший на основании одной из колонн свое имя. По его стопам автобус привозит туристов; потом он их увозит. Эрозия, от которой поверхность колонн заметно страдает, не имеет никакого отношения к выветриванию. Это – оспа взоров, линз, вспышек.

Потом спускаются сумерки, темнеет. Восемнадцать колонн, восемнадцать вертикальных белых тел, на равном расстоянии друг от друга, на вершине скалы, под открытым небом встречают ночь.

Если бы они считали дни, таких дней было бы шестьдесят миллионов. Издали, впрочем, в вечерней дымке, благодаря равным между собой интервалам, белые их вертикальные тела и сами выглядят как орнамент.

Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?

40.

Наверное, следовало взять рекомендательные письма, записать, по крайней мере, два-три телефона, отправляясь в Стамбул. Я этого не сделал. Наверное, следовало с кем-то познакомиться, вступить в контакт, взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу, не отметить людей, как лезущую в глаза психологическую пыль.

Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже пахнет Востоком. В конце концов, откуда я сам? Но в определенном возрасте человек устает от себе подобных, устает засорять свои сознание и подсознание. Еще один – или десяток – рассказ о жестокости? Еще десяток – или сотня – примеров человеческой подлости, глупости, доблести? У мизантропии, в конце концов, тоже должны быть какие-то пределы.

Достаточно поэтому, взглянув в словарь, установить, что «каторга» – тоже турецкое слово. Как и достаточно обнаружить на турецкой карте – то ли в Анатолии, то ли в Ионии – город, называющийся «Нигде».

41.

Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, но географии. Это то, что род-

нит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом. Поэтому меня не слишком интересует политический курс нынешней Турции, реформы Ататюрка, чей портрет украшает засаленные обои самой последней кофейни, равно как и не поддающуюся никакому конвертированию и являющуюся нереальной формой оплаты реального труда турецкую лиру.

Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения. Может быть, впрочем, здесь еще откроют нефть: уж больно сильно воняет сероводородом Золотой Рог, с маслянистой поверхности которого открывается такой шикарный вид на панораму Стамбула. Впрочем, вряд ли, и вонь эта – вонь нефти, проливаемой проходящими через пролив ржавыми, только что не дырявыми танкерами. На ней одной, по-моему, можно было бы сколотить состояние.

Впрочем, подобный проект покажется, наверно, местному человеку чересчур предприимчивым. Местный человек по натуре скорей консервативен, даже если он делец или негоциант, не говоря уже о рабочем классе, невольно, но наглухо запертом в традиционности, в консервативности нищенской оплатой труда. В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это – город в городе; это и выстроено на века. Этого ни на Запад, ни на Север, ни даже на Юг не перенести. ГУМ, Бонмарше, Харрод, Мэйси, вместе взятые и в куб возведенные, суть детский лепет в сравнении с

этими катакомбами. Станным образом, но благодаря горящим везде гирляндам желтых стоваттных лампочек и бесконечной россыпи бронзы, бус, браслетов, серебра и золота под стеклом, не говоря уже о собственно коврах, иконах, самоварах, распятиях и прочем, базар этот в Стамбуле производит впечатление именно православной церкви, разветвляющейся и извивающейся, впрочем, как цитата из Пророка. Плоский вариант Айя-Софии.

42.

Цивилизации двигаются в меридиональном направлении. Кочевники (включая войны новейшего времени, ибо война суть эхо кочевого инстинкта) – в широтном. Это, видимо, еще один вариант креста, привидевшегося Константину. Оба движения обладают естественной (растительной или животной) логикой, учитывая которую нетрудно оказаться в состоянии, когда никого и ни в чем нельзя упрекнуть. В состоянии, именуемом меланхолией или – более справедливо – фатализмом. Его можно приписать возрасту, влиянию Востока; при некотором усилии воображения – христианскому смирению.

Выгоды этого состояния очевидны, ибо они эгоистичны. Ибо оно – как и всякое, впрочем, смирение – достигается всегда за счет немого бессилия жертв истории – прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов. И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, – все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывающейся как мысленному, так и ничем невооруженному взору картиной, улыбка презрения.

43.

С ней, с этой улыбкой на устах, можно взобраться на паром и отправиться пить чай в Азию. Через двадцать минут можно сойти в Чингельчее, найти кафе на самом берегу Босфора, сесть на стул, заказать чай и, вдыхая запах гниющих водорослей, наблюдать, не меняя выражения лица, как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота Второго, направляясь в Первый.

Стамбул-Афины, июнь 1985 г.

Журнал «БЪДЕЩЕ»

на болгарском языке, ежемесечник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

НОВЫЕ СТИХИ

ИМПРЕССИОНИЗМ

Открываешь сигарный ларец,
и летит – через студию – вдруг
щебеча по-японски птенец
за одну из открытых фрамуг
на цветущие вишни в саду
окружном, и о том его речь,
чтобы свежие краски во льду,
как невиданных устриц, беречь.

Кто прославленный завтрак у ног
покаянно раздевшихся дам
до Второго пришествия смог
растянуть в искупление нам
и по Лете отправился вплавь
прямо в блузе апаш из пике
– тот у глаз мельтешившую явь,
как осу, удержал в кулаке.

август 85

ЕСЛИ ВЕТЕР СЫРОЙ...

Если ветер сырой,
если тучи подгнили свинцово,
пробегают травой
дождевая нездешняя мова,
отвяжу-ка гремучую
цепь, от волн окормляясь.
Выйду в море колючее,
с заштормившим сшибаясь.

Расщепленным куском
было жизни делился, как целым,
с чайкой – с каждым броском
зависавшей надолго над Белым.

Розовой полоса
и роса на зеленой соломе.
До седьмого часа
не успели очухаться в доме.

Нынче, брешут, видней
на уступе с гранитной пятою
остов лодки моей
с деревянною клетью грудною.
И подлесок седой,
верестясь, можжевелясь, осинясь,
наступает грядой
на змеиную ржавую привязь.
Только чайка все та ж
может статься, а может иная
– ждет,
 подкину когда ж
тусклоперую рыбку со дна я.

август 85

ВАН-ГОГ

В поисках галльской напраслины
зря далеко не ходи:
с темной холстины промасленной,
как из отверзтой груди,
щерится зернами тусклыми
в лужице крови гранат
на населенный моллюсками
необитаемый сад.

В пренепорочные целые
честные кельи вдали
что залетало под белые
на головах корабли?
Греет ли в ладанках кожаных
персть голубиных дорог
и виноградников, брошенных
на произвол-солнцеpek?

Ветер листает карманную
книгу от Марка и льва,
дышит в плеву барабанную
вестью, стесненной в слова.
Поприще пройденным кажется.
Исподволь выхватив меч,
это же надо отважиться
рабское ухо отсечь!

Каждую звездку ледащую
луда в больничном тазу
преображает в летящую
и золотую фрезу.
Смелые зело опасливы.
Робкие всех впереди.
В поисках галльской напраслины
зря далеко не ходи.

июль 85

* *
*

Веселятся капустаницы
в августовской мороке,
набиваясь в союзницы,
словно впрямь на припёке
белоштаннные ратники
в ожиданье фугаса
полегли в виноградники
на высотах Эльзаса.

В европейских усобицах
с их адюльтерным мраком,
не дающим озлобиться,
ибо горек – но лаком,
я наёмник, которому
заплатить позабыли,
у которого в коробе
лишь щепоть отчей пыли.

За иконными горками
возле алчных границ –
золотистыми корками
окормившие птиц
мусульманские стяги на
бастионах, чья стража слепа,
и солдат Верещагина
ранцы и черепа.

Вереницей капустаницы,
зря невеститесь вы,
неуёмные узницы
у моей головы.

И в предгрозии черное
с рябью глиняных крыш
знает дело саперное
работающая мышь.

август 85

* *
*

И мы в этой стае пернатых.

Хлебников

Кладу на озерную зыбь ладонь.
Не тонет ладонь – крепка
зыбь, продавишь ее с трудом
разве на пол-хлебка.
Уже рябины окрест красны
с оттенками хоть бы хны
ржавыми. И хвоя сосны.
Порывы дождя пресны.

Поднимают чайки над молом грай.
Подремав с удой,
на прикол в таинственный грот-сарай
гонит мимо яхту богач седой.

Эх, чудак везучий. Господь решил
даром нас почествовать ваккурат,
но не там – где я завсегда спешил
запахнуться в стеганку и бушлат
над сухой крапивою в ноябре
у холодной церкви, где шорох-лёт
сизарей с воронами в алтаре
и цементно-цинковый их помет.

Бело-красным, осень, дрожа крылом,
чередом своим уплывая вдаль,
подожги пером
мой острожный дом,
чтоб меня там вспомнившим стало жаль.

.....

Гарцует на псковщину ль песий отряд,
плюмажными холками выстроясь в ряд,
закован в зеркальные латы,
снежинки ли первые косо летят,
как будто достигнуть земли не хотят,
– и мы в этой стае пернатых.

1985

* *
*

На родной земле
и крыло в золе
– рычажок полёта.
Прах отцветших лип
в кипятке прошиб
до седьмого пота.

Жизнь моя там – знак
вседоступный – как
поступать не стоит.
Василек, репей –
окоём степей
дождь скупей напоит.

В полынье небес
ловит русский бес
не сома, а тюльку.
Я б воскрес и сам,
если б маме там
подменили люльку

От моей игры
саднит с той поры
на локте лепёшка,
колет клещ в плече.
И прямой в луче
на отпев дорожка.

8. 9. 85

КАК ПО ЛЕТНОМУ ПОЛЮ...

Л. Кречковой

Как по лётному полю
с травой под зеленою сетью,
память водит лучом
несгибаемым по лихолетью,

выбирая из тьмы
то волны мертворожденной всплески,
то синицу в обобранном
полном тоски перелеске.

Словно шанешку съел
на архангельском тощем базаре
и вконец забурел,
примостясь с папироской на таре.

В настоящей тюрьме
эдак только и грезят о воле,
переметной суме,
Роще Марьиной, Девичьем Поле...

Приведет ли Господь
поудить, поохотиться в сонных
камышках наступательных
около стен оборонных

перед тем рубежом,
где, не дав отдышаться донине,
полоснула ножом
зорька росная по горловине.

7. 8. 85

Трагическое явление – в Советском Союзе подавляются всякие ростки независимой культуры. Инакомыслящие подвергаются притеснениям и преследованиям, нередко арестовываются или высылаются из страны.

Несмотря на это, свободная культура как в СССР, так и в изгнании не сломлена. Она остается сильной духом и вносит свой вклад в современную мировую культуру.

Задача «Общества содействия независимой культуре из СССР» – содействовать сохранению независимой культуры как внутри страны, так и за ее пределами; объединить усилия мастеров свободной культуры, создав собственный Центр; организовывая выставки, концерты, вечера, лекции; широко знакомить Запад с проблемами и достижениями независимой культуры из СССР.

Общество организовано в Мюнхене в июне 1984-го года в составе: РУБИНА АРУТЮНЯН, искусствовед (председатель); ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ, писатель (зам. председателя); ОКСАНА АНТИЧ, журналист (зам. председателя); МИХАИЛ ГЕРТНЕР, социальный работник (секретарь); ЗИГФРИД МЕНТЕРС, адвокат; СЕРГЕЙ ЦИММЕРМАН, научный работник; ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, писатель; БОРИС МУХАМЕТШИН, художник.

Всех, кому не чужды судьбы независимой культуры – будь то литература, живопись, музыка, религия, борьба за социальные права, наука, спорт – приглашаем вступить в наше общество.

Годовой членский взнос – 60 немецких марок.

«В СИНЕМ НЕБЕ ЗВЕЗДЫ БЛЕЩУТ»

– Вставай, губарь, – прапорщик Соколов толкнул Сергея в бок. – Вставай. Хватит шлангом прикидываться. – Соколов опять толкнул Сергея сапогом. – В другой раз я с тобой церемониться не буду – руки пачкать... В армии приказы исполняются без разговоров. Понял? Как я сказал, так и будет. Потом можешь обращаться по команде... Не понимаешь? Я могу еще раз объяснить... Ну?

Сергей облизнул кровь с губы и приподнялся. Прапор стоял над ним и опять заносил ногу для удара. Сергей попытался отшатнуться, но не успел, и Соколов засадил ему сапогом по щеке.

Соколов и сам не ожидал, видимо, так попасть, и на лице его появилось словно выражение какого-то замешательства.

Теплое разлилось во рту у Сергея, он снова упал, и в голове у него разлетелись искры, чувствительно обжигая изнутри глаза, язык и нос, даже ноздри, и Сергей тут же вскочил, пошатнувшись, выхватил из кармана самодельный кнопочный нож с наборной ручкой и широким лезвием и ударил Соколова не глядя. Сергей никуда специально не целился, просто ударил, но в сознании промелькнуло, что бьет он удачно, в грудь. Нож застрял, Сергей дернул его и сейчас же увидел свою руку – другая рука была отставлена назад, очевидно, для равновесия, его очень мотало – в крови, и почувствовал, что кровь теплая, теплее руки, даже жаркая.

Сергей бросился через поляну по мокрой траве к лесу. Пусть только сунутся, пусть только сунутся, думал он. Но никто за ним не бежал. Он пересек поляну – метров пятьдесят – и, уже задыхаясь, чувствуя, что за ним не гонятся, обернулся.

Судя по всему, он попал по руке. Кусок стоял, что-то выкрикивая, поддерживая правую руку левой. Видно было, что кровь хлещет как надо. Соколов кричал, но никто к нему не подходил, ребята держались в сторонке, хотя и близко.

Сначала был густой кустарник, и Сергей пробирался через него царапаясь и почти что с закрытыми глазами, наощупь, ветки били по лицу; уже за кустарником пошел настоящий лес. По лесу легче было идти.

Сергей немного прошел, а потом увидел здоровенный крепкий пень и остановился. Он присел на пень, расстегнул гимнастерку. Сердце стучало уже спокойно.

Почти с удивлением Сергей поглядел на нож в своей руке – он так и сжимал нож, пробираясь через кусты. Сергей встал с пня и пошел, торопливо, цепляясь сапогами за можжевельник: впереди был ручей.

Это был широкий ручей с темной, казалось, неподвижной водой. Сергей присел на корточки, ополоснул лезвие, вытер его о штаны и спрятал нож в карман. Потом он тщательно отмыл руку, оттер кровь с рукава, потискал его, отжимая. Руки тоже вытер о штаны.

Метрах в пятидесяти по течению через ручей были перекинута бревнышки, по самому берегу, пачкая глиной сапоги, Сергей дошел до них и перебрался на другую сторону. Он уже сориентировался и знал, что ему туда.

Вид, конечно, был у него распиздяйский. Пилотки нету, ремня нету... И морда в крови, подумал он. Специально Соколов, сволочь, перстень носит, чтобы морду уродовать.

Сергей вернулся к ручью и умыл лицо грязной водой. Сплюнул несколько раз. Кровь не шла уже. Он выплюнул какие-то засохшие комки, и всё.

Сориентировался он, кажется, правильно.

Минут через десять ходьбы он почувствовал себя совершенно уже спокойно. В лесу было спокойно. Пол-

жизни, наверное, – половину своих девятнадцати лет – он провел в лесу.

Он родился в Зеленогорске, но они жили не в городе, а у самого леса. И из школы он мотал – в лес. А потом, когда его загнали в спецшколу в Удельном, он, и оттуда убегая, шлялся по лесу. Не домой же было бежать. В общем-то и некуда было бежать. Он и тогда это понимал. Он убегал, болтался по лесу дня три-четыре, иногда только выходя, чтобы пиздануть где-нибудь пожрать, а потом, дня через три, возвращался в школу. После трех дней было уже все равно.

Ноги в сапогах хлюпали, мокрые. И Сергей заметил, что идет очень медленно. Раньше он по лесу ходил быстро, почти не уставал, а теперь вот уже выдохся. Ладно, подумал он, сейчас немного передохну, а потом рвану быстрее. Он стал оглядываться на ходу, ища пень или какое-нибудь поваленное дерево, чтобы присесть.

Попался крепкий пень, но рядом с муравейником, и Сергей прошел мимо, и тут же он наткнулся на целое семейство белых, боровиков. Сергей наступил на гриб, почувствовал это и, заметив раздавленный боровик, пожалел. Оглядевшись, он увидел, что их здесь десяток, не меньше. Сыроежки, и горькухи, и волнушки попадались и раньше, все время, Сергей не обращал на них внимания. Но это были белые.

Сергей присел собрать их, но тут подумал – а зачем. Зачем они. Сергей пересчитал – было одиннадцать белых. И один еще он раздавил.

Сергей посидел на корточках, разглядывая грибы, но уже здорово болели ноги, да и не особенно-то в сапогах удобно сидеть. Сергей поднялся и вдруг, неожиданно для себя самого, поддал ближайший гриб. Что, этим сволочам оставлять? – думал он, топча грибы.

Ощущение было странное – и жалко было, и приятно, и почему-то страшно. Он еще вспомнил, как маленькая Сашенька топтала грибы, здорово их находила и топтала, смеясь. Все ее ругали за это, только он не ру-

гал. Он ее и вообще не ругал, и она поэтому очень любила с ним гулять. «Где мой Сережа», – кричала она выйдя из дома. Они всегда очень весело искали грибы, даже мох расковыривали.

Сергей и сейчас расковырял мох сапогом, чтобы ничего не пропустить; теперь он уже искал специально, внимательно, и всего через несколько шагов увидел большой подберезовик, белоголовый, наверняка червивый и рыхлый. А ты здесь что стоишь, подумал Сергей. Сергей пнул подберезовик, ножка осталась стоять, а шляпка, рыхлая, разлетевшись на несколько частей, исчезла в траве.

Это было какое-то странное развлечение, неотвязное, как семечки. Грибы попадались часто, и Сергей не пропускал теперь ни одного, даже горькухи и свинухи он топтал, залезая в кусты, спускаясь в овражки, подковыривая лежащую плотными слоями темную пахучую прошлогоднюю листву. Он уже двигался по лесу не осмысленно, а кругами, зигзагами, грибы указывали ему маршрут.

Болото возникло неожиданно – шаг, и ноги на полсапога ушли в топкую, покрытую мхом и осокой почву.

Вода в ту же секунду оказалась в сапогах, словно их и не было, словно Сергей ступал в одних портянках.

Очевидно, поддавшись грибному азарту, он сильно взял влево. Сейчас выберусь, подумал Сергей.

Возвращаться назад не хотелось, он пошел вправо и вперед, ноги все равно уже были мокрые. Справа была сушь. Сергей шел быстро, старательно выдергивая ноги, но сушь оказалась не сушь, а какой-то небольшой островок земли среди болота. Теперь уже выхода не было; Сергей двинулся опять вперед, забирая правее и правее, топча осоку и выискивая, куда бы поставить ногу подтверже.

Очень скоро все его мысли сосредоточились только на этом. Идти было тяжело, каждый шаг было делать тяжело. Сергей не боялся заблудиться, он знал эти

места, и это болото видел раньше, и знал, что скоро оно кончится, ну километр, не больше, но он чувствовал, что идет все медленнее, ноги выдергивались с усилием, гораздо легче было вытащить ногу из сапога, чем сапог из топи. Даже мелькнула сумасшедшая мысль – оставить сапоги и идти босиком.

Болото это Сергей знал, теперь уже он понял, что придется пройти его до конца. Справа край болота был недалеко, но там не было дороги, там стояло несколько частей, и Сергей не хотел выходить туда. Там никто не ходил и не ездил, кроме вояк, и наверняка бы его посекали. К тому же на самом краю болота была гигантская свалка, и огромные дымчатые крысы, отвратительно ухмыляясь, скалясь на людей, шныряли там.

Сергей не глядел на часы, но был уверен, что идет уже по болоту не меньше часа. Это было, конечно, обманное чувство. Болото не такое уж большое, и он знал, что не заблудился, но ноги отказывались слушаться. Собственно, они и не слушались, они двигались сами, а Сергей смотрел на осоку, мелькавшую по сторонам, в какую-то секунду он даже закрыл глаза, но ничего не изменилось, ноги шагали, осока мелькала, зеленые веники осоки, мох, березки и какие-то красные и синие круги.

Сергей открыл глаза

Очень низко пролетел мордастый здоровенный лунь, рыжий с белым хвостом. Сергей ощутил движение воздуха от его крыльев, так низко он летел. Прошла минута, и лунь появился опять – он возвращался и снова летел над самой землей.

Сергей задрал голову – ястреб летел, казалось, почти на него, и лишь в последний момент, пролетая, он взял чуть выше. Сергей не сводил с него глаз, и лунь смотрел на Сергея своими миндалевидными большими темными глазами, взгляд у него был прямой, жесткий.

Шею ломило и затылок, лунь улетел и не появлялся больше, а Сергей как во сне вытаскивал из болота одну ногу, другую, его одурял болотный запах, затылок был

тяжелый и будто бы перевешивал всю голову назад. Хотелось – Сергей прекрасно понимал, что нельзя, – хотелось сесть и посидеть спокойно, неподвижно... Очень хотелось сесть. Не нужно никуда идти. Куда идти? Везде то же самое. Куда я иду? Сесть. Сесть, неподвижно посидеть минуту... пять минут посидеть неподвижно, а потом я пойду все равно куда.

Но Сергей заставлял себя идти дальше, только страшно было, ноги не подчинялись, они шли сами, а если они перестанут идти, ноги шли, вдруг, так же неожиданно, как и началось, болото кончилось, не стало болота, под ногами была земля, Сергей шел по твердой земле, перешагивая через бугристые корни деревьев, вот сухая тропинка вверх. Вверх по этой тропинке, подумал Сергей.

Ноги шли нормально и скоро, тяжесть в затылке пропала, и Сергей закурил, все теперь было нормально, отлично, замечательно.

Чуть вправо от тропинки Сергей увидел небольшую прогалину, поваленное дерево, сухое с ободранными сучьями, и свернул туда.

Он уселся на поваленный ствол, устроился поудобнее, затягиваясь и глядя по сторонам. Все было хорошо.

Докурив, Сергей перелез через ствол, спустил штаны и пристроился у толстой облезлой березы. Он вытащил из кармана гимнастерки газету, которую прихватил сегодня утром в Ленинской комнате специально для этой цели и, прежде чем употребить ее, поглядел на первую страницу.

Посреди страницы красовался космонавт Быковский вместе с каким-то фрицем. «Заявление командира корабля „Союз-31“ перед стартом», прочел Сергей. «Заявление космонавта-исследователя корабля „Союз-31“ перед стартом».

Сам не зная почему, Сергей выругался; он разорвал газету, часть использовал, а обрывки, сложив, сунул обратно в карман.

Снова перебравшись через ствол, Сергей вышел на тропинку и пошел вверх.

Тропинка, извиваясь, шла вверх совсем недалеко, она поднималась на холм, а за холмом ничего не было видно, и только вдалеке иногда взрывались машины, очевидно, большие грузовики.

Сергей подумал, что он совсем сбился, он совершенно не представлял, что там за дорога. Правда, конечно, он уже лет пять здесь не бывал. Точно, в последний раз он был здесь с дачниками, с родителями Сашеньки, он их повел за морошкой. Конечно, Сашенька носилась по лесу, и они и вправду тогда чуть не заблудились в этом болоте. Было лето дождливое. Сашенька с ним играла, он ее на плечах таскал, и ее родители спокойно отпускали их в лес и на море, если с ним, они знали, то ничего не случится. Сергей всю жизнь хотел иметь такую сестренку – веселую, отчаянную, как эта трехлетняя девочка. Сергей, когда был маленький, уговаривал мать, купите, купите мне сестренку. Отчим хохотал, Сергей клянчил, купите мне сестренку, я ее буду кормить, гулять с ней буду, играть. Сейчас купим, говорил отчим, смеясь. Сергей удивительно поздно стал понимать, что имел в виду отчим, когда говорил, сейчас купим. Наверное, классе в шестом он узнал, как это делается. На самом деле, как это делается, он узнал только этим летом: их возили по субботам в совхоз убирать ягоды, и там одна девица, замужня, с кольцом, завела их втроем на складе за ящики с клубникой, и когда была его очередь, она, конечно, поняла, что он в первый раз, но даже и не подала виду, и ребята ничего не заметили, а то на неделю хватило бы поржать. Потом она каждый раз брала именно их втроем к себе на склад, каждую субботу.

Тропинка пошла вниз, и после поворота Сергей увидел в конце ее серый песок – там лес кончался.

Это был танкодром, Сергей сейчас же узнал и вспомнил его – обширное поле, засыпанное довольно глупо-

ким песком, и на нем небольшие лесистые островки. Бывало, Сергей ездил сюда за грибами – на этих островках грибов была тьма. Они с отчимом ездили сюда за грибами лет десять назад.

За танкодромом была широкая лесная дорога – ее не видно было, но Сергей знал, где она, – а за ней, километра через полтора, шоссе до станции.

В самом глубоком песке были расставлены там и сям сооружения из бревен, ни на что не похожие, мишени, вероятно.

Танки теперь рычали за ближайшим островком – это их треск Сергей принял за шум грузовиков, – и Сергей решил пробежать до мишени, а уж оттуда осмотреться и сориентироваться, как ему ближе к дороге.

Сергей побежал через песок к мишени, до нее было метров двести и, побежав, почти сразу пожалел, лучше бы пошел по краю, лесом – с той стороны островка, из-за мишени выезжал танк. Это был «Т-54», он выехал, развернулся, медленно развернул башню стволом назад и с рыком и скрежетом двинулся на мишень, ломая бревна острым ребром лобовой брони.

Сергей стоял посреди поля, замороженный зрелищем, что-то было очень понятное, радующее в том, как небрежно танк переламинает здоровенные бревна, крушит постройку, неважно даже, что сделанную специально для этого. И в то же время было страшно. Танк был вовсе не огромный, но казался великаном. Злым великаном, который с удовольствием, хакая и притопывая, крушит и ломает.

Танк, переваливаясь, проехался по бревнам, обломкам мишени и вдруг остановился на миг, накренившись, словно карикатурное лицо со вздернутым подбородком, а потом, разворачивая башню, двинулся на Сергея. Он ехал медленно, но Сергей видел, что танк движется прямо на него, приближается к нему, башня развернулась теперь вперед стволом, и ствол приближался, казалось, гораздо быстрее, чем танк. Сергей побежал, танк

ревел сзади совсем близко, обернувшись Сергей увидел открытый люк и улыбающуюся рожу стрелка, который что-то кричал, танк был действительно рядом, Сергей свернул вправо, пытаясь добежать до островка, но оттуда уже выезжал другой танк. Сергей бежал почти прямо на него, надеясь проскочить чуть правее, чувствуя, как что-то режет в паху и справа под ребрами, и Сергей бы успел проскочить, но хлюпающий сапог извернулся как-то по своей воле, и Сергей упал грудью и лицом в песок. Глаза он закрыл – они закрылись сами собой, – падая, а рот был полон песку, хрусткого, отдающего гарью и каким-то машинным маслом. Инстинктивно Сергей вжимался в песок. Он слышал сзади рокот танка – второй танк как-то вылетел из сознания – и каждую секунду ждал, что сейчас его ноги превратятся в фарш, он так и представлял себе почему-то: его всасывает, как в мясорубку, и все это скрежещет с песком и костями, перемалываясь, р-р-рык, р-р-рык, и хруст, и скрежет, а потом опять – р-р-рык, р-р-рык... И рык прекратился. Боли под ребрами уже не было, только стучало в ушах, а потом Сергей почувствовал, как этот стук и боль в затылке тихонько уходят, словно просачиваясь через кожу в песок. Из ушей словно бы вытекли все звуки. Напряжение ушло из тела, Сергей расслабился и лежал неподвижно, и ему казалось, что он проваливается куда-то, очень приятно, мягко и безопасно летит вниз...

... Открыв глаза, Сергей понял, что лежит на спине – небо было голубое, яркое, и глаза заслезились от света, – а потом уже разглядел склонившиеся над ним лица. Он заметил, как выражение озабоченности и даже испуга на одном из лиц сменилось вполне добродушной улыбкой. Сергей открыл глаза, и сейчас же лица отдалились от него.

– Ну что, приссал? – спросил кто-то. – Очконул, небось?..

Не было никаких странных ощущений, только песок во рту и всё.

Спрашивал Сергея сержант, румяный, мордастый – он и улыбался.

Сергей почувствовал, что может подняться, и он сел сначала, посидел несколько секунд, а затем встал. Все было в порядке. Он сплюнул песок, песку был полный рот. Сергей сплюнул опять и попал на сапог сержанту, случайно, и тут же сжался, ожидая удара. Он быстро взглянул на сержанта, но тот все улыбался: то ли не заметил, то ли и не собирался бить Сергея.

– Вот тебе боевая обстановка, – сказал один из танкистов. – Будет что девкам дома посвистеть. Без вранья. Расскажешь, как танк тебе чуть хуй не отдал.

Танкисты заржали. Сергей все сплевывал песок, изредка взглядывая исподтишка то на одного, то на другого. Ему очень хотелось кого-нибудь ударить, все равно кого. Совсем не обязательно этого сержанта. Любого.

– Что, стройбат, выпить хочешь? – обратился к Сергею сержант. – Пошли – нальем.

Не говоря ни слова и глядя все так же исподлобья, Сергей направился за танкистами к лесочку. Там на поляне было – по всему, давно уже – оборудовано место: лежали друг против друга два бревна от мишеней, вроде двух скамеек.

Один солдат сбегал к танку и притащил стакан, три бутылки бормотухи, булку и колбасу, он, видно, шестерил; он нарезал перочинным ножом булку и колбасу, разложил все это на той же сегодняшней газете с портретами космонавтов и принялся срезать пластмассовые пробки с бутылок.

– Не ссы, не ссы, – сказал сержант, хлопая Сергея по плечу. Он налил стакан и протянул Сергею. – Гостю первому.

Танкисты опять недружно заржали.

Сергей знал, что он может не жрать, потерпит, обойдется, может не пить, он ненавидел этих танкистов,

и сшибать у них куски было ему как говно есть, но он понял вдруг, что боится, боится отказаться, боится выплеснуть винище, из него будто вынули все кости, и он был уже не он, а шматок мяса, куча дерьма, дерьмо; он взял стакан и выпил, и когда передавал уже стакан сержанту, почувствовал, что из глаз побежали слезы. Он даже не мог сжать зубы; он всхлипнул, вытирая слезы рукавом.

– Ты что, дурак? – сказал сержант испуганно. – На, закуси... На колбасу, – сержант выбрал здоровый кусок колбасы, положил на булку. – На.

В эту минуту Сергей ненавидел его еще больше – и за то, что взял колбасу, и за то, что откусил и принялся жевать, за то, что его пожалели, за то, что слезы текли сами собой и Сергей, жуя, растирал их рукавом.

Теперь уже все ухмылялись.

Вино было выпито, колбаса и булка съедены, пока Сергей дожевывал бутерброд.

Танкисты забросили бутылки подальше от поляны, они о чем-то разговаривали, смеялись, но Сергей не слышал, не понимал ничего, какие-то вдруг слова проникали в его сознание, но слова без смысла. Говно, повторял он себе, говно. Если не можешь себя защитить, ты – говно. Он понял это еще в школе. Они говорили: наберешь двести очков за учебу и за поведение – на лето поедешь домой. Сергей набрал больше – но хуйтам его отпустили. А уж после этого, только дурак мог им поверить. Из школы постоянно кто-нибудь бежал, не он один, особенно летом бежали, но после второго побега его зауважали. Если и не зауважали, то оставили в покое. Даже парни оставили его в покое. Сначала его, конечно, били. То есть для начала били просто так, чтобы знал свое место, чтобы знал, кто здесь главный, он понимал, испытывали на вшивость. А потом его действительно били, когда оказалось, что он не хочет признавать над собою старшего, «пахана», как его, краснея от удовольствия, называли парни. Несколько было «па-

ханов». Но Сергей никому не прислуживал. Он и не знал, почему так, но не мог он и всё. Он не решал, что не будет прислуживать, не гордость, не самоуверенность или там еще что-то руководили им. И вопроса такого не возникало. Просто не мог он и всё. Один раз его избили шваброй, втемную, избили так, что он оказался в больнице, но и тогда он не сделался шестеркой. А после второго побега его уже не трогали. Он ходил один – сутулый, насупленный, злой как волчонок, худой, глядел исподлобья. Когда приезжали мать с отчимом, он видел, они рады, что он заперт здесь, они боялись его. Обычно они сидели молча, глядя друг на друга, то есть мать глядела на него, а он лишь изредка на нее взглядывал, отвечал коротко, сам он ничего не рассказывал. Отчим глядел куда-нибудь в сторону – он был мужик хороший, Сергею как отец. Сергей и называл его всегда – «отец». Своего отца Сергей не помнил. Они разошлись с матерью, когда Сергею было четыре года, и с тех пор не встречались. Теперь он полковник, и мать получала с него крутые алименты. Сергей кушал привезенную еду, но немного; другие жрали домашнее жадно, и ему было противно смотреть на это. Сергей съедал немного и ничего не брал с собой. Даже яблок не брал. Друзей, приятелей у него там не было ни одного, втихаря жрать – противно, а отдавать им хоть крошки он не мог. Не мог он. И он же знал, что отберут насильно. Он готов был умереть с голоду, но не отдавать еду этим подонкам. Он не знал почему, но знал, что если бы его и затоптали ногами, забили бы до смерти, он не отдал бы ничего этим «паханам» и всей этой ихней сволочи. И еще хорошо было не брать ничего у родителей. Он и не брал. Он ведь пропускал обед, сидя с ними, поэтому он съедал немного, сколько он съел бы за обедом, и всё. Он не думал почему, просто решил не брать у них ничего и не брал. И как-то однажды он понял, что он им не нужен и они ему не нужны, ему ничего не нужно ни от кого, вот так. Ни от кого ничего ему не нужно. А кому нужно –

тот говно. И все это знали, и эти танкисты знали, и Соколов знал, он не трогал пальцем тех, кто умел себя защитить, и ребята в школе, когда били Сергея, это знали, и они это знали, когда уже не трогали его, тогда его уже, значит, нельзя было трогать и его не трогали. И все смотрят первым делом именно так – умеешь ты себя защитить? Нет – значит, ты говно.

Он сидел на бревне и, наверное, вообще ничего не слышал и не понимал, что происходит вокруг, пока кто-то из них не потрянул его и не сказал:

– Стройбат, дури хочешь?

Сергей взял окурочок самокрутки, затянулся бездумно три раза, и огонек добежал до пальцев. Голова только немного закружилась.

А они уже шли к своим танкам. До Сергея еще доносился их смех, но он как будто не видел их, только танки стояли, уродливо скособочившись на песке.

Потом танки заревели и исчезли очень быстро из поля зрения. Сергей поискал танки, вертя головой, но слышен был только рев, танки уходили в лес, тогда Сергей поднялся с бревна и пошел, выбирая направление по звуку. Он пересек танкодром, а когда он вышел на лесную дорогу, изодранную гусеницами, танков уже не было слышно, но он теперь и так знал, куда идти.

Минут двадцать Сергей шел по дороге, а потом все же свернул в лес и пошел краем, чтобы ни на кого не напороться, на всякий случай, хотя по этой дороге только ездили, а ходить никто не ходил.

Забор у танкистов оказался высокий и сплошной, и Сергей долго бродил, выискивая щели, пока не разобрался, где у них в городке что.

Он нашел место, где стоило перелезть, осмотрел все вокруг и залег в кустах, дожидаясь темноты. Еще не было темно, но какие-то звезды уже появились на небе, над городком Сергей видел одну яркую звезду и несколько тусклых маленьких звездочек.

Из кустов, лежа на животе, а то поджимая иногда ноги под себя, меняя положение, Сергей разглядывал забор, словно хотел высмотреть на нем что-то важное, и, когда стало темнеть, серые доски замелькали, замельтешили перед глазами, и Сергей понял, что засыпает. Заснул, подумал Сергей и задремал. Потом запели: «Броня крепка и танки наши быстры...», Сергей сквозь дрему понял, что пошли на ужин, есть ему не хотелось. Он встал, почти во сне шагнул за свой куст, пописал, а потом опять вернулся на старое место. Прошла секунда, а может быть, две, и опять запели: «Броня крепка...», уже возвращались с ужина. Который же час, подумал Сергей, просыпаясь. Он поглядел на часы, но циферблат был мертвый, черный, только какие-то маленькие блики помогали отличить его, да и ощущение на руке, но видно ничего не было, уже было совсем темно, и Сергей опять заснул и увидел во сне молодого белоруса по фамилии Летяга, который чистил ему сапоги и пришивал подворотнички. Летяга гнался за ним на мопеде, а Сергей бежал что есть сил, но оказалось, Летяга вовсе за ним не гнался, он пролетел мимо, пригнувшись как гонщик, тарахтя и воняя своим мопедом, и очень быстро скрылся за горизонтом. Ну и чёрт с ним, пусть уезжает, подумал Сергей.

Он проснулся и испугался, что проспал, что уже утро, но было всего два часа ночи, самое лучшее время.

Прожектора вполне накала освещали городок, и, насколько можно было рассмотреть через щель, там не было ни души.

Мельтешить вдоль забора Сергею не хотелось, но нужно было убедиться наверняка, что никто там не шляется, и Сергей подумал, что можно попробовать немного сдвинуть доску, но когда он стал просовывать руку, доска неожиданно легко поддалась, он сунул и вторую руку и развел две доски в стороны – здесь был лаз.

Сергей осмотрелся. Слева был туалет, а справа, судя по всему, и был «гэсээм», именно здесь Сергей ви-

дел вечером часового. Но сейчас нигде никого не было видно и часового не было видно.

Сергей пролез, лег на живот и пополз к туалету, стоящему метрах в пятнадцати от забора. Ползать он не умел, да и не было никого, он поднялся и, пригибаясь, побежал.

Двери в туалете не было, был только проем. И лампочки тоже не было. Лучше и не придумаешь.

Сергей прислонился к стене, передыхая. В отблесках света, попадавших сюда в основном через небольшое оконце, Сергей убедился, что этот туалет – родной брат ихнего, в их ВСО. Те же десять очков, вонь, дерущий глаза и горло запах хлорки, на подоконнике – пачка газет. Правда, окно было с рамой, хоть и болтавшейся на одной петле, а рама со стеклами, зато у них в ВСО была дверь.

Под окном Сергей увидел лопату и сразу понял, что она-то ему и нужна. Он не предполагал найти ее здесь и не думал о ней, но, увидев ее, сразу понял, что она ему нужна.

Сергей взглянул в окно: метрах в пятидесяти была казарма, дорожка от нее шла прямо на туалет и ответвление было только одно – к «гэсээму». Посыпанные песком дорожки прекрасно были видны в свете прожекторов.

Сергей перешел к двери и стал наблюдать за «гэсээмом». Это было невысокое каменное здание этажа в два, с очень редкими окнами по низу – «гэсээм», точняк, и часовой тут ходил. Но сейчас часового не было. За двадцать минут часовой ни разу не появился, Сергей не мог его проглядеть.

Спит он, подумал Сергей, прислонился к стене и спит.

Нужно было ждать, нужно было подождать еще, но просто так стоять и ждать было невозможно.

Сергей взял лопату и тихонько вышел из туалета. Никого не было. Сергей осторожно, готовый каждую

секунду упасть и замереть, продвигался к складу. Никого не было. Теперь Сергей видел две стены «гэсэ-эма», и часового не было.

Если часовой появится сейчас из-за угла, прятаться будет некуда. Часовой мог появиться и спереди, и сзади, но прятаться все равно было некуда.

Спрятаться было некуда, и Сергей пошел открыто вдоль белой кирпичной стены; иногда попадались окна, а дверей не было ни одной. Точно это «гэсээм».

Сергей, разогнавшись, вылетел прямо за угол, даже не глянув, что там. А там была открытая дверь и кто-то стоял перед нею. Сергей на яркий свет сначала не мог ничего разглядеть, но в обалдении все шел вперед, прямо к свету, а потом понял – у двери стоял и курил часовой. Часовой и часовой – Сергей не рассмотрел его и не рассматривал, а часовой пробормотал что-то вроде: «Чего шляешься...» или что-то такое и отвернулся.

Свет из двери прекрасно освещал часового, он стоял спиной к Сергею, автомат висел на плече стволом вниз, часовой курил, сплевывая, и длинная тень его ложилась на плац.

Сергей, не целясь и не примериваясь, просто взмахнул лопатой, и все получилось как надо – солдат упал и не шевелился, он не издал ни одного звука. Сергей постоял немного, потом опустил лопату и подошел. Жив был этот парень или умер, Сергею было все равно. Он вовсе и не думал об этом. Он не думал о часовом, не имел лично к нему никаких чувств и, безразлично глянув на небольшую темную лужицу, Сергей стащил с плеча часового – пришлось его немного приподнять – «калашника» и принялся отстегивать подсумок. Подсумок не отстегивался никак, и Сергей не стал возиться, а просто открыл его и вытащил оттуда оба рожка.

Автомат Сергей повесил на плечо, рожки сунул в карман брюк, но, перешагнув уже через часового, он испугался, что потеряет, что рожки могут вывалиться, он судорожно хлопнул себя по карману, рожки не выва-

лились еще, они были тут, Сергей переложил их в карман гимнастерки, даже застегнул пуговицу.

Это был «гэсээм».

Открыта была не только наружная дверь. За нею был небольшой тамбур, в котором горела очень яркая – свечей двести – лампочка, а там вторая дверь, которая тоже была открыта. И за нею тоже было светло.

Сергей вошел и похолодел – за письменным столом сидел кто-то. За столом сидел прапорщик в расстегнутом кителе, без галстука, с повязкой на рукаве – «Дежурный по части», он спал, откинувшись на спинку стула, и положение его, на глаз, исключало всякое равновесие. На столе стояла пустая бутылка из-под «коленвала» и несколько бутылок из-под «жигулей». Прапор спал с открытым ртом, неестественно разбросав руки, не было слышно даже его дыхания, словно это был не человек, а кукла, манекен. Сергей прислушался, прапорщик как будто и не дышал, но Сергею показалось, что какие-то звуки доносятся с улицы, из-за дверей. Сергей метнулся к выходу, но часовой лежал, где лежал.

Хорошо. Сергей вернулся в склад. С той минуты, как он увидел открытую дверь, он уже точно знал, что он будет делать. Он тихонько прошелся, ища что-нибудь подходящее; то, что ему было нужно, – куча промасленной ветоши – лежало на перевернутом вверх дном ведре.

Сергей взял все эти тряпки, разложил их вокруг какой-то пахучей металлической бочки, потом он вынул из гимнастерки обрывки газеты, накидал их туда же, вытащил из кармана рожок и принялся выщелкивать из него патроны.

Он извлек сначала три патрона и, помедлив, еще два. Раскачав зубами пули, он вытащил их и высыпал порох на тряпки.

Выглядело не внушительно. Сергей поискал, что бы еще прибавить. Можно было, конечно, содрать обивку со стула, но Сергей побоялся, что прапор проснется.

На письменном столе рядом с бутылками лежали какие-то растрепанные бухгалтерские книги, засаленная общая тетрадь и томик в картонной обложке – уставы. Сергей осторожно взял все это и, покрошив пороха между страницами, разложил около боченка.

Всё, подумал Сергей. Теперь всё. Все готово. Он достал спички, поправил автомат на плече; чиркнул спичку, но тут же задул и отшвырнул ее в сторону, сбросил ремень с плеча и взял автомат под мышку. Потом снова зажег спичку, ковырнул тряпки стволом автомата и подсунул горящую спичку в самую середину.

Тряпки вспыхнули сейчас же. Сергей даже не заметил, когда пламя успело обежать вокруг бочки, и в ту же секунду бочка была в огне, и Сергей бросился бежать.

Он выскочил из склада и открыто, не пригибаясь и не прячась, побежал, прижимая автомат. Страшно не было, он ждал грохота, взрыва, огня, но страшно не было.

Он опять забежал в туалет. Отсюда, из дверей туалета, ничего нельзя было увидеть необычного. Склад стоял как и раньше, никого, как и раньше, не было видно в городке. Сергей глядел на коробку склада, и вдруг он испугался, что прозевает.

Он кинулся к окну, примерился, передернул, теперь он уже был готов, он взглянул на темные окна казармы, но там все еще спали.

Что еще, подумал Сергей. Он протянул руку, чтобы расстегнуть пуговицу на кармане, и тут он неожиданно заметил, что звезд теперь полное небо, некоторые блестят, мигая, некоторые слабо-слабо светятся, почти пропадая в черном небе. Нет, небо было не черное, а темно-синее, темное-темное, но не черное.

В синем небе звезды блещут, вдруг вспомнил он из детства, из школы, или еще раньше, он сидит на коленях у отца, наверное, отец читает ему книжку, и запах жареной картошки и рыбы, и керосина, и постного масла, только лицо он не помнил, какое у отца было лицо.

Вояка. Как у Соколова, как у нашего ротного, подумал Сергей. Он вспомнил еще кусочек – в синем море волны плещут. Тучка по небу идет. Небо было чистое, звезд полно. Туча по небу идет... Ему очень хотелось вспомнить дальше. Туча по небу идет... И в этот момент рвануло.

Кажется, он оглох на минуту, а может быть даже он перестал соображать, стало очень светло, звезды пропали, зато теперь Сергей видел постройки неизвестного ему назначения, опять рвануло, он увидел кумачевые транспаранты на стенах казармы, и тут они побежали, впереди бежали всего трое, на ходу застегиваясь, а за ними уже целая толпа – кто в одних брюках без гимнастерки, а кто и просто в белье, – кто в чем.

Они приближались, и Сергей спокойно ждал. У него было всего три рожка – и то один не полный, – и Сергей ждал, когда первые подбегут к развилке, они добежали, и Сергей мог спокойно уложить их, но вдруг решил пропустить. Жалко было патронов. Пусть эти бегут. Он помнил уже целый кусок. «В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет...» Теперь был самый момент – на развилке оказалась уже большая толпа. Сергей аккуратно прицелился и дал первую очередь.

*22 августа – 22 сентября 1978 г.
г. Ленинград*

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

I

БЕЛОЕ

Белый ветер ликует в парусах
Белой гвардии спасение дано
Белый голубь шепчет: «Отче наш»
Белым звездам прибавляя молоко.

Белый мастер ждет на небесах
Белой книги торжество
(на Земле он был седым,
с белым снегом – не сравним)

Белый вернулся домой –
На Новодевичьем тихо лежит.

июль 84

II

ЧЕРНОЕ

Черный парус поднимали моряки
Черной мачте в масть,
Черным компасом владея хорошо
Черным морем утоляли страсть.

Черный человек Есенина пугал
Черным вороном оборотясь.

Черный* из Парижа сбегал на «Пожар!» –
В Провансе на кладбище Лаванду застрял.

октябрь 84

III

КРАСНОЕ

Красное по скатерти вино,
Красные на небе облака,
Красное бывает домино,
Красных шум-шумок телец
(если ты – не голубая кровь)

Красная бесовщина когда-то
Красной кровью вымыла Россию –
Красный кол до основанья вбит,
Красный новый мир давно построен:
(каждый пятый – расстрелян,
каждый четвертый – сидит)

Красный смех Андреева пророчен,
Красной стала в лагерях параша,
Красная слюна у заключенных,
Красная слеза у привлеченных,
Красный век словами позолочен,
Красными досками заколочен...

Ты, Владимир Красно Солнышко, прости, –
Неизбывны Красные грехи.

октябрь 84

* В 1932 г. Саша Черный переселился из Парижа на юг Франции. 5 августа, возвращаясь из гостей домой, он услышал крик «Пожар!» и бросился на помощь. Придя домой, поэт почувствовал себя плохо и от сильнейшего сердечного приступа в ту же ночь скончался.

* *
*

Жажда вражды наследует нежности,
Тяжба любви сопутствует местности,
Вираз ворожбы изменяет окружность,
Жеста протяжность губит ненужность...
Несть им числа – праздному смыслу,
веселому суслу.
Улыбка в морщинку легла
Кому – по гедону,
Кому – по прокрусту.

июнь 84

**Международная издательская
кооперация ТМА**

приглашает к сотрудничеству.
За подробностями обращайтесь по адресу:

S. Vangnoo (TMA)
postlagernd/Postamt
D-2358 Kaltenkirchen

СМЕРТЬ ЛЕНИНА

Рассказ

Из книги «ПУСТАЯ ПОСУДА»

На мой суровый взгляд, сдавать пустую посуду весьма приятно в одном лишь единственном случае: когда ты уверен на все 100%, что у тебя ее примут. Если же в состоянии тяжкого утреннего похмелья, постепенно переходящего в мучительное дневное, уверенности у тебя стопроцентной в этом нету, то жизнь твоя, как, впрочем, и жизнь всей длиннющей очереди к пункту приема пустой посуды, превращается в пытку адского ожидания и зверского, при всей его скрытости, протеста против мелкого свинства нашего времени.

Человек с обостренным душевным слухом улавливает тогда в каждом соседе по очереди как бы надтреснуто-жалобное звучание всей его нервной системы, вновь подвергающейся утонченному измывательству со стороны торговой сети бесчеловечного государства.

Разумеется, нервишки шалят у всех по-разному и в строгом соответствии с оригинальностью каждой отдельной личности. Причем не следует забывать, что похмельное состояние как бы оголяет любого человека перед собственным его испытующим взором, независимо от того, какой именно натуре принадлежит взор – художественной, например, увлеченной и развязно болтающей, или же натуре крайне подавленной всеми без исключения обстоятельствами вынужденного существования на Земле, а потому и размытой на фоне алчущей толпы до удручающей незаметности.

А ежели открывается в тебе вдруг ни с того, ни с сего бесстрашие воспринимать в положении ближнего нечто невыносимое, то, что непьющие специалисты

весьма приблизительно называют трагическим, то каких только борений человека со своей совестью и с Роком ты не будешь свидетелем. Только боязнь, что разрыдаешься ты неудержимо от новых подробностей чьего-либо низкого падения и вчерашнего пресмыкательства перед змием всесоюзного алкоголизма, что взвоешь внезапно от того, что делает с собой человек ради губительной страсти к выпивке и кого он в себе при этом непременно губит, что взвоешь, и вызовут «скорую», и увезут в психушку, несмотря на бешеное твое сопротивление и нежелание оставлять неизвестно какой сволочи пару авосек пустой посуды, – только эта боязнь удерживает тебя от пылких жестов и безумных высказываний.

Так вот – в тот самый день все мы, человек сто, если не больше, уверены были вполне, что каждый из нас вскоре воспрянет в самозабвенном полете, что в руках у каждого, отягощенных унылым грузом пустых стекляшек, вдруг объявится крылатая легкость и закипит в страдающих организмах юношеская страсть к достижению самой нелепой цели.

Очередища двигалась быстро, походя, возможно, на фантастическую рептилию, смердящую изо всех своих пор зловонной сивухой и многоголосо гудящую, поскольку надежда сдать вот-вот пустую посуду прерывала угрюмое молчание живых страждущих звеньев, вынужденно соединенных в эту советскую гидру.

Живые звенья, то есть мы, при движении к желанному провалу в подвал поднимали и вновь ставили на место разные сумки, авоськи, мешки и даже ящики, так что извивающееся существо очередища немолчно позвякивало, тренькало, скрежетало и издавало иные, зачастую омерзительные акустике и атмосфере, порошне-стеклянные звучания.

Конечно же, передних, как всегда, распирало от недостойных чувств самодовольства и превосходства. Задние же нескрываяемо изнемогали от зависти, а порою

и от более сильного и низкого чувства. Слова для него вы никогда не отыщете ни в одном словаре, потому что само это чувство присутствовало во всех, без исключения, живых тварях лишь на заре так называемой эволюции, когда языков никаких не существовало, но лишь оглашал старшие окрестности Творенья звук утробного ужаса перед развитием.

Живые твари бессознательно чуяли полную историческую невозможность возвращения в лоно Предвечного, но одновременно, преодолевая ужас перед развитием, стремились, бессознательно же, разумеется, продвинуться куда-то вперед, хотя неведомо куда именно и неизвестно зачем. То есть в живых тварях наблюдалось вечно смущающее всех мудрецов явное желание содействовать прогрессу, подперченное тем самым отвращением к эволюции, иначе говоря, к стоянию в очереди за прогрессом, а еще точнее говоря, подперченное безумным страхом перед Временем.

Позднее прогрессивные философы внушили полностью якобы просвещенному человечеству идею насчет светлого будущего, построить которое следует своими руками. Тогда, но никак не раньше, прекратится стояние к нему в тоскливой и недостойной гордого человечества очереди.

Как известно, Советская наша власть первой совершила гигантский революционный скачок из мрака необходимости к царству свободы, или, как сказал бы ироничный обыватель, схимичила дефицитного прогресса без очереди.

Но, схимичив весьма, признаем, удачно, что-то такое совершила Советская власть с болезненным от рождения, бедным и почти беззащитным организмом Общества, что моментально поперлось оно, подгоняемое своей партийных шакалов, вспять по лестнице эволюции, взад очереди Истории.

В прежде приличном, хотя и несовершенном Обществе проснулись невероятно ужасные чувства, сдержи-

ваемые подчас в людях, убивающих время в очередях, исключительно страхом перед тюрьмой, то есть возвращением в бесчеловечное рабство ко времени.

Не могу не вспомнить тут об одном мужичишке, спокойном на вид гражданине не алкоголического типа, явно никогда не пропивавшем в отчаянные минуты верхней одежды и честных наград войны.

Огромное количество пустой посуды он приволок на санках, занял очередь, подождал пару минут следующих каких-то ханыг, подобострастно предупредил, как водится в порядочных очередях, что спешит на работу на автобазу и вернется вскоре на своем грузовике. Добродушно сообщил, что три дня гуляли свадьбу Нюрки с «пилотом наружной авиации». Совсем уж доверчиво добавил, что «поправиться у компании нету ни капли», и в чудесном расположении духа поканал на автобазу.

Я и мой друг Паша, физик по образованию, стояли слегка впереди того социально-аккуратного мужичишки-шофера. С нами было 217 бутылок разного калибра, после дня рождения Паши, на котором, не без невинных безобразий, славно попьанствовало не менее 150 человек.

Пока мы туповато поддерживали меркнувшие сознания попыткой разобраться в том, что такое «наружная авиация», мужичишка действительно вернулся на рабочем грузовике. Первым делом он бросился к двум ханыгам. Страстно попросил опознать его. «Я давеча убежал на автобазу... Перед вами стоял, земляки...» Многие задние люди, как бесчувственные и замкнутые сами на себе звенья рептильной очереди, гнусовато и лживо забазлали: «Тут всякие давеча убежали на автобазу...», «Я твоего заявления тут сроду не замечал...», «Мы таких видали и знаем, у нас этот номер не пройдет...», «Если б каждый вроде тебя уходил, то и очередей в стране не было бы, а все являлись бы к сдаче посуды в положенный срок...». – «Земляки, я вам Христом-Бо-

гом клянусь, совесть не даст соврать: занимал. Вот за этим, с фингалом, и за тем вот, небритым, занимал. Он еще картавил... „скогей пгиходи, на хег ты сдался стоять тут за тебя?“» – «Не помню», – жестоко отвечивал картавый, а тот, который был, по мнению мужичишки, с фингалом, заезуитствовал: «Во-первых, это не фингал, а почки с похмелья тормозят водянку, а во-вторых, никуда ты не отходил, потому что ты сюда и не приходил...»

Никогда не забуду выражения лица того мужичишки. Сначала он густо покраснел от беспомощного, но яростного стыда за лживое человечество, как бы даже позабыв о своих персональных заботах. Затем мгновенно побледнел, словно человек, выслушавший смертельный приговор, весь жуткий смысл которого с запозданием пронзил его душу. Побледнев, тихо сказал: «Земляки... вон ведь и саночки с посудой... меня компания ждет... Так не-е-ельзя...»

Мы с Пашей бурно стали доказывать всем опустившимся социальным уродам, что мужичишка стоял и уходил, что все мы, так сказать, стоим, уходим, а потом приходим и не хера тут зловредно выкаблучиваться...

«Земляки, нету саночек», – возопил вдруг мужичишка. Нервически и бесполезно посновав по окрестностям приемного пункта, он с тою же странной обескровленностью на совершенно по-детски обиженном и поистине растерянном лице, повторил: «Саночек-то нету, земляки...» – «С того бы и начинал, ботинок хуев», – сказал картавый, мстительно подбирая слова без рычащих согласных... «Прохиндеев с утра – ну просто как грибов», – высказался тип с синими мешками под глазами... «Так нельзя», – рассудительно, но с глубочайшей обидой повторил мужичишка, обращаясь уже не к безобразно жестокой очереди, а как бы к Высшим силам, отвлекшимся по каким-то причинам от наблюдения за порядком и справедливостью в нашей очереди. «Так нельзя», – с пафосом весьма странным для человека

простого, убежденно повторил мужичишка, после чего куда-то сгинул...

Не буду уж тут описывать, какая тупая тоска объяла ряд нормальных, совестливых, но бессильных чем-либо помочь несчастному душ.

Принявшие же участие в травле завели вдруг весьма энергичные разговоры об ужасах раскулачивания, о ежовском терроре, о язвах и ранах войны и о незабываемых мытарствах в эвакуации... Всеми этими охотными мемуаризмами травители и обидчики, скорей всего бессознательно, внушали себе и нам, что в жизнях ихних, а соответственно и в истории нашей многострадальной сверхдержавы, были такие моменты, по сравнению с которыми какие-то паршивые саночки с пустой посудой и шоферишкой-прогульщиком это все равно, что лишнее перо, выпавшее вдруг из куриного гузна по каверзному своеволию природы.

Очередища тем временем двигалась, доводя чуть ли не до экстаза благодушия всех находящихся в предельной близости к провалу в подвальное чрево и скромно подбадривая только что пришедших бедняг, угрюмых еще от скопления в сердцах утреннего отчаяния.

Живые, изнемогающие от безденежья и сужения сосудов звенья очередищи продолжали звякать передвигаемой и переносимой посудой. Лучше уж было не прислушиваться к этому во всех отношениях невыносимо разлаженному звучанию жалкого стекла, в унижительной зависимости от которого вынуждены находиться и издерганно-гордые, и привычно-непритязательные личности.

Мой друг Паша, удрученно молчавший после душевраздирающего происшествия с мужичишкой, вдруг шепнул мне чистым, горячим шепотом похмельной молодости: «Всё... больше не могу... надо что-то делать... мы не умеем ни принимать самостоятельных гражданских решений, ни сдать по-человечески посуду... второй час стоим... подлое блядство...»

Я, как обычно, беззлобно поддразнил моего друга, дедушка которого принимал самое активное участие в революционной деятельности ленинцев, мечтавших превратить всероссийский грязный бардак в царство социального благополучия.

Стоять нам оставалось минут пятнадцать. Мы явно успевали, сдав посуду, купить водяры, пивка и пельменей до закрытия «кишки» на обед.

В этот момент очередища драматически разволновалась. Пронесся слух, что не принимаются бутылки из-под шампанского с цимлянским и майонезные баночки.

«Тара кончилась... Тара кончилась... Тара кончилась...»

Очередища конвульсивно подперла к дверям приемного подвала. А подвал изрыгнул из себя пару изнемогающих от ненависти ко всему белому свету неудачников. Они больше не являли собою, как десять минут назад, самодовольных фигур жизненной удачи. В руках у них раздражительно позвякивали несданные крупные бутылки, ценою по 17 коп., а у одного за спиною, как какой-то не органический и вовсе чуждый человечеству Чёрт, расположился здоровенный рюкзак, распираемый проклятыми майонезными баночками. Расположился и мелко бесил человека невозможностью скрыть от окружающих и от самого себя образ предельной бедности, который связан в умах поголовно всех обывателей сверхдержавы с собиранием, накапливанием и сдачей именно этих мизерных, оскорбляющих последние твердыни человеческого достоинства майонезных баночек...

Кстати, редчайшим видом социального, нравственного и даже художественного падения считается в народе сдача взрослым, пьющим человеком мешка бутылочек из-под разных лекарств, редких в нашей стране соусов, многочисленных ядовитых бытовых жидкостей, а также из-под лосьонов, духов и одеколona. Да и принимают эту посуду где-то в местах, ни разу не

попадавшихся на глаза ни мне, ни моим знакомым, но, однако, существующих в природе общества, которое, по слухам же, скоро напомогает народно-освободительным движениям и диким, возникающим при успехе этих движений, тираниям до того, что простому населению дана будет возможность сдавать не только мизерные бутылочки, но и спичечные коробки. ПУПОПРИСПИЧКО от населения... Это выглядело бы достаточно завершающе для сверхдержавы, находящейся, по убеждению отдела пропаганды ЦК КПСС, в первой фазе коммунистической формации.

В очередище вдруг начались назидательные изменения. Некоторые, бывшие первыми, стали последними, поскольку нагружены были шампанской, цимлянской, сидровой и еще какой-то импортной посудиной. Бывшие же последними, естественно, стали первыми. Пристальный наблюдатель мог бы отметить при этом, что душевно-физиогномический такт, проявленный как теми, так и другими при сдержанном сокрытии чувств мелкого торжества и раздражительной ярости, достиг поистине героических высот. Все мы несколько притихли перед всеустрашающим явлением мудрого призрака социально-бытовой справедливости, затем бурно разговорились, как это случается в очередищах подобного типа. Сей феномен всегда доказывал лично мне, что советская очередища, где бы и по какому поводу она ни возникала, безусловно являет собою глистообразный зародыш сверхкоммуникативного монстра, состряпанного мстительной историей для фантастического будущего Сверхдержавы, а возможно, и всей нашей планеты*.

Говорили мы невпопад. Каждый старался искреннейше выложить либо наболевшее в душе, либо запекшееся в похмельном мозгу. Не принимали участия в разговоре лишь горестные женщины разных возрастов.

* См. Гоббс. «Левиафан».

Это были близкие родственницы тех, кто пропил каким-то образом весь семейный достаток, оставив ближним надежду на выживание до полочки в виде чекушек и поллитровок.

Тема бесконечной и поголовной униженности советского человека, словно молниеносная гангренная зараза, охватила вскоре почти все живые звенья нашего, извивающегося на тоскливом пустыре, алчущего чудовища.

Серовато-синеватые прежде лица пропойц и просто озябших бедолаг оживленно раздумялись. В мутных глазах появился если не свет мысли, то приблизительно человеческое выражение. Оттянутые посудной тягомотиной руки вскинулись в жестах горячей помощи еле ворочающимся, обезвоженным языкам. Кто-то даже запел ни с того, ни с сего далекую от темы разговора «отвори па-атихоньку ка-алитку-у...» Кто-то предложил категорически расстреливать приемщиков посуды за необеспечение болгарского и венгерского сухарика надлежащей тарой. Какой-то умник заявил, что очереди возникают не от недостатка различных продуктов или же нерасторопности торгово-снабженческой сети, а от переизбытка времени у населения. «Время у тебя есть. Потому ты и стоишь тут. А не было бы – так и не стоял бы, а находился в другом месте. Захавались вы тут, как взгляну я на вас после червонца разлуки, сухой мне быть...» – «Позвольте, – возразил мой друг Паша, – зачем распространять философию тюрьмы на проблему прав человека? Мы все-таки еще на воле». – «На воле ты был, пока папа маме палку не кинул, – мрачно сказал философ тюрьмы и вечной ночи, – а как, извините, кинул папа маме палку, так ты и проканал из свободного живчика в кандей жизни. Вновь расконвоирован будешь лишь в гробу. Не ранее...» – «Такие, как вы, – гневно крикнул Паша, – превращают борьбу за права человека в борьбу за права трупа...» – «Только не оттягивай... не оттягивай... я уже и так оттянул, как ишачий член», –

отмахнулся бывалый и, судя по всему, безнадежно исправленный советской тюрьмой человек.

Затем все мы прислушались к замечательному суждению неплохо одетого гражданина о том, что в большой очереди необходимо видеть, кроме социальной шкуры ее, так сказать, духовное нутро. То есть, настаивал гражданин, на Западе, где он неоднократно бывал до «известного момента катастрофы в карьере», ему буквально ни разу не приходилось наблюдать такого вот качества общения самых разных типов, причем не знакомых друг с другом, общения полностью братского и не сдержанного всякой сословной и снобистской пакостью.

«Западное общество предельно атомизировано, – страстно убеждал скорее себя, чем нас, человек, переставший быть выездным, – и вы на каждом шагу сталкиваетесь с тем, что вас как бы вовсе не замечают. Захожу однажды с похмелья на Гранд-Сентрал. Это в Нью-Йорке вокзал типа нашего Ярославского, только поменьше и погрязней. Иду в сортир отлить. ...Захожу, принимаюсь за дело нужды, то есть собираюсь приняться. Одновременно гляжу вокруг, как русский человек с широкой открытой душой, желающий разговориться в праздной паузе жизни с себе подобным организмом. Организмов рядом штук семь, черных и белых. Радужно говорю, по-ихнему, разумеется, и ко всем обращаясь, что-то насчет вчерашнего бейсбола... Ледяное молчание в ответ... Даже головы ко мне никто не повернул, что – немислимая вещь при затравке самого ничтожного разговора в любом нашем советском сортире. Ледяное молчание... И я думаю: а есть ли ты на свете, Игорь Матвеевич? Или призрак ты своего, чересчур вспененного пивом сознания?.. Может ли быть в сложном современном мире бо́льшая близость, чем близость доверительно друг перед другом мочащихся мужчин, когда руки у них заняты, а языки полностью свободны для борьбы с похмельной тоскою?.. Не может! А они

молчат. Нулевая реакция. Возможно, не расслышали вопроса? Или только показалось, что задал я его? Бывает всякое с того же похмелья. Бывает: тебе кажется, что наговорил ты начальству с три короба объяснений, а впоследствии, на товарищеском суде, оказывается – ты лишь стоял, ковыряя в носу и опоздав на два часа, но слова ни одного не вымолвил... «Хирса» московского разлива отшибает в нас одну из сигнальных систем. Одним словом, высказался я, в порядке приглашения оправляющихся организмов к задушевности, на счет бума на бирже и плохой работы полиции в сабвее. Это – метро... Ледяное молчание... Бесчувственное, эгоистичное журчание отчужденных струй. Для каждого, чую, его унитаз гораздо родственнее живого соседнего человека... Плевать, думаю, на вас, сволочи. Я в виде протеста даже оправляться не буду, а поговорю сам с собой... у советских собственная гордость, так сказать, мы умеем в решительную минуту испепелить буржуя свысока... ебал я ваш Бруклинский мост и высокий жизненный уровень... Ну и заговорил сразу на двух языках... Думаете, арестовали, как восемнадцать суток тому назад? Нисколько... Носом никто не повел в мою сторону. Нет меня... Пустое вопящее место... Тут я форменно взвыл от страха одиночества. Хватаю какого-то мистера за грудки, застегнуть ширинку ему даже не дал, хватаю и с надрывом вопрошаю: «Ты меня понял?.. Ты понял меня, техническая цивилизация ебаная?» Естественно, падаю без сознания, потому что все они владеют боксом с самого детства. Думаете, забрали?.. Растормошили? Думаете, сунули в сморкало пронзительного нашатыря или тыкнули в толчок голову и спустили воду, как это дважды случилось со мною – в Москве и Тамбове? Нет... Так и валяюсь в сортирной пустыне, а подняться смущаюсь, поскольку предельно унижен непредвиденным обстоятельством иностранной действительности... Валяюсь и трясусь в рыданиях, уткнувши физиономию в габардиновый рукав макин-

тоша... Ни вопроса, ни расспроса, ни мимолежного интереса к человеку, все же поверженному и не имеющему сил встать с кафеля, я не дождался. Зато не раз чуял, как лезут в карман ко мне разные руки. Ошамонать пытаются и стырить деньги с документами. Не тут-то было, думаю, советский человек – не мудака манхеттенский. Он портмоне на груди носит... Затем встаю... Народу в сортире полно, но – ледяное молчание с торжеством прочих звуков над личностью человека... Можете поверить: из презрения я так и не оправился, хотя впоследствии оказалось, что просто-напросто обоссался...

Иду в ООН. Там с опозданиями не так строго, как у нас... неважно где... По дороге лезу в карман и... что бы вы думали?

«Подтирки наложили», – быстро ответил кто-то из больших знатоков человеческой природы.

«Ошибаетесь. Я сам сначала так подумал. В кармане моем были доллары. 47 долларов различными купюрами, но не выше пятерки».

«На пару бутылок», – подсказал все тот же бойкий эрудит.

«Ошибаетесь, товарищ. На десять бутылок «смирновской» или на четыре приличных «гуся», то есть полугаллона виски. Не выдержав напряжения внутренней жизни, принимаю оперативное решение опохмелиться, а затем уже заявиться в ООН. Захожу в кафе. Беру дублэ-скотча с темным пивком «гиннес» – расширить сосуды по-ирландски...»

«А закусь?» – сдавленным от аппетита и жажды шлепнуть рюмашку голосом спросил кто-то.

«На Западе большинство следящих за собой людей не закусывает по разным пустякам, а только опрокидывает, зная меру. Одним словом, успокаиваю душу. Успокаиваю еще раз. А разжевать не могу даже соломку с солью: скула онемела, и челюсть с челюстью не сходится. Там стараются сходу бросить тебя в нокаут, чтобы ты не рыпался добавочно, а если стреляют в кого

в порядке самозащиты, то стремятся не ранить тебя как-либо, а укокошить, потому что, очухавшись, ты наймешь адвоката и уж адвокат докажет, что не ты напал, но на тебя напали, ранили и лишили возможности ходить на работу. И присудят тебе с полмиллиона, когда не больше, компенсации за ранение. Покушавшийся же на тебя в порядке самозащиты господин будет мрачно оплеван либеральным общественным мнением, как убийца социально-обездоленной молодости. Но дело не в этом... Опохмеляюсь, и снова пронзает меня тоска. Мало, думаю, того, что вы игнорировали мой порыв почеловечески разговориться при opravке, когда у каждого есть минутка абсолютно свободного времени, но вы повергли советского человека на кафедру, а затем откупились от него сорока семью долларами... Вы от всего откупаетесь, но вас тем больше ненавидят, чем щедрей, мудаки, относитесь вы к замурзанным мурлам третьего мира... Мы же вот – полмира отхряпали, нужду несем освобожденным от вас народам, шпионим где попало, террором занимаемся среди бела дня, а нас к тому же еще и любят, и уважают, и трепещут, не крадут и не подстреливают. Вот как мы себя умеем поставить при расстановке сил на мировой арене... Я слова от вас хотел живого в период резкого сужения сосудов и вдали от Родины, а вы презрительно помилосердствовали, падлы, захававшиеся на Уолл-стрите... А мне чего надо было? Мне всего-то надо было, чтобы я в сортире сказал вдруг с глубоким чувством личной тоски и боли за весь мир во всем мире: „О-ой, блядь...о-о-ой!“ – а ты бы мне с пониманием момента ответил бы всего-то-навсего: „Мнн-да... бывает“, – и я бы на все враз плюнул за такую твою спонтанную солидарность. Я бы кассу взаимопомощи обокрал и расстался бы с кольцом обручальным навек, что не раз уже со мной бывало здесь, среди вас, товарищи...»

Все мы как-то почувствовали, что рассказчик близок к нервическому срыву. Руки у него дрожали, а по-

тому и звенела жалобно в авоськах пустая посуда. Кто-то, со вздохом, сопутствующим обычно тяжким борением человека с косным природным жлобством, протянул бедствующему рассказчику чуток серо-лунноватой жидкости на дне чекушки. Тот не мог сдержать благодарных рыданий и так и затрясся от них. Затем поставил на землю посуду и вылакал из горла, ни разу не застучав об него зубами, спасительный, возможно, глоток.

«Спасибо, товарищ... я не останусь в долгу... не тот человек... то, что вы сейчас сделали, товарищ, это – будущее Запада, за которое ему еще долго придется бороться и бороться с атомизированным индивидуализмом», – заявил рассказчик. Занюхав глоток рукавом, он вновь нагнулся за авоськой, поудобней взялся и продолжал:

«Откупиться не удастся, господа и мистеры. Плानете нужны душевные слова, а не деньги, понимаешь, которые не пахнут... Сижу в кафешке, кафешки там, надо объективно сказать, приспособлены к интимно-внутренним душеизлияниям любой отверженной личности, сижу, поддаю и прикидываю: как следует поступить с презрительной милостыней надменных буржуа?.. А вдруг это – грубейшая провокация с целью дальнейшей компрометации нашей страны в обезьяньих глазах третьего мира?.. Версию откидываю, потому что американцы – весьма наивные люди. Они не могут поступить так, как мы поступим в аналогичной ситуации, скажем, с работником ихнего посольства, валяющимся с похмелья в сортире на площади Восстания. Мы бы не рублей в его карманы напихали, а, например, антисоветских прокламаций, портативных Библий, Талмудов с фотографиями Папы или даже секретных чертежей. Показываем этого алкаша по программе „Время“ на всю страну... Вот он – в сортире, обоссанный как кутенок... вот – на шмоне в отделении... вот – в вытрезвителе, среди советских людей, говорящих ему: „Почему Рейган хочет уничтожить СССР звездной войной?.. А?..

Руки прочь от Никарагуа!..“ Да я бы за такую акцию снова выездным стал и даже медалишку схлопотал с премией... Мы бы этой акцией лишний раз по Сахарову вдарили с Шаранским, чтобы диссидентская шобла попритихла и не мешала нам наводить порядок на международной арене... Мы бы, одним словом, не зевнули с посольским американом... Беру еще разок дабл-скотча, извините, дабла-скотчу, и соглашаюсь со следующей версией: провокация устроена нашими. Слежку я чуял за собой с первого дня прибытия в Штаты. Не раз прорабатывался на партсобраниях за благодушное отношение к буржуазной массовой культуре и за попытку пристроить к телику канал «плейбоя»... По нему можно всю ночь смотреть все натуральное в смысле тел и положений... Ну, естественно, представитель Верхней Вольты, обезьяна проклятая, пожаловался Генеральному секретарю ООН, что я два раза проспал. Не принес им, видите ли, когда обсуждали жалобу на Израиль, коктейлей... Спасало меня не раз то, что я являлся родственником домработницы Леонида Ильича. Мы все пошли по выездной линии... Благодаря такому родству, наши позиции в ООН сильны были как никогда. Вот, думаю, мечтают использовать падлы момент, чтобы нас заменить своими выездными. Хватит, мол, вам – бровастые выкормыши – гулять по буфету. Дайте и нам доллар покусать, да пожить по-человечески вдали от Родины... Явно, решаю, провокация... Свои же и набили карман деньгами, то есть валютой, и надеются, что зажму ее, как какой-нибудь ничтожный Евтушенко... выездная шлюха, понимаешь... Не тут-то было, мистер Добрынин и господин Трояновский... нас на мякине не проведешь... мы все нынче жеванные-пережеванные международной напряженностью и продовольственной программой... Но я принимаю не простое решение, а Соломоново, на что, кстати, сионисты всегда были большие мастера. Я решаю вернуть в нашу казну всего 22 доллара, а пропитые не возвращать категорически. С какой

это, скажите мне, стати я должен оплачивать все расходы по вашей провокации своими кровными „зелеными“? Да провалитесь вы все пропадом. Я и так отстегиваю вам львиную долю своей валюты на оплату шпионов и террористов, а сам вынужден даже в день рождения вдали от Родины натягивать ради экономии штопанный гондон на праздничный стол... Короче говоря, поправился я славно. Очень славно. Не пытался больше разговаривать ни с кем. Игнорировал даже беседу двух каких-то бывших советских прохиндеев. Рожи бородастые у них вдали от Родины были весьма похабны. И похожи, поверьте, на лобки скорее, а не на гражданские лица. У одного – толстого – на распаренный в бане вполне добродушный бабий лобок, а у другого – на серовато-унылый лобок моргового трупа, с увядшей уже волосней и завистливым ко всему живому выражением непонятно откуда взявшихся глазок.

Все же уходить в ООН было мне уже пора, да и вывели наконец душу мою из себя оба этих лобка. Они, видите ли, что-то тискали в соавторстве. Не выдержал я молчания и, проходя мимо, с небрежным презрением, то есть с тонкой подъебкой, замечаю: „Ну что, получеловеки, всё бумагу изводите?“ Тоже – ледяное молчание в ответ, словно сговорились все в этом городе воротить рыла от целого советского человека... Может, думаю, бойкот нам суровый наконец объявлен за подлости на международной арене? Самолеты сбиваем с хэмбургерами и хот-догами, в смысле с Макдональдами, а Эфиопию, наоборот, доводим до полной ленинградской блокады... Доигрались в светоч прогресса, равенства и братства... От ледяного молчания эмигрантишек – холод в душе. Но я продолжаю тонко подъяебывать. Демонстративно закуривают оба, глядят на меня в упор и как бы пытаются молчанием – распаренный, банный лобок и чахлый морговый... Просто изводят нахально... На Родине я уж давно врезал бы каждому кружкой пива промеж рог...»

«Вот и врезал бы, поддержал бы честь родимого хоккея», – перебил кто-то рассказчика. Тот после паузы рассудительно возразил: «Я бы, конечно, врезал и на чужбине, но экономически было это весьма невыгодно. Они, может, только того и ждали, чтоб получить кружкой промеж рог и подать сходу на меня в суд за моральный ущерб. И все – я в заднице. Международный скандал. Добрынин арестовывает мой ничтожный счет. Вышибают из партии. Лишают дипломатической неприкосновенности. И ОТГРУЖАЮТ, я подчеркиваю, не отправляют, а именно ОТГРУЖАЮТ на Родину. Хорошо еще, если в приличном гробу, что маловероятно, но скорей всего в урне, потому что прах советского человека гораздо экономичней перевозить с одного конца света на другой, чем его прибарахленное тело. Прах вообще можно перевозить бесплатно в дипбагаже или даже в дамской сумочке, раз уж на то пошло дело. Чего валюту на пустяки разбазаривать?.. Но как представил я, товарищи, что два эти лобка получают от нашей Родины компенсацию за получение пивной кружкой промеж рог и за циничные оскорбления личности, как представил, что получают они, ничего такого не совершив в жизни приличного и даже не в состоянии самостоятельно, в одиночку сочинять антисоветчину, и живут всю остальную жизнь на проценты с капитала, то скрипнул зубами, забывшись, и взвыл от боли в побитой скуле. Взвыл и молча, но выразительно вышел. Это я умею... Направляюсь для решительного объяснения с Трояновским. Прихожу в ООН. Там идет заседание. Снова почему-то обсуждают жалобу на Израиль. Буфет полон миллиардеров из нефтяного Арабистана. Они выходят из зала пить кока-колу, когда посол Израиля убедительно откалякивается от мирового антисемитизма. Подсаживаюсь в баре к какому-то шейху, который аж шуршит весь с ног до головы нефтедолларами. Наливаю ему в фужер пивка и говорю, что пора бы не драть за бензин с простого человека доброй воли столько же,

сколько дерете с адвокатов, зубных техников, продавцов очков и пиццы. Мы ведь в одном с вами антиссионистском лагере состоим защиты мира от Белого дома, господ... Шейх – ни слова. Очередное ледяное молчание. Говорить мне было ужасно больно из-за скулы, но я выступил, однако, с откровенностью постоянного члена Совета Безопасности... Молчание... И тут меня вдруг взорвало. Хлопаю еще дубла-скатчу, то есть дабла-скотча и – как ебну ни с того, ни с сего фужером по мраморной стойке и, пальцем водя перед носом шейха, говорю: „Я тебе тут, брюхо нефтью набитое, не делегат Израиля! Ты мне тут, сука, заговор молчания не устраивай в стенах ООН... тут тебе не сортир на Гран-Сентрал, понимаете... Хули ты молчишь, многоженец?“

Улыбнулся засранец, но молчит. Потягивать продолжает из соломинки напиток сытых. А я продолжаю бушевать, поскольку абсолютно уверен, что уж нефтяной шейх – не советский эмигрантишка и не станет выконючивать у делегации СССР в ООН какой-то несчастный миллион за моральный ущерб. Наоборот – я, чего уж теперь скрывать, как бы сам бессознательно напрашиваюсь, чтобы выдали мне по мордасам пару разочков, да с оттяжкой, да со смазкой сопатки снизу вверх и – в глаз с запеком синяка... Пусть держится до Большого жюри... Шейх и не станет ждать суда. Он вынет тебе наличными пару миллионов, а цену за баррель поднимет на один цент и – все в порядке, а я, отдав Родине положенные проценты, живу себе чин-чинарем и еще орден „дружба народов“ получаю за вклад в Госбанк валюты. А ведь за лишний миллион мы можем купить у американо-советского патриота всю „звездную войну“ и чертежи новых подводных гигантов...

Послушали меня шейхи с улыбочками, подобрали свои бабские затем подолы, надвинули на лбы черные шины от детских колясок и поспешили в зал, на гневную отповедь Трояновского делегату Израиля... Я же в баре закемарил, товарищи, потому что трудно и невыносимо

нам с вами годами находиться среди чуждых кругов Запада и Востока... Вывел меня из отдыха член делегации Болгарии, который шестеркой был у Трояновского с Добрыниным. „Шагом арш! САМ вызывает в постоянно-членскую... На цырлах!..“

Являюсь и хочу доложить о провокации в вокзальном сортире, но Трояновский высокомерно орет на меня: „Чем от вас пахнет в ООН?.. Вы что? В хлеву валялись?.. Покровителя своего поминаете?.. Вас уже ничто не спасет... Высылаетесь немедленно на родину!..“ До меня что-то не дошло сходу, что Леонид Ильич наконец скончался. Но я рад разговору с собою даже в таких резких административных формах. Кто из нас, скажите, не трепетал послушною душою при бешеных выговорах начальства? Ни-кто... То есть трепетали, трепещем и будем трепетать... Однако, потрепетав и насладившись русской речью, я логически возразил, что, во-первых, Родина – не ссылка, а во-вторых, я имею честь с самого утра находиться под юрисдикцией Генерального секретаря ООН и обслуживаю чаем с коктейлями постоянные жалобы на Израиль... у меня не такой иммунитет, как у вас, но и я могу просить защиты у флага Организации: в этом месте выразительно икаю... вот вам – семь долларов, найденные мною в кармане смокинга, то есть пиджака при весьма двусмысленных обстоятельствах... Еще что-то я там наговорил, а Трояновский все старался встать под вентиляцию, чтобы до его, видите ли, тонкого, постоянно-членского нюха не долетала сортирная вонища, в которой, согласитесь, товарищи, трудно было не вывозиться вдали от Родины... И тут дошло до меня вдруг, что Леня... отец родной... покровитель верных вассалов... Замечаю, что член Белоруссии вешает на портрет Леонида Ильича черные ленты, а член Украины чему-то злорадно ухмыляется, так и жаждет, чтобы вся Россия поскорей передохла от продовольственной программы, сволочь...

Стоит ли говорить, как я был вывезен из Нью-Йорка методами, давно отвергнутыми людьми порядочными? Не стоит. Тем более подходит наша очередь. Я был усыплен и тайно вывезен на Кубу, где пробыл две недели в братском тропическом дурдоме. Затем – Москва. Встреча с семьей. Крушение карьеры...

Я призываю протестовать, если эта мразь-приемщик вновь заставит вынимать пробки и счищать сургуч с горлышек плодово-ягодного. Хватит, товарищи. Ведь какие-то все же права должны у нас быть в природе?..»

Никто ничего не успел ответить рассказчику, хотя, например, у меня лично вопросов к нему накопилась целая куча с маленькой, как говорится, авоськой. Никто ни о чем не успел расспросить его, потому что совершенно неожиданно для нас всех, после громкого хлопка разом вспыхнули все подсобники приемного пункта, горы наполненных пустую посуду ящиков, готовая к приему бутылок тара и прочая бытовая мусорюга, только и ждущая какого-нибудь языка пламени, чтобы загореться наконец и перейти в иное, долгожданное состояние вещества...

Началось нечто невообразимое. Очередь, неведомым каким-то образом поняв, что ее больше не существует, превратилась в явление более не организованное и, соответственно, менее неприличное – в толпу. Ясно было, что жизнь людям дороже сдачи посуды, хотя сдается таковая именно для продолжения жизни, для предупреждения всеобщего к ней охлаждения. Приемный пункт весь был объят вонючим, угарным пламенем и дымом, отдающим керосином с бензином, спиртовым и сивушным осадком, а также сладковатой бормотью разогретых портвешков, вкупе с хлебным, баннным запашком вскипевшего в трескающихся бутылках пивка... Толпа замороженно следила за животной панической вознею, которая происходила на подвальной лестнице. Самые первые, даже из тех, кто успели уже сдать свою надежду приемщику, безумно стремились стать

последними. Из подвального помещения, из жуткого зияния его доносились до нас вопли старающихся выбраться на улицу быстрее ближнего, доносился рык какой-то, хрипы, бабий визг, лязг давимой посуды, может быть, режущей уже ноги, упавшие тела и лица всех поверженных наземь, всех бесчеловечно подмятых более сильными и обезумевшими паникерами. Паникерами потому, что огонь и не проник бы, очевидно, в подвал с улицы, хотя...

Мелькнувшую в мозгу моем догадку утвердил Паша, шепнувший мне следующее: «Шоферишка поджег... он тут мельтешил, пока мы внимали сдуру выездному... явно все полито бензином... месть за свистнутые саночки с посудой... Убедись лишний раз, что насильственные методы – бред собачий и удар по невинным людям... Что нам теперь делать? Новую очередь выстаивать? Новый пункт искать?»

Пожалуй, только мы с Пашей были удручены в ту минуту внезапными унылыми обстоятельствами этого злосчастного утра и возвращением нашим в отвратину безнадежного социального уныния. Впрочем, возможно, это всего лишь казалось, что только мы с Пашей пребываем в очеловеченном, как бы то ни было, состоянии, тогда как со стороны все мы могли бы произвести на постороннего наблюдателя впечатление странного многоликого животного, опьяневшего, одуревшего от пламени, клубов дыма и утробного рычания всех, рвавшихся на выход из подвала, – животного, которое не покинуло еще счастливое удивление, что оно – животное – не там, в каше смятения, кровищи, взаимного подминания и острой, битой посуды, а здесь – на постылом, на тоскливом и унылом, но безопасном холоде поверхности земли.

Все, вырывавшиеся из подвала пункта, не оставались во дворе, не присоединялись, не прилипали к толпе везунчиков-соглядатаев, но с выпученными от пережитого глазами, со ртами, искривленными гримасою ры-

дания и обоих видов удушья – кислородного и душевного, – скрывались куда-то прочь.

Ни один человек из стоявших в толпе даже и не подумал броситься на помощь к находившимся еще в подвале, даже и виду не подал притворного, что случается иногда в людском общежитии. «Вот, мол, я готов, всегда-пожалуйста, протянуть руку гибнущему, но технически не могу этого сделать, все подходы отрезаны, кое-кого следует судить за нарушение правил протипопожарной безопасности...»

Молчание нашей животной толпы нарушил невыездной рассказчик. Он сказал, что наблюдал однажды в Штатах за пожаром в диско-клубе. Диско-клуб объят был наполовину пламенем, а люди продолжали танцевать, поскольку неодушевленная запись громоподобной бурды прокручивалась себе и прокручивалась. Ничего не зная о пожаре, танцующие, соответственно, выламывались и топтались, будучи полностью как бы оглушены скрежетом звуков и, возможно, так бы и занялись пламечком с ног до головы, если бы кто-то не вырубил света и грохота. После этого мгновенно началось хаотическое спасение жизней и эксцессы почище данного безобразия. Рассказчик добавил, что лично Добрынин лишил его за хождение в диско-клуб дипломатического иммунитета на две недели условно. «Донос Петрович сутки у нас работает, а двое суток стучит», – добавил он со знанием дела.

Тут же взвыла наконец сирена пожарной команды. Нас разогнали брандспойтами и чистенькими, протертыми машинным маслом топориками. Пожар ничего не стоило притушить. Многие сразу бросились вытаскивать из бесформенной груды тары чудом уцелевшую закопченную винную посуду.

Кто-то из пожарных, безусловно обученных воздействовать водой на всегда готовые к беспорядкам людские толпы, направил струю в подвал. Оттуда начали выскакивать несколько побыстрей, чем раньше,

вымоченные, стучащие зубами, но воодушевленные спасением бедолаги. Холодина пожарной воды, между прочим, мгновенно выводила очумелых граждан из шока и даже сообщала им чувство некоторой бесшабашной веселости, происходящей в таких вот случаях, как мне кажется, от вечного духа сопричастности человеческой души к победе доброй водной стихии над зловредною огненной. Ясно было, что всем им начхать на посуду, погибшую в подвале, и чуялось, что многие готовы сейчас на нечто героическое и даже преступное для отпразднования спасения от огня и растаптывания...

Еще через какое-то время прибыла «скорая помощь». Из подвала начали вытаскивать поломанных и порезанных битой посудой несчастных. Вид их был ужасен. Каждый, проходя к карете или же лежа на носилках, сокрушенно повторял: «Это – не люди... не люди... не люди», – как бы давая понять, что и сам он, если бы не ушибы и раны, не имел бы права быть причисленным к человеческому роду...

После «скорой» примчалась милиция – ОБХСС. Главный среди сотрудников цинично и громко произнес: «Все же ушел Кадыков от ревизии. Смудрил сволочь... Всем разойтись. Свидетелям поджога – остаться на месте для снятия показаний...»

К счастью, смертельных жертв в тот день оказалось мало. Сотрудники и санитары вытащили из подвала всего двух бездыханных человек. Одним из них был приемщик Кадыков – человек редчайше говнистого нрава с явно садистическими наклонностями, которого давно уже следовало как-либо уморить, не дожидаясь стихийного случая, за все его измывательства и изгиляния над бесправными людьми, сдающими стеклотару.

Когда вынесли второго погибшего, толпа зашумела: «Ленин... Ленина уделало... Ленин загнулся...»

Мы подошли к телу того, кого все именовали Лениным. Подошли, но тут же были отогнаны Главным. Однако я успел рассмотреть лицо погибшего. Это был

Картавый. Внешнего сходства у него с Лениным было не больше, чем у Ленина с Чарльзом Дарвиным, чтобы не сказать с Марксом. Как он попал в самую гущу давки, когда стоял в очереди позади нас с Пашей, останется загадкой новейшей советской истории.

Дружок его, с фингалом под глазом, выдаваемым за отечный мешок в подглазье, как в воду канул. Скорей всего оба они пробрались в подвал без очереди, чтобы как-то расправиться с саночками того оскорбленного мужичишки и с его посудой, после чего он и пустил, мерзавец, «петуха»...

Месь, подумал я, не может быть вполне благородной, если под разящее ее копьё попадают посторонние и оказываются вдруг, как мы с моим другом Пашей, в пустыне общественной жизни, с глазу на глаз с равнодушным к чаяниям граждан государством.

Мы поспешили удалиться, проклиная гору вчерашней посуды, поразительную редкость и несовершенство работы приемных пунктов, а также глубоко въевшийся в уши, в мозг, во все поры наших существ мелкопакостный звон пустой стеклянной дряни. Поспешили удалиться потому еще, что Главный приказал своим ментам замести по мелкому хулиганству, переходящему с похмелья в антисоветскую агитацию, всех тех, которые называли Лениным опустившегося до жалкой гибели алкаша. Он также приказал обшамонать оставшихся на предмет обнаружения всей пропавшей кассы с деньгами растоптанного Кадыкова. Кассу, как мы поняли, кто-то успел стырить...

Покидая место брани, иначе его и не назовешь, обратил я внимание на выражение лица бывшего выездного. Лицо его было каким-то остолбенело задумчивым от всего только что происшедшего и от неостывшего еще воспоминания о драме пребывания вдали от Родины. Кроме того, была в лице его явная и почти невыносимая ненависть к самому себе, которая появляется в человеке при окончательном нежелании про-

щения какой-либо существенной, судьбоносной ошибки своей отвратительной личности.

Все же в человеке этом, к несчастью своему, взглянувшем однажды на родные исторические пространства с противоположной части Земли, трепетала еще каким-то образом жизнь, а следовательно, и горячая надежда пристроить в ином немыслимом пункте всю эту, оттянувшую сердце, пустую посуду. Он начал уже движение к нему...

Надрываясь под тяжестью четырех баулов с бутылками, мы потащились к знакомой продавщице, чтобы сдать ей их все к чёртовой матери хотя бы за полцены вместе с баулами и кожей измозоленных ладоней...

Тащились и всю дорогу болезненно молчали. Мой друг Паша так же, как я, с инфантильным самозабвением представлял себя на месте человека, не потерявшего голову в панический момент народного бедствия, но моментально разобравшегося в рискованной обстановке, перехватившего каким-то героическим, разбойным образом все денежки то ли из кассы, то ли уже из кармана обезумевшего Кадыкова, затем достойно отстранившегося от ужасной каши тел, а теперь вот, безусловно, подходящего уже к шашлычной, подходящего к ней с алчущим аппетитом жизни, с гордым трепетом всех душевных и телесных сил, с укором к себе за преждевременное утреннее отчаянье, с верою в конечную добропорядочность капризной Судьбы и с возрожденным, быть может, навсегда в воспрянувшем сердце чувством восторженного удивления перед таинственным поведением счастливого случая... Сейчас вот он сядет за свежий столик, с чистейшим вдохновением взглянет в знакомое до слез меню, передавая зачуханным его листочкам последнюю дрожь похмельных конечностей, поразит мизантропскую фигуру официантки неслыханно солидным заказом и небрежно авансированными чаевыми, через пару минут уймет рюмашкой коньячку сердечный стук, а заодно и непослушность

разлаженных пальчиков, уймет для пушей надежности и – сходу – еще разок, многотрудно крякнет, помянет про себя нелепо погибшего Ленина, ухмыльнется при этом во всю свою жизнерадостную рожу и примется, в ожидании шашлычка, за сациви из цыплят, смачно шибяющее в носоглотку запашком кавказских провинций нашей необъятной, но непостижимо бездарной Империи.

1985

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

ФРАНКФУРТ/МАЙН, ЯНВАРЬ 85

1. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Давайте-ка не будем
По-эмигрантски выть.
В потоке блеклых буден
Не так уж плохо плыть.
Вот полночь коротаю
С вином наедине.
И тишина, не тая,
Густеет при луне.
Соседи спят в постелях,
А снег, само собой,
На крышах и на елях,
Как в детстве, голубой.
Я отбываю в небыль,
Я забываю всех.
А в небе, в зимнем небе
Луна, как желтый грех.
А я в потоке буден
Совсем дотлел дотла.
И ничего не будет:
Ни худа. Ни добра.

10. I.

2. ОЖИДАНИЕ

Не занесли меня метели,
А занесло меня сюда.
Живу – а если в самом деле,
То жду я Страшного Суда.

Ах, что случилось? Что приснилось?
В какую канул темноту?
И мне теперь на Божью милость
Рассчитывать не вмоготу.

10. I.

3. СЕВЕРОВОСТОК

Дует ветер с Северовостока,
Ветер из Ухты и Воркуты.
Обнажает мир до наготы
Русский ветер, резкий и жестокий.

Не змее бы грезить о зиме.
И не мне бы бредить о России.
Мы и башмаков не износили,
Ковыляя по чужой земле.

Хлещет ветер, тучи точно туши,
Горький запах западной зимы.
Башмаков не износили мы...
Только – изнасиловали души.

Здесь – итог. А где-то там – исток.
Я и там не сделаюсь моложе.
Ну, а всё же... Как сказал Волошин?
Мне бы в путь... На Северовосток.

10. I.

4. НЕ УЙДУ

В небе месяц – как медный рожок.
Снизу город рекламы зажег.

Зимний город в огнях и снегу.
Я покинуть его не смогу.

Не уйду я в нагие поля.
Не нырну в глубину февраля.
И в пустые леса не пойду.
И дороги другой не найду.
Костенеет зима, как река.
Медный месяц боднул облака.
И чудно мне в полуночной мгле,
Что живу на планете Земле.

12. I

5. НА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ

На тысячу верст, на тысячу миль
Вокруг меня – черно-серый мир.
Ни солнца в нем, ни луны, ни звезд.
На тысячу миль. На тысячу верст.

23. I.

6. ЗА ЖЕЛТЫЙ ГРЕХ

Был закат для всех
Поднебесных стран.
Он желтел, как грех,
Он краснел, как срам,
Между черных крыш
Забивая клин.
И галдел Париж.
И глазел Берлин.
А за желтый грех,
А за красный срам
Я – один за всех! –
Рассчитаюсь сам.

23. I.

7. АНТИЛУННЫЕ СТИХИ

Луна – ну и что же? Уйду от Луны.
Зеленая рожа, рога сатаны.

Серпом по-советски блистает с высот.
И пахнет мертвецкой. И тленом несет.

А я бы по роже ее кирпичом!
Мол, бросить не может она нипочем

Меж звездною пылью с начала начал
Повадку упырью блуждать по ночам...

Ай сводня, ай сваха, кубышка греха!
И рожа – как плаха: плоска и плоха.

Ведь ведьма, ведунья, ведь кузькина мать!
И как в полнолуние такую унять?

С каким бы азартом ее, сатану,
Я б ядерным залпом вовсю саданул!

Поганая рожа, татарские сны...
Ах, Господи Боже! Куда ж – от Луны?

24. I.

8. КАК БЫ ШУТОЧНОЕ

Житель всех времен и стран,
Был я жаждой обуян
Стать холодным и нейтральным,
Как полярный океан.

Только это не сбылось,
Это мне не удалось!
Потому и сел, как на кол,
На земную нашу ось.

27. I.

9. ЧЕРНОТА

Какие, к дьяволу, права?
Вот город, черный, как провал.
Должно быть, по-медвежьи спит.
А может, с панталыку сбит.
Черным-черно. Черным-черно.
Лишь в небе – звездное зерно.
И – сикось-накось. Вкривь и вкось.
Скрипит во тьме земная ось.

29. I.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
или
ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ
Избранные места

Письмо первое

Сударыня! быть может – сударь, но в сердце что-то подсказывает – сударыня!

Намедни вечером одинокий, обледенелый и сломленный душевно внутренне, без путеводной звезды, без друга-проводника, без опоры-покровителя, как перст, как анчар или саксаул, держал путь от трамвайной остановки к мансарде слякотным тротуаром – сволочи-дворники посыпят по утру солью и отправляются да – на боковую, да – чай гонять, а почтенные граждане скользят и садятся в грязь, – вдруг в снегу, что сугробом на газоне в кучу собран, однако не вывезен, увидел краешек голубого конверта.

Посиневшими, скрюченными от минус двадцати пальцами – мороз ныне ударяет такой, что ни под какой подмышкой не отогреешь – ухватил я оный предмет. Как он размок! Но адрес все-таки, стараючись, немалые приложив усилия, разобрал..! И тут надежда, что питает, цитирую, юношей, а я – юноша в самом соку молодческих лет, хорош собой, начитан и развит, пробудилась во мне: кто ведает – не Всевышний ли благосклонно посылает мне отправление сие?!

Если Вы – госпожа, может пригреете меня, в круг друзей своих введете, а там, вдруг! найду себе покровителя. Себе, и скрытым во мне талантам, и уму моему –

ведь я и впрямь не глуп, далеко неглуп, только беден чрезмерно, – а там, глядишь, найду свою судьбу в одной из Ваших состоятельных или обеспеченных подруг или, чем Асмодеи не шутят, Вы, да – Вы сама, очаруетесь мной и составите мне наше счастье... Вот куда занесли меня, перехватив дыхание, мечты.

Но, коль Вы – господин, то и то весть, как нестрашно. Вы можете стать покровителем, и старшим другом, и нежным руководителем. Когда Вы – госпожа пожилая, то есть в почтенном возрасте, будьте мне матерью, а – солидный господин – отцом родным...

Впрочем, понимаю, догадываюсь: Вы незнакомы со мной, кто зовет в дом чужого и так вот, сразу, привлекает (пригревает, приголубливает, опекает) и протезирует? Даже женщина, потомок Евы, простолюдинка она, или – графиня, или – даже супружница начальника секретного Департамента, находится в интересном положении девять целых месяцев, а ведь грядущий ребенок – ее родной, в чем нет места сомнениям (один лишь только отец ребенка может сомневаться, он ли он), а тут чужой человек, прямо скажем – с улицы; не с мостовой, допустим, не из подворотни – с тротуара, но однако. Нянька моя, мудрая женщина – царство ей Небесное, память ей вечная и благодарность моя до гробу – говаривала в простоте душевной: «Чтоб человека узнать, прежде-то надоть аж пуд соли съесть с им» (каллиграфию сохраняю без изменения, за что прошу великодушного прощения). И права была, ей-Богу, права! Правило сие через жизнь мою так красной нитью и проходит. Да ведь не с каждым сядешь и пуд соли есть. Нет, не с каждым.

И вот, все прекрасно понимая, осознавая, принимая, убедительно прошу: не выбрасывайте писульку мою на помойку, не спешите! Ответьте мне! Может, одним ответом Вашим человека спасете. А будет мне ответ Ваш – Лучом Света в Темном Царстве. Посредством писем Вы сможете узнать меня, мою душу, мой

пульс... «Умом Россию – поется – не понять – Большое видится на расстоянии».

Или, перефразируя слова другого поэта: «Вы – диспетчер света».

Мы бы могли обсудить с Вами проблемы или номера новейших журналов. Вот, к примеру, листали ли Вы последнюю книгу г-на Успенского? Или г-на Зиновьева? Как они кажутся Вам? Не слишком ли данные господа снисходительны к евреям? Не пришла ли пора нашим братьям-евреям покинуть пределы Земли нашей? Оставить наши пенаты? Известные своей необъятностью и широтой и гостеприимством, но доколе?! Погостевали и – пожалуйста в свои палестины. Впрочем, а вдруг Вы сами – еврейка, или, соответственно, еврей? Так это ничего. Я лично к евреям зла не питаю и отношусь снисходительно. Между тем, они могли бы приложить старания, чтобы внешне не отличаться. Как минимум.

Еще хорошо бы поговорить о театре. Театральные новости. Театральный подъезд. Театральный разъезд. «Порвалась связь времен». «Свет погас. Я вышел на подмостки». А были ли Вы на Мочалове в роли разбойника? Особенно хорош в сцене с шалашом! А топорик, вбитый в чурбак? Художественно точно, и символ, и цитата. Непосредственная реакция зала. Рукоплескания! Аплодисменты! Овации! Бурные. Несмолкаемые. Ради всех Святых, не возомните, что я революционер какой-нибудь. Мне бы только из бедности выбраться, куда был опущен судьбою, избравшей мне родителей честных, исполнительных и трудолюбивых, но больно бедных.

А Сумбатов-Южин? Сумбатов-Южин!

Еще раз низко прошу простить мне мою легкую навязчивость – не судите строго. И лишь об одном умоляю, припав губами к голубому конверту и преломив колено: ответьте! А там... Ах, голова кругом идет!

(«Ах, как кружится голова, как голова кружится!») Счастье-то какое! Неужто кончится мое одиночество?

За сим примите мои извинения и уверения. С почтением, примите оброненное Вами письмо с моим совокупно.

Ваш, искренне Ваш, Анкундин Сахаров.

Р. С. Страшная мысль пронзила внезапно мой светлый мозг: «А вдруг как Вы да не ответите!!...!!!

А. Ш.

Письмо четвертое

Сударыня! Не успел ознакомиться с посланием Вашим, как сей же час – где перо, где бумага, где промокашка (как люблю я их! – эти волшебные лоскутки розовой бумаги – приложил, прогладил ладонью, убрал, и – буквы замерли, приняли строгую форму, прекрасны замершие завитушки, ибо уже писал Вам в цидулке моей за номером 3: я – человек, любящий порядок во всем, поклонник строгости и аккуратности пророк – вот, стихами заговорил) – помните, как гениально сказал один поэт: «и руки тянутся к перу, перо – к бумаге»? Истинно так.

Вы спрашиваете, чем я вообще живу, чем занимаюсь? Поведаю. Нам скрывать или конфузиться не к чему. Числюсь за одной из многочисленных в нашей Империи контор, где службу исполняю, пусть и не великую, но важную, ибо понимать требуется, как ежели бы крупные чины вдруг да лишились нас, людей маленьких и вроде бы незначительных, то погрязли бы (утонули бы) в бескрайнем море-окияне сводок, отчетов, тофесов и докладных. А теперь прикиньте в уме: ежели мы решаем, какие бумаги положить начальству на стол, какие – под сукно, какие – в долгий ящик, то это мы непосредственно, хоть и неявно, решаем политику.

Наша Контора среди прочих других остальных ничем таким особым существенно не отличается, так –

винтик в государственной машине аппарата. Для обеспечения граждан правами и обязанностями должна работать исправно и бесперебойно, налаженно и слаженно. Естественно, о нас не пишут, не говорят, наших фамилий вы не знаете, но когда поразмыслить, есть среди нас свои Ангелиновы, Гагановы и Никулины, или – как сказал другой популярный поэт – тысячи тонн словесной руды. Известно, что писательский народ изображает нас такими-этакими Акакиями, Деушкиными, Мечиками, но ведь и в нас бьются высокие чувства, ведь и нами подчас овладевают высокие стремления, нам доступны вершины мечтаний, дерзость снов, любовь, благодарность. Поэзия, в конце концов, подчас охватывает нас, и сердце бьется в упоении. Да! Легко и красиво презирать и отказываться от нашего труда, но ведь и его кому-то вершить надо. И мы взяли на себя.

И еще намотайте себе на ус (не про Вас будет сказано – это я увлекаюсь) благородные господа, как правильно оценить то или иное поступившее сообщение, когда – не в курсе политических событий, не листали новейших сочинений отечественных сочинителей? Совсем напротив, начальство наше настоятельно рекомендует своим служащим посещать театры, вернисажи, присутственные места и даже различные митинги и собрания. А ведомо ли Вам, любезная моему сердцу госпожа, что и многие из поэтического Олимпа тоже служат? И служат не с меньшим прилежанием и старанием, чем Ваш покорный слуга. Служить бы рад – помните?

Нас воспой, О! Муза, нас!

Простите – опять сорвался. Наговорил невесть чего, да и том ли следует писать прекрасной незнакомке, однако накопилось, наболело, вот и накатило!

Затем остаюсь с глубоким почтением – Анкундин.

Р. S. Счастлив был узнать, что Вы почти моя ровесница, но хотя я незначительно превзошел Вас в годах, Вы превосходите меня по воспитанию и поло-

жению. Странное совпадение стечений обстоятельств. Уж не судьба ли звонит в колокольчик? А?

А.

Письмо седьмое

***! Сладкой обязанностью наполнен мой каждый день. Поутру, лишь плесну водицы в лицо, бегу вниз к почтовому ящику – нет ли весточки от моей корреспондентки? На работе томлюсь ожиданием – не ждет ли меня дома письмецо в конверте. В обед все выглядываю в окно – не идет ли мой славный Гименей с медной бляхой и толстой сумкой на ремне. И, отходя ко сну, в томлении предаюсь мечтам, об утре, которое мне, быть может, доставит весточку от ***!

Вы задали мне вопрос, я Вам отвечаю. Я доверяю это Вам, и только Вам. Ни одна живая душа ни слухом, ни духом и ведать не должна о том, что ниже поведаю Вам. Умоляю, заклинаю, падаю на колени, но почему-то чувствую себя вынужденным поведать Вам одну-другую кровавую мысль.

Существует версия: правительство наше – арена борьбы двух различных отделов германской разведки? Господа Зубатов, Бронштейн, Растрин, Столыпин, Иегуда, Скобелев, Юпатов и прочие, чьи грузинские, польские, дворянские и еврейские имена промелькнули в последние дни на страницах наших газет в первых заголовках, суть немецкие агенты или игрушки в их руках. Мне неизвестно доподлинно – так ли это, однако, наблюдая нашу Империю изнутри, чуть ли не с самого дна ее бездонного сосуда, мы видим и чувствуем: не все далеко так уж ладно в нашем, недатском, королевстве.

И поверьте, когда придут, когда грянут изменения, когда разразится очистительная гроза, то грядет она отсюда, снизу, из наших контор, наших департаментов. Присяжные поверенные, статские советники встанут у кормила и не двадцатью хлебцами накормят наш много-

страдальный народ, а равно и справедливо распределят между достойными гражданами, способными оправдать справедливость, проявленную по отношению к ним, самостоятельным ответственным трудом на благо своей Родины. Вот.

Начальство наше поддержит нас. Поддержит и возглавит. Ведь они – это мы, прошедшие по всем ступеням школы работы, служения, исполнительности и ответственности.

Сие не есть заговор, а назревшая необходимость, которую не осознают только наиболее закоснелые круги. А если это и заговор, то – заговор, зародившийся и сложившийся (сформировавшийся) в самых недрах верхов правительства, откуда, собственно говоря, и осуществляется непосредственное и тайное руководство всеми революционными организациями.

Именно мы, суконные рядна, кувшинные рыла, а не салонные мечтатели, глумливые интеллигенты или чахоточные писатели, спасем Отечество. И – не народные мстители. Так.

Вы, верно, напугаетесь, придете в обморок, от моих откровений, сожжете их или отнесете дворнику. Бог – Вам судья. Но знайте – пусть я беден, пусть одинок, но бьются во мне и трепещут чувства великие. Великие, как воды дней нашей жизни.

Рукой дрожащей запечатываю послание мое сие. Нет, не суда, не доноса боюсь. Боюсь, что напугал Вас. Что не ответите мне. И опять я останусь один-одинешенек, как Александр Великий Македонский перед битвой под Киликией, в каком состоянии пребывал после смерти моей добродетельной матушки, чьими стараниями и хлопотами удалось мне заполучить эту небольшую службу, а уж затем начальство обратило свое доброкачественное внимание на мою старательность и образованность, которая и Вам наверное бросилась в прекрасные очи, ведь я легкостью необычайной обращаюсь к стихам величайших из классиков и сиюдневных поэтов

и мою жажду служить, продвинуло меня на нынешний пост, минуя ряд классов. Провенциум рици!

Но не службу боюсь потерять. А Вас, дружбу Вашу, благосклонность и покровительство Ваше.

И еще напишите мне, ходите ли Вы в церковь, к заутреней, и, если ходите, то в какую? Вот ведь место, где мы могли бы встретиться, не обращая внимания на себя любопытных взоров. С каким восторгом я молился бы рядом с Вами.

А большего мне и не надо.

Ваш верный Анкундин.

Письмо десятое

С величайшим праздником Вас, именины сердца моего! Усыпая ли вечером, погружаясь в мир сладостных нег и грез, пробуждаясь ли утром, благословляя поднявшееся солнышко, готовое светить нам до самых вечерних часов, я ту же секунду вспоминаю о Вас, любезная моя сударыня, госпожа моя – я емь Ваш верный рыцарь, Ваш паж, Ваш Квентин Дорвард, Ваш княгиня Волконская, готовый следовать за Вами, хоть на край света, хоть в Виллюйск, хоть в Париж, к басурманам, не знающим ни слова из нашего великого и могучего языка, сочетающего крепость германского с нежностью чухонского. А ведомо ли им вообще, что неслучайно именно на нашем реченьи осуществлен самый боговдохновенный стих Книги Книг, перед которым даже иудейские источники бледнеют немочью. Известно: сами древнееврейские тексты есть суть несохранившиеся переложения с нашего древнего языка.

Мы с Вами говорили о Боге. Кто он – Бог? Каков он – Бог? В Калуге, кажется, два философа и один поэт возвели Новый Храм. Они там танцуют и читают поэмы. Если таково служение Ему, то что с нами, с нашей Конторой, с землекопом, землепашцем, градостроите-

лем? В детстве, о – детство, я мечтал об астроблябии, смотреть и думать.

Вчера при обстоятельствах особых и необычных, имел я беседу с одним весьма опасным человеком. Ведомо ли Вам, что утверждал он, развернув историческую картину в перспективе?! Он утверждал, что хитрованные жидовины не силой, не умом, а токмо лишь хитростью своей безразмерной опутали нас и весь мир своими библейскими штучками. Где славные норманны, где бесстрашные готты, где славяне, покорявшие половину мира? – все исчезли в воронке мутного потока христианских учений. Выпита их кровь, опутаны их ноги, дрожат руки. Все служат Момоне. Не подумайте, ради, ради, ради Николая-Угодника, что я разделяю мысли непотребные его. Однако, согласитесь – столь абсурдные, на первый, непредубежденный, взгляд мысли имеют под собой мысли особые. Простой земледелец, наблюдающий жизнь не из окна кареты, не отказался от старых наших верований, хотя и посещает церковь исправно. А сколько в нем простоты и мудрости, сколько в нем истинного понимания жизни, природы, самой сути человеческой жизни! Поверьте – наши древние религии были не менее велики и замечательны, чем всякие прославленные Веды, усердно изучаемые знатоками, не ведающими о богатстве, хранищемся под самыми их профессорскими пенсне.

Но не о том речь: вчера возвернувшись с нашего с Вами свидания – такой полет охватил меня, такой восторг, что стены обиталища моего показались мне еще более тесными, чем всегда – размечтавшись, я упал на софу и, уткнувшись в подушку, повторял нежнейшее имя Ваше и отчество Ваше. Здесь негромкий, но властный стук в дверь прервал мои стеснения. Хозяйка пришла с известием: некий чин изволил навестить скромную хижину мою. Чин, указанный, оставил визитку, из которой я понял, что он желает и намеривается беседовать со мной о Вас! Я немедленно телефонировал ему.

Однако, к вящей радости моей, его никак не интересовало знакомство наше. Совсем напротив – он одобряет, отзывается о Вас, как о исключительно честной женщине и патриотке, известной своими верноподданническими чувствами. И, тогда, я понял, какому доверию облачен Вами, какому доверию Вам обязан: кто в мире, кроме меня, знает о Ваших истинных взглядах, чувствах, о буре, кипящей в сердце Вашем!

Но верьте – я не предам Вас! Я – Ваша каменная стена. Пусть и не разделяю взглядов Ваших, но ведь и в моем правоверном сердце живет стремление к справедливости (о! как замирает оно, когда представляет себе граждан, охваченных единым порывом труда, когда рисует себе общие отдыхи и общие праздники, и все оприходовано, приведено в порядок, все расписано по календарям, все представлено в циркулярах; тлеющее превращается во всепоглащающее, и готов уже представить прожекты свои по инстанциям начальству) и – разве могу я предать тот вечер, когда стоя на берегу канала и, Вы, глядячи на меня, декламировали о буре-вестнике – над седой равниной моря ветер тучи собирает – и пели вдвоем – я другой страны такой не знаю, где так вольно дышит человек! Ничто, ни один приказ не вырвет из уст свидетельств об этих, сокровенных минутах нашей жизни!

А! просматривали ли сегодняшнюю газету? Как Вам нравится наш Булгарин, попросивший в Бенилюксе политического убежища? Причуды жизни. Оппозиционеры посещают приемы и ведут дискуссии с властью придерживающимися. Александр Герценович приглашен в столицу, для вручения премии Мира. А Булгарин бежит за рубеж с романами за пазухой. А в чем-то смелость их, романов этих? Мы по службе были ознакомлены с писаниями Пшебышевских и Арцыбашевых, других имен не пропишу дабы не оскорблять Вашего глаза. И в том, что там написано, – и есть сопротивление?! И второе – когда видишь, что в родном тебе государстве что-либо

неладно, имей смелость остаться и бороться с недостатками, хотя бы с отдельно взятыми. А иначе – предатель ты! Запад-то и так рад любой хуле, положенной на нас. И понятно почему – во всем мы их обогнали, загнули им салазки. Вот к примеру: писалось, что лампочка суть изобретение западное, а новейшие археологические розыскания опровергнули данную версию: еще 500 – 700 лет тому назад наши предки опускали горящую лучину в бычий пузырь. Не хватало только электричества, одна-ко... Я и чертеж в руках держивал.

Один из тех романов, кстати, повествует о половых сношениях между солдатами Западного и Восточного фронта. Автор-то не знает Истории. Слышал звон. Указанные сношения имели место, а потому имели, что побеждаемый враг в середине войны был вынужден против наших славных бойцов выставить женщин и детей. А женщины любой страны готовы сдаться для милости победителя-славянина без репараций и контрибуций. И аннексий. Вспомните записки казака П. о посещении города Парижа по поражению Бонапарта! Сведущий человек уверял меня, что после многочисленных побед наших все народы суть славяне, и убедительно показал сие на цифрах, прибегая не более как к сложению, умножению и геометрической прогрессии. Таким образом: все конфликты – не вражды народов, а – проблема отцов и детей. Задача наша (задача отцов) объединить все народы под свое отеческое покровительство.

Что-то расписался я сегодня, да и темы выбрал престранные, но с кем как не с Вами мне делиться?

Вот и всё, разлюбезная сердцу моему, душа моя, полет души и нежной страсти. Спокойной ночи.

Твой А. Угадайте кто!

Письмо тринадцатое

Милая моя! Мы поругались вчера напрасно. Неужели какие-то картинки с выставок важнее наших

отношений? Да, и меня покорило, когда конями топтали то, что Вы называли искусством, но... Вы уже слышали, что понимаю под словом «искусство» я.

Приобретите, когда Вас не затруднит, последний номер газеты. Оказывается: топтание полотен копытами коней есть акт художественный, современный запланированный. Содержание картин, техника исполнения специально отбирались к потоптанию. Однако я не торжествую. Неужто есть вещи способные нас разлучить?!

К тебе сквозь туманы, леса и поляны летит мой конверт голубой. Летит мой листочек, родной голубочек, в тот дом, где расстались с тобой. Слова Владимира Замятина, музыка Юрия Милютин.

Анкундин Сахаров, по-прежнему Ваш, с надеждой и ...

Письмо семнадцатое

Любимая, кажется, после того объяснения, которое имело вчера вечером между нами, я вправе называть Вас так. Любимая моя, моя единственная. Казалось бы, еще вчера или позавчера, когда одинокий и бедный возвращался домой со службы в свою конуру, свое нерадостное убежище, где пропадал в полной растерянности перед окияном мыслей, сомнений и мечтаний, нашел голубое письмо, а сегодня – я один из самых счастливых людей на земле – я любим прекрасной, обеспеченной, и образованной дамой. Я просидел весь вечер перед зеркалом, пытаюсь понять, что Вы нашли во мне. Не говорит ли в Вас сострадание? Жалость к несчастному? О, нет! – воскликнул я – я достоин любви, я всегда знал, всегда верил: ждет и меня прекрасное, ждет и меня незнакомка, что примеряя по вечерам шляпу с перьями, что проходя между шумными столами ресторанов, она выглядывает меня, и шепчет: «Где ты, мой принц, мой Арлекин, мой Пьеро? И вот он-я, пожалуйста, сохранивший

себя для Вас в чистоте помыслов, тела и взглядов на жизнь.

Вы открыли мне глаза на многое, еще вчера я был готов, как Исаак Ньютон ждать милости от падающего яблока, а сегодня уже готов их взять сам, скрещивая и селекционируя новые неведомые виды жизни и общественного устройства. Я – Ваш, берите меня, и не ошибетесь. В огонь, воды, медные трубы, с корабля на бал с сумой и без – я готов следовать за Вами, куда и как прикажете. «Любовь-кольцо», дорогая.

Помните ли Вы тот вечер, когда мы возвращались с бала от графини Ланской? Я все напевал – истопи ты мне баньку по-белому – когда Вы обратили мое внимание на пьяненького, спавшего в придорожной канаве и лишь чудом не попавшего под колеса проезжавшего транспорта, которого становится слишком много (наше вмешательство в дела природы поистинне могут нанести нам самим непоправимый ответный удар), так вот: в тот вечер Вы сказали: «Дорогой, ты поешь песню, которая, возможно, наиболее ярко выражает чувства и чаянья нашего народа, но, как это не парадоксально, именно ему, она продолжает оставаться неизвестной». Тут вмешался наш кучер. Если Вы обратили внимание, за последние годы воспитание в нашем многострадальном государстве упало и каждый кучер, забывая о своем шестке, вмешивается в разговор? «Уж не думаете ли вы, – сказал он, – что если каждого научить читать, то он самого господина Пушкина поймет?» – «Именно так я и думаю», – успешно возражали Вы. «Вот уж чего не думаю, – отвечал дворник, то есть кучер, – я с отличиями закончил три университета, однако общение с лошадьми дало мне больше, чем стихи и Пушкина, и Гоголя вместе взятых». – «Это скорее говорит о вас. А я уверена, что пробудись, как этот пьяница, наш народ, он не только Пушкина, но и Гегеля поймет не по учебникам, а впрочем, как это вам удалось с таким количеством дипломов устроиться кучером, ведь, какое ни на

есть, а государство вложило в вас силы и средства не для того, чтобы со своими дипломами стегали кнутом несчастных животных?» – «Не стегать, так вас и не повезут, а ведь вам желаемо все ж-таки доехать до дому, а не на одиннадцатом номере добираться. А работаю я кучером, ибо нахожусь на распутьи: с одной стороны, с таким образованием да на такой работе, можно хорошую карьеру сделать в одном известном ведомстве; с другой стороны – может станется, уеду я ко всем чертям на вольные хлеба, а с такой работы и разрешение легче вытребовать».

К чему вспомнил я тот разговор? Не к тому, что и наш лифтер, и хозяйка моя, выдра, – простите за грубое слово о женском поле, и, как известно мне стало, швейцар в учреждении нашем – все в две стороны смотрят, то ли доносить продолжать, то ли в революционеры податься, а к тому, что и я сам на распутьи после всех бесед наших, песен и поэм, кажется иногда мне, что, дай мне сейчас паспорт на руки или пушку, уже никто никогда не свернет меня с освободительного пути, а с другой стороны, разве служить верно не более достойный путь? Изложил я эти соображения эти в своем очередном докладе, предлагая направить нашу энергию, наш ум на пользу государству и отечеству. Впервые, за многие годы безукоризненной службы, меня вызвал Сам, директор нашей конторы, отдав должное смелости и честности моего прожекта, он справедливо указал на некоторые недостатки его, а затем спросил, не кажется ли мне, что сегодня, когда третий год подряд неурожай, когда алчный запад простирает свои взгляды на наши леса и нивы, когда среди молодежи разврат и полное отсутствие идеалов, когда предательски бегут самые надежные граждане нашего общества и даже Его величество выпускают за границу лишь в сопровождении охраны, оставляя в заложниках всю царскую семью, не будет ли правильней прежде, чем менять сложившиеся

условия, поначалу укрепить то, что есть, а уже потом...
Вы бы нашлись, что ему ответить? Я – нет.

Жду ответа, как соловей лета,
твой-Ваш Анкундин.

Письмо двадцатое

И не знаю, вправе ли обращаться к тебе, любимая. Вы поймете, прочитав эту короткую исповедь сына века до конца. Никакого письма я не находил. Оно было вручено мне. То есть я нашел его, но это входило в план операции познакомиться с Вами, войти в доверие и сообщать о Вас все. Но Ваша любовь, Ваша искренность, Ваша необыкновенность явили мне всю подлость моего поступка, всю низость моей службы. Больше не могу. Простите, когда сможете. И – прощайте.

Авраам Шахаров.

Послесловие

Высокий чин весело рассматривал молодого бледного вида человека, стоявшего перед ним на ковре:

– Что же это вы так легко, батенька, оскоромились? Две пары женских глаз, и вы поплыли? Ваша подопечная (впрочем, тоже – наш агент) посильней оказалась. Передавая последнее ваше письмецо, она плакала, однако долг исполнила исправно. «Любовь-кольцо», говорите? У кольца-то два конца! Мил-человек, провалили первое же задание! Эх, молодость – молодость! Ступайте, о нашем решении получите извещение по форме.

Молодой человек повернулся и вышел, разглядывая сетки, натянутые в лестничных пролетах. Он горько вздыхал до самого подъезда. Однако, выйдя на улицу, явно взбодрился: кто знает, может, судьба еще будет благосклонна к нему, следующий раз он бы уже не попался, а пока – домой, собрать узелок и спать, что-то

принесет завтрашний день. Замечтавшись, он поскользнулся и сел прямо на дорожку. Девичий смех заставил его оглянуться по сторонам: он увидел чистоту небес, яркое солнце, белизну снега и голубой конвертик, лежащий на сугробе под самым его носом.

Евгений Наклеушев

К ЕДИНОМУ ЗНАНИЮ

Набросок

метафилософии-метанауки-метарелигии

Эта книга откровенно парадоксальна. Ее задача – предложить систему всего вообще возможного знания, отдаленно подобную той, что построил некогда для известных и неизвестных химических элементов Менделеев. При этом автор сознает, что, в отличие от Менделеева, имеет дело с потенциально бесконечным материалом, и все же, вопреки предостережению премудрого Пруткова Козьмы, подвизается объять необъятное. Разумеется, с точки зрения почтенного здравого смысла, это заведомо абсурдная книга.

Эта книга строит систему видения, в которой древние апории (парадоксы) движения Зенона Элейского предстают как «блестяще выполненное исследование по пограничным проблемам теории относительности». Где завязываются в узел и проливают свет друг на друга космология и историческая психология, социальная история и квантовая механика, биология и теория множеств, «непримиримые» философии и еще более «непримиримые» религии, Восточные и Западные, древние и новые системы мировоззрения. Все сие приводится к единству с помощью трехмерного понятийного пространства, и, однако, – еще один парадокс – изложение рассчитано в первую очередь на гуманитария.

296 стр., мягкая обложка. Цена \$ 12.50, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:

Yevgeny Nakleushev,
626 Water st., apt. 6E, New York, NY, 10002, USA.

СТИХИ

* *
*

Подвинься-ка, себя несущий,
И улыбнись.
Потреплет ветер вездесущий
Больную высь.

И над неведомым колодцем
Чуть наклонись.
Хлебни глоток, другой прольется,
Не поскупись.

1984

* *
*

Для схожих слов есть разные уста,
Различно эхо Божьего закона,
Добро и зло в созвучии октав
Перебирают микрофоны.

Потянут чернотою лес ночной,
И карлики из пней своих выходят,
Под сказочно-белесою луной
Добро со злом замесят и разводят.

Брожу я меж устоев и чудес,
Струится день своею чередою,
И солнце дымное просвечивает лес
Дневною полунаготою.

1984

* *
 *

Река светает, миг затих,
Не шелохнется стадо кранов,
И ворон пролетает их
К деревьям сонным и туманным.

Не суетлив мой шаг. Он слит
С вершинным криком дикой стаи.
Свернув с однообразья плит,
Он с нею кружит и витает.

И меж ветвей, и с высоты,
Бросаясь в луч, и в нем купаясь,
Законы био и мечты
Поэтом Божьим стать пытались.

Единой сутью, то есть мной.
И, запульсировав на сгибе,
Миг в бесконечность, в хаос, в рой
Явился – снова сделать выбор.

1977

* *
*

Пригорок зеленым законом
Навстречу косому лучу,
Уводит тропинка уклоном,
Я ей о тебе прокричу.

Те губы, которых не ведал,
Тот голос, который испил,
В какие нездешние веды,
В глаза я твои уходил.

Какие пиры и столицы
Дарили улыбка и смех.
Как не суждено мне напиться,
И как мне не нужен побег.

Раскованы рифмы и грезы,
Кочует мое бытие.
И память приносит мне розы –
Согретое эхо твоё.

1984

ПЕСНЬ ЦИКАДЕ

Не прокричать мне громче, а смерть придет.
Затрепетать во клюве назад, вперед.
И несъедобной биться мне головой,
Остаток в клюве птицы, когда-то мой.

1983

* *
*

Слегка меняется пространство,
Но вечен дух.
Неуловимо постоянство
И стих на слух.

Горят цветы в букете лета,
О чем их день,
И за молчанием поэта
Размер и тень.

Чем новоявленным умножишь,
Вспорхнешь беду.
Коней непосланных стреножишь –
Где упаду.

И Ахиллесовой пятою,
Прицелясь враз,
Размер и тень я успокою
В безумный глас.

1984

Россия и действительность

Раиса Берг

ПОЛИТЭКОНОМИЯ СОЦИАЛИЗМА

Больше всего на свете меня интересуют законы существования и преобразования множеств живых существ. Занимаюсь я сонмами плодовых мушек, дрозофил, и область науки, в которой я подвигаюсь, называется популяционной генетикой. Популяция – множество существ одного вида, населяющая замкнутое местообитание. Вот и гонялась по всему Советскому Союзу, изучая популяции плодовых этих мушек. Северный Кавказ и Закавказье, Крым, Молдавия, Киргизия и Казахстан. Множество усыпленных эфиром дрозофил дефилировало перед моими глазами под бинокляром, демонстрируя свои различия, свои сходства. Долгие годы. Множество мух, множество людей. Накапливались наблюдения.

Время рождения моей политэкономии социализма – 1957 год. Колыбель – диетическая столовая в Пятигорске, где я в одиночестве обедала каждый день все то время, пока длилась экспедиция. По счастливому стечению обстоятельств, столовая почти пуста. Подавальщицы бездельничают. Вы долго не попадаете в поле их зрения. Но вот наконец заказ принят. С грехом пополам. Если, перечисляя блюда, вы запнулись, вам не остается ничего другого, как прокричать недосказанное вслед удаляющейся спине. Наступает долгое-долгое ожидание. Вам некогда сидеть тут, вас мучит голод. Подавальщица подсела к подругам, и они болтают. Оптимизация трудовых затрат в соответствии с мизерной зарплатой? Но трудовые затраты ничуть не больше, если сначала принести вам поесть, а потом уже кейфовать. К сожалению о потерянном времени и к мукам голода присоединяется раздражение. Очень хорошо. Преодоление преграды рождает мысль. Раздражение обостряет ее. Я мучительно напрягаюсь, чтобы понять неестественную последовательность поступков подавальщицы. Напряжение помогает мне коротать время. Даже дает радость. Как сказано поэтом:

Радость, о радость страданья!
Боль неизведанных ран.

Постоянство, с которым изо дня в день повторяются страданья, исключает нерадивость подавальщицы и случайность. Ежедневные чаевые, интеллигентская покорность ничего не меняют.

Действие переносится из Пятигорска в Москву. Год все тот же, 1957-й. Лето. Международный фестиваль молодежи. В парке около Крымского моста тысячи москвичей переполняют павильоны художественной выставки. Перед каждой из многочисленных столовых стоит очередь. Становлюсь. Вход в столовую преграждает здоровенная – пардон, справная – баба в белом. Халат, мундир, мантия, ритуальные одежды, ритуалы ученых заседаний, судов, консилиумов – все то, что позволяет одним людям вмешиваться в частную жизнь других людей, смягчая чувство неравенства, превращая насилие в порядок. Женщина в халате следит, чтобы без ее санкции в зал не входили. Здание столовой обнесено нарядной оградой, у ее калитки разыгрывается сцена. Столики внутри здания и на веранде за колоннами. На веранде не обслуживают. Стулья вверх ножками положены на столы. Я приблизительно пятая в очереди. Обращаюсь к женщине в халате:

– Ленин сказал: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством», – почему же вы стоите здесь, а не управляете государством? – говорю я весело, как будто не стою в очереди с пустым желудком, а предаюсь любимому занятию. Халат недоуменно настораживается и молчит. – Я вижу, вы не хотите заняться управлением государства. Тогда рассадите нас вон за теми столиками и накормите. – «Пройдите», – говорит халат мне, не трогаясь с места. Я обращаюсь к первым, стоящим в очереди:

– Оказывается, место есть. Пройдите. – Мужчина и женщина проходят. – Извините меня, – говорю я халату, – но не могу же я идти без очереди. – Моя очередь подходит. «Идите к нам, – зовут меня совсем даже незнакомые мне люди, – вы почему не боитесь так себя вести?» – Надоело, – говорю я.

1962 год. Я с целым выводком молодежи, среди них моя дочь Маша, в Одессе. Наш путь лежит из Тирасполя через Одессу, Сухуми в Дилижан. Прекрасная столовая в центре города. Большая веранда уставлена столиками, и на этот раз посетителей, сидящих за ними, обслуживают. Несколько сто-

лов свободны. Стоит длинная очередь. Ждать не менее полутора часов. Медленно, медленно происходит смена обедающих. Подходит группа молодежи. Туристы. Снимают рюкзаки. Постояли, ушли. «Пойдем отсюда, это безнадега», – говорит Вика Горбунова – участница моей экспедиции. – Давайте постоим, – говорю я. – Практические занятия по курсу политэкономии социализма.

Партийное, профсоюзное и прямое мое университетское начальство, преграждая мне путь к докторской степени, не так уж сильно уклонялось от истины, написав в характеристике, что я развращаю молодежь.

Наконец мы сменяем тех, кто отобедал. Мы идем мимо неприкасаемых столов. «Стол для шахматистов», – гласят надписи на каждом из них. Заказываем. Мы простояли свои честные полтора часа. Шахматисты не появлялись. Только мы уселись, как за один из столиков уселись два шахматиста. Здоровенные детины откровенно пролетарского вида. Подавальщица подпорхнула к ним мгновенно. И мгновенно на столе появились две бутылки столичной и две бутылки пива. Вполне привычными жестами, будто сам Станиславский тренировал их, прежде чем выпустить на сцену МХАТа, детины отправляют бутылки в карманы брюк. Четыре бутылки, четыре кармана. Шахматисты, расплатившись, уходят.

– И много шахматистов понаехало в Одессу? – спрашиваю я подавальщицу. Она понимает, что я понимаю. Мы обслужены первоклассно. Не знаю, как насчет шахматистов, но Лева Абольников сказал, что в магазинах Одессы нельзя было в те дни достать ни капли спиртного. Лева был тогда студентом Ленинградского университета. Приехал навестить маму и бабушку и оказывал теперь нам гостеприимство. Одесса нашла гораздо лучший способ ограничить наплыв нежелательных посетителей и резервировать место для желательных, чем стулья, положенные вверх ножками. Но и стулья в этой сакраментальной позиции мы видели в Одессе. Ресторан «Маяк». Зовется он просто «Маяк», но всякий понимает, что это не просто маяк, а маяк будущей жизни, маяк социализма. Самого невинного вопроса бывает достаточно, чтобы начальство, если вам посчастливится случайно войти с ним в контакт, немедленно распорядилось предоставить вам столик. Только вопрос: «Кого ждете? Что за делегация?» – должен быть задан соответствующим тоном. Каким? Предоставляю

воображению читателя. Вариантов много. Исключен один – тон личной заинтересованности в обеде. Предпочтителен тон человека, которому дают взятки, а не того, кто их дает.

Уж не помню, какой год. Гостиница аэродрома в Ташкенте. Мест нет. Можно вложить в паспорт пятерку и протянуть паспорт и пятерку администратору. Можно показать администратору диплом доктора наук, многие так делают, и, говорили мне, помогает. Я не применяла. Стою, жду. Подходит семья. Бабушка, мать, двое детей. Им надо провести на аэродроме двое суток. Администратор говорит им, что места предоставляются только тем, кто летит на следующий день или задержался по случаю нелетной погоды, либо по техническим причинам. Им надлежит искать ночлег в городе или пусть обратятся к начальнику аэропорта. Если он прикажет предоставить им место, он предоставит. Они всем скопом отправляются было на поиски начальника. Я останавливаю их. Им совсем не нужно идти всем вместе. Бабушка с детьми пусть у стенки постоят – сесть негде, аэродром битком набит, погода на редкость нелетная, – а молодая пусть идет к начальнику. И я пойду с ней и расскажу ему, чему была свидетелем. Им предоставляют место. Приходит огромная казашка или узбечка, на спине несет мальчика лет десяти. И ей отказывают. Она кладет мальчика на пол и собирается идти хлопотать. Я предлагаю ей пойти вместо нее. Терпение администраторши – женщина это была – лопается. И казашке с мальчиком, и мне предоставлены места в гостинице. «Номеров нет, – злобно полурычит, полушипит администраторша, – займете койку в коридоре». Ну, этим меня не напугаешь. Оказывается, койка в коридоре – злобное преувеличение. Холлы гостиницы отгорожены от коридоров богатейшими занавесями. Не менее двадцати чистенько застеленных кроватей, никем не занятых, заполняют помещение, где мне предстоит провести ночь. Но фортуна не переставая баловала меня в тот час. Когда я оформляла документы у дежурной по этажу, два летчика покидали гостиницу, и их номер предоставлен мне. Только легла – стук. Номер двухместный. Какая-то высокочиновная дама получила, видно, место. Однако за дверью раздается мужской, очень бодрый голос: «Открывай, старуха». После нескольких уточнений, оглашаемых через закрытую дверь, выясняется, что вторая кровать номера предоставлена не мужчине с бодрым голосом, а его жене. Я открываю дверь. Входят трое. Папа,

мама и сын. Женщина больна, горло у нее болит, жар. В медпункт вокзала не пускают. Он уже как-нибудь, а они пусть лежат вместе. Он в коридоре посидит. Дело не пойдет, – говорю я. Меня очень страшит перспектива провести ночь в непосредственной близости от человека, больного ангиной. Два раза укол пенициллина в горло спасал меня от верной смерти. Но и мальчику не следует спать в одной постели с больной матерью.

– Возьмите мальчика, – говорю я отцу, – и идите снова к администраторше. Пусть дает место. Скажите, что вы – мать-одиночка. Она заведомо не помнит, что уже дала мальчику место.

– Нет, мальчик вписан в билет к матери. И костюмчик на нем красный. Ничего не выйдет.

– А что, синего костюмчика нет в чемоданчике? Переодевайте. И давайте ваш билет. – Он дает, и я вписываю мальчика ему в билет. Они уходят и больше не возвращаются. Фортуна продолжала меня баловать. Я не заболела ангиной.

В гостинице аэродрома, где места предоставляются по предъявлении билета и паспорта, вы, в отличие от столовой, не можете изображать полнейшую личную незаинтересованность. Иначе – зачем вы здесь? Никто не верит, конечно, в ваш альтруизм. Вас принимают за кляузника или за подставное лицо, накапливающее по заданию какой-то там инспекции материалчик. Вы производите впечатление личности, с которой лучше не связываться. А огромная узбечка, та, что положила на пол у кассы мальчика лет десяти, по-видимому парализованного, и отправилась было в путь к начальнику вокзала за разрешением провести ночь в гостинице, такого великолепного впечатления не производит и произвести никак не может. Беда попасть в ее положение.

Моя концепция политэкономии социализма уже полностью, как мне казалось, сложилась, когда я попала в положение этой узбечки и тогда только поняла природу барьера, возведенного между аккуратно застеленными кроватями в занавешенном богатейшими гардинами вестибюле ташкентской гостиницы и ее больным мальчиком.

Откровение низошло ко мне на крошечном аэродроме на Алтае, в Турочаке, в 1964 году. Один раз в моей жизни я отправилась в увеселительную поездку, с единственной целью наслаждаться красотами природы в изысканном обществе.

Нас трое. Я заведовала тогда лабораторией популяционной генетики в академическом институте. Институт помещался в Академгородке, он же Советский район города Новосибирска. Не менее 60 км пути отделяют Город Науки от Новосибирска. По приказу царя Никиты город этот возник на голом месте. Хотели сперва присвоить ему имя, но потом власти передумали – много чести, – и Город Науки окрестили Советским районом города Новосибирска.

Роза – это роза, независимо от того, как ее именовать. Иное дело поселение. Район ступенью ниже однорайонного города. Пирамида попирающей его полицейской власти: милиция, исполком, партком, прибавьте КГБ – выше.

Правителем района на отлете стал первый секретарь райкома партии товарищ Можин. Про него ныне покойный поэт и правозащитник Вадим Делоне, тогда девятнадцатилетний мальчик, говорил: «Ведомо одному только Можину, что нам можно, а что нам не можно».

Изысканную компанию составляли Иван Алексеевич Лихачев и Станислав Игнатьевич Малецкий. Иван Алексеевич приехал прогостить ко мне из Ленинграда. Его нет уже в живых, этого замечательного человека, поэта и переводчика, истинного Дон Кихота, сочетавшего рафинированную культуру с полнейшим пренебрежением жизненными благами. Станислав Игнатьевич, слава Богу, жив-живехонек и заведует лабораторией в том самом институте, где я тогда служила. Он обладает феноменальной одаренностью как ученый и не менее феноменальной тягой к свободе и ко всему прекрасному. Тогда, двадцать лет тому назад, он в полной мере выявил свою одаренность, но не поднялся по служебной лестнице выше младшего научного сотрудника. Идея любоваться Алтаем принадлежала ему.

Мы все трое – ленинградцы. Иван Алексеевич всю жизнь прожил в Ленинграде за вычетом четырнадцати лет, проведенных им в лагерях и в ссылке. Станислав Игнатьевич никогда не видел своего родного города. Он был крошкой, когда в блокадном Ленинграде погибли его родители. Он вырос в детском доме на Алтае и теперь вез нас показывать то единственно прекрасное, что было в его сиротской жизни, – красоты Алтая. Мы выехали из Новосибирска. До Алтая – рукой подать.

Красоты природы открывались нашим восхищенным взорам, но не одни они. Чудовищная нищета обитателей цветущего края хватала за сердце. Увеселительная поездка подходила к концу, когда оба мои спутника заболели. Когда прибыли на аэродром в Турочак, чтобы лететь в Бийск, оба они на ногах не держались. В кассе аэродрома выяснилось, что самолет будет только завтра, билеты можно заказать, они есть, гостиницы нет и ночь нам предстоит провести в палатке. Поставить палатку я не могла, но и надобности не было. Ни холода, ни дождя, ни комаров. Больные лежали на разостланном брезенте палатки, на лугу под пихтами, а я собирала землянику и кормила их. Когда настало время лететь, оказалось, что билетов нет. Нам предстояло двое-трое, не помню сколько, суток ждать следующего рейса.

Мы улетели благодаря счастливой случайности. Компания из трех пассажиров обнаружила, что рейс им не подходит. Оплешность начальника аэродрома. Не будь ее, не видать нам билетов как своих ушей. Мы были абсолютно безоружны. Жаловаться начальству? Чтобы до него добраться, нужен вот этот самый билет!

Тут-то и низошло на меня откровение. Я поняла, зачем мы нужны начальнику аэродрома! И почему больному мальчику-узбеку надлежало лежать на полу у кассы ташкентского аэропорта. Я поняла назначение антисервиса!

Вы думаете, начальник аэродрома в Турочаке продает билеты с помощью своего рода подпольного аукциона – кто больше? Вы правы только отчасти. Дело обстоит куда более сложно. Ваше страдание – важнейшая компонента системы. Причиняя его вам, ни начальник аэродрома, ни директор столовой, ни подавальщица не нарушают закона, не пятнают свою совесть. Они не вымогают взятку, они обеспечивают для себя и для вас единственно возможный способ существования при социализме, лучше сказать – способ сосуществования людей под игом социализма.

Создавая мою политэкономия социализма, я пыталась понять не природу человека и, тем более, не преступные ее проявления, а экономический строй, порожденный взаимодействием природы человека и навязанной человеку системы.

Общественный строй складывается стихийно в соответствии с природой человека, в каких бы условиях ни находился человек, будь он хоть академик, хоть зэк.

Когда в 1962 году «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича», студенты математики, которых я тогда обучала генетике, говорили мне, что мое понимание стихийных процессов в обществе совпадает с тем, что пишет Солженицын. Они читали повесть, а я еще нет. Журнал был нарасхват.

Согласно общераспространенному на Западе мнению, экономическая система Советского Союза – государственный капитализм. Мнение это правильное, только если, во-первых, сузить определение капитализма и, во-вторых, если признать, что экономика Советского Союза не социалистическая. Начнем с первого. Определим капитализм как эксплуатацию большинства правящим меньшинством. Раз так, экономический строй Советского Союза – государственный капитализм. Капитализм, однако, характеризуется не одной эксплуатацией. С равным правом государственный уклад Советского Союза может быть назван государственным феодализмом. Феодальному строю России нанесен решительный удар в феврале 1917 года, но Октябрьская революция восстановила его.

В Советской России нет капитализма, потому что нет свободного рынка с его автоматически действующими регулирующими системами обратной связи. Деньги не играют той роли, которая им принадлежит в капиталистическом обществе. Нацело ликвидирована регулирующая роль банка. Цены определяются планирующими органами, исходя из политических, а не экономических соображений, и ничего общего не имеют ни с количеством затраченного труда и материалов, ни со спросом и предложением, ни с потребностями потребителей. Хлеб, бензин, жилплощадь чрезвычайно дешевы. Зарплата и штаты так же не определяются экономическими соображениями, как и цены. Колоссальная разница между наивысшей и наинизшей зарплатой колоссально увеличена системой привилегий. Свободный спрос и предложение рабочей силы отсутствуют.

Восстановление капитализма предотвращено законом. Целая система запретительных мер преграждает путь к личному обогащению. Обитатель Советской России не имеет права воспользоваться тем, что он произвел своими собственными руками. О наемной силе и говорить не приходится. Зарабатывать деньги помимо государственной службы практически невозможно. Запрещено давать частные уроки, шить на заказ, чинить обувь, производить для продажи произведения

искусства. Налоги, которыми облагают кустарей-одиночек, намного превышают их потенциальные заработки. Уклонение от налога, тайные источники обогащения выслеживаются тщательно и караются сурово. И все же подпольный рынок существует. Страх разоблачения диктует его законы, определяет цены, количество и ассортимент товаров и услуг. Потребитель, заказчик, клиент черного рынка платит не только за товар, но и за риск. Чем больше опасность попасться, тем выше цена.

Тот зачаток капитализма, о котором пойдет речь, – дикое, примитивное исчадие планового хозяйства, ничего общего с подпольным рынком не имеющее. Вступая в новые экономические отношения друг с другом, советские граждане используют государственные учреждения для личного обогащения. Они не нарушают при этом законов, не срывают выполнение плана, «спущенного» сверху каждому учреждению, будь то завод по выплавке стали, парикмахерская или издательство. Этот зачаток капитализма – страшный зачаток. У него нет будущего, но его последствия ужасны. Свободный рынок, его стихия коренится в плановой системе хозяйства – нет, в системе, претендующей на плановость. Эмбрион этот питается неспособностью системы урегулировать спрос и предложение.

Хронически не хватает самого необходимого: пищи, одежды, жилья, книг, зрелищ, бумаги (любой: писчей, туалетной, оберточной, копирки), самых необходимых лекарств, больничных коек, любого транспорта, мест в гостиницах, в ресторанах и столовых. Учетом потребностей никто не занимается. Никому нет дела до бесконечной траты времени в очередях. Те, кого власть выделила в качестве привилегированных, избавлены ею прежде всего от стояния в очередях. А прочие часами стоят не только за молоком и мясом, но чтобы оплатить счет за квартиру и за электричество.

Новая экономическая система, складывающаяся в Советском Союзе, основана на экономическом хаосе, на нищете, на необходимости затратить колоссальные усилия и убить необъятное время, чтобы раздобыть насущное. Учреждения сферы обслуживания: магазины, почта, парикмахерская, железнодорожная или театральная касса, больница, издательство, суд – находятся в ведении персонала, работающего в каждом из них. Их дело – торговать, лечить, обслуживать. Но тех, кого надлежит снабжать, лечить, учить и всячески обслуживать, слиш-

ком много, а зарплата от числа обслуженных не зависит. Выбор – продать или не продать, обслужить или отказать – предоставлен персоналу учреждения. Ни в малейшей степени не нарушая закона, в строгом соответствии с производственным планом, осуществляется отбор желательных клиентов. Распределение товаров и услуг вводится в определенное русло. Основа канализации – взаимная выгода. Услуга за услугу. Можешь помочь в тяжелой жизненной борьбе – получи, не можешь – катись подальше. В условиях общей нехватки сведения, что там-то, в такое-то время объявится, будет «выброшено» желаемое, приобретают гигантскую ценность. Обмен информацией о товаре становится могучей экономической силой. Формула «товар А – деньги – товар Б» – заменяется новой «товар А – информация о товаре А – информация о товаре Б – товар Б». Вы думаете, что ж тут особенного? – реклама. И никакая не реклама, а в некотором смысле нечто противоположное огласке.

Вожденный товар спрятан от взора нежелательного покупателя под прилавком. Информация о том, что товар прибыл, будет продана желательному клиенту, тому, кто принесет информацию о товаре, необходимом продавцу. Какая уж тут реклама. Нет самых обычных вещей, ни в какой рекламе не нуждающихся. В аптеках нет ваты, термометров, горчичников, нет витаминов, рыбьего жира, отвара шиповника. В магазинах канцелярских принадлежностей, культтоваров, как они называются на советский манер, нет бумаги для пишущей машинки, не говоря о пишущих машинках, нет лент, нет копирки. Купить полотенце, зубную щетку, шампунь, мыльный порошок – неразрешимая проблема. Эмалированный чайник – недостижимая мечта. Чтобы купить книгу, выхода в свет которой вы дожидались годами, нужно иметь знакомого продавца в книжном магазине. Если это поэзия и поэт был сперва запрещен, а потом разрешен, его книгу легче получить из-за границы, вот эту самую, прошедшую через горнило цензуры, обкарнавшей поэта до неузнаваемости, и изданную наконец в своем отечественном издательстве, чем купить в лавке напротив вашего дома. Да только, если вы живете напротив советской книжной лавки, т. е. в Советском Союзе, я сильно сомневаюсь, что есть за границей кто-либо, кто шлет вам книги.

Легко жить тем, кто имеет что предложить на рынке натурального обмена информацией. Мученья тех, кто не имеет ничего, неописуемы. Но люди – это люди.

Порой вас обслужат бескорыстно, просто потому, что искра симпатии пробежала между вами и хранителем недосыгаемых для вас сокровищ. Термометр мне нужен был. Пошла в знаменитую аптеку на улице Дзержинского. Это одна из лучших аптек Ленинграда. Зовется она почему-то аптекой ГПУ. Она помещается поблизости от дома, где была главная ставка ЧК. Дом, зеленая лавка, вывеска, кровью налитые буквы – все, что Гумилев запечатлел в стихотворении «Заблудившийся трамвай», находилось тут, рядом с этой аптекой.

– Нет термометров.

– Вот, моя бабушка мерила мне температуру, а я не могу измерить температуру моей дочери, ее правнучке. Моей дочке восемь, и она говорит: «Будь Ленин жив, спутник давно бы запустили, а теперь были бы термометры!»

Продавщицы смеются.

– Приходите завтра.

На следующий день я купила термометр.

В том же восьмилетнем возрасте моя дочка комментировала рекламу. Рекламировалось... молоко! Не продукция какого-либо совхоза-гиганта с гордым названием «Красный Октябрь» или «Имени Первой Пятилетки», а молоко как таковое. Ленинский проспект. Путь следования туристов. Гигантский плакат сулил молочные реки, кисельные берега страны социализма – пейте молоко! «Разве людей надо уговаривать пить молоко?» – спросила моя дочка. «Это чтобы не ленились стоять в очереди за молоком», – сказала я.

Если нет нехватки, она создается искусственно, иначе обладание товаром не принесет никакой выгоды.

Ценность информации о наличии товара зависит от количества товара и от насыщенности рынка данным товаром, но зависимость эта не прямая. Возьмем картофель. Информация о том, что картофеля нет и не будет, гроша ломаного не стоит. Но ничего не стоит и информация о том, что все овощные магазины ломаются от картофеля. Максимальную ценность имеет информация при определенной степени нехватки картофеля. Какова эта степень? Соотношение между насыщенностью рынка товаром и ценностью информации о товаре можно изобразить в виде кривой. Насыщенность рынка – в процен-

тах от потребности на оси абсцисс. Ценность информации – на ординате. Кривая пересекает ось абсцисс дважды – в нулевой точке и при стопроцентном насыщении рынка – ешь, не хочу! Мне кажется, что формула, выражающая зависимость явлений, связанных со случайными процессами, здесь та же, что и формула энтропии $H = -\text{plog}P$. Если это так, ценность информации о наличии товара максимальна при тридцатипятипроцентном насыщении рынка товаром. Продавец картофеля извлекает максимальную выгоду из своей должности, когда приблизительно две трети покупателей вынуждены обходиться без картофеля. Возникает вопрос – кому хуже всего в силовом поле циркуляции информации? Ответ ясен – рабочим и ученым, тем, кому нечего предложить на свободном рынке циркуляции информации. Неутоленность одних – источник обогащения других. Жалкое обогащение, не сравнимое с наживой привилегированных, но много больше, чем ничего.

Теперь вернемся к началу. Почему так бездушно обходились со мной подавальщицы диетической столовой в Пятигорске? Я была негодным клиентом. Чаевые – пустяк по сравнению с тем, чего ждет официантка от клиента желанного. Мне уготована роль – демонстрировать контраст. Действия белого халата, ведающего впуском в столовую, носили другой характер. Стратегия халата относилась к той же категории, что и стратегия кассира гостиницы Ташкентского аэропорта и начальника аэропорта в Турочаке. Цель – создать видимость дефицита. Лихачев, Малецкий и я демонстрировали то, чего на самом деле не было, – превышение спроса над предложением. Одесские столы для шахматистов убивали одним ударом двух зайцев: канализовали обслуживание и демонстрировали дефицит. Никто из персонажей не переступал грани, отделяющей закон от беззакония. Невинность соблюдена, капитал приобретен. Не жизнь – малина. Ни малейшего стимула выражать недовольство режимом у людей, вовлеченных в сферу информационного рынка, нет и быть не может. Люди эти – не спекулянты, не взяточники, их рынок ничего общего с черным рынком не имеет. Они спят спокойно. То, что их действия отбрасывают тень на жизнь всего общества, – им и померщиться не может.

Рынок натурального обмена информацией – явление не только экономическое, но и морально-этическое. Каждый становится жертвой его разлагающего влияния. Новые эконо-

мические отношения, в которые граждане вынуждены вступать, вносят свою долю в деморализацию общества, вместе с лживой пропагандой, вместе с философией, согласно которой цель оправдывает средства, а этика, как и научная истина, носит классовый характер. Свободный рынок информации – маленький добавок к ржавчине, разъедающей души людей Большой зоны, наряду с тайной слежкой, стукачеством, с жестокостью наказаний, со смертной казнью.

Антисервис и антиреклама – на поверхности. Сервис и информация о наличии товара скрыты. Антиреклама – это значит, что на прилавке выставлено нечто такое, на что стыдно смотреть. «Синяя птица» – вы узнаете стиль анекдота, он сочинен не народом. Но и за цыплятами, давшими повод острословию, стоит непомерная очередь. И возглас: «Не становитесь, куры кончаются», – приводит опоздавших в уныние.

Отдаете ли вы себе отчет в том, что значит антисервис? Нет, не отдаете, если не жили там. Неудобного клиента надо не просто устранить. Его надо уязвить. Зачем? Чтобы угодный оценил тот сервис, который ему оказан. Чем грубее отказ, полученный неудобным, тем выше цена услуг. – «Вам подавай одну мякоть, а другим – чтобы одни кости достались?» – обучает вас человеколюбию мясник, обвешивая вас на костях. Подобно гоголевскому Носу, антисервис уходит с того места, где он выполняет свою функцию, и жизнь переполняется взаимными оскорблениями, ссорами, драками, уж вовсе никакой функции не несущими, кроме разрядки, утверждения своего превосходства хоть когда-нибудь, хоть перед кем-нибудь.

А по улицам США гуляет оторвавшийся от своих корыстных корней сервис. Вы ищете дощечку с названием улицы, и тут же раздается привычное: «Can I help you?» А один пожилой джентльмен сказал, что ему нравится узор моего платья – ландыши. Красная ладошка светофора дала ему возможность спеть немецкую песенку про Maiglöckchen. А в Москве на Земляном валу, в сквере перед домом, где жил Эфроимсон и где я стояла, глядя на его окна, – специально пошла, только чтобы посмотреть, – пожилой человек мутно посмотрел на меня и сказал: – «А пошла-ка ты на ...», – точь-в-точь, как сосед-пожарник у меня дома, в коммунальной квартире...

Time pattern, распорядок действий официантки в столовой в Пятигорске, столы для шахматистов в Одессе, инцидент на аэродроме в Турочаке относятся к базису, служат целям повы-

шения реальной заработной платы, а ее надо повышать, иначе не проживешь. Матерщина человека, прервавшего мое благоговейное созерцание в московском сквере, относится к надстройке. Он пел мне с в о ю песню про Maiglöckchen. Не хлебом единым...

Теперь вернемся к размышлениям об экономическом укладе Страны Советов. В утверждении, что уклад этот – государственный капитализм, содержится утверждение, что экономика Страны Советов не социалистическая. Это вредное и опасное заблуждение. Оно зиждется на романтической вере в социализм, в строй, лучше всякого другого соответствующий истинной природе человека. (Замечу в скобках: за исключением коммунизма, до которого первобытные люди доросли в свое время, а советские граждане только дорастают в процессе строительства социализма и выкорчевывания пережитков капитализма в их сознании.)

От многих людей в США я слышу, что вот произойдет в США социалистическая революция и американский социализм будет истинный, а общество будет переустроено на разумных началах.

И я вижу этих людей стоящими в очереди за картошкой на колхозном рынке, где продаются излишки того, что ручным трудом добыто на приусадебных участках. И один смотрит мутными глазами на другого и поет ему песню, на свой манер, как может...

Социализм России – настоящий, единственно возможный, и никакого другого социализма в природе нет, не было и не будет. Единичное наблюдение? Да, единичное, но и тень, которую Земля отбрасывает на Луну, – единичное явление. Однако Аристотель знал, что Земля – шар, глядя на ее тень на Луне. Каждый круг – модель бесконечности. Двести шестьдесят два миллиона обитателей Страны Советов – не бесконечность, но тоже не мало. Есть единичные явления, достоверность свидетельств которых не меньше достоверности статистически насыщенной совокупности явлений. Статичность заключена в них самих, они – интегрированные множества, как круг, как шар, как обреченные на страдания двести шестьдесят два миллиона советских граждан.

1976 – 1984,
Медисон – Сент-Луис, США

Восточноевропейский диалог

Томаш М я н о в и ч

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ЭКСТРЕМИСТА

В декабре 1983 года, в первый год своей жизни в Германии, я поехал в Западный Берлин на встречу с писателями ФРГ. Главной занимательностью этого мероприятия стала для меня встреча носом к носу с ведущими немецкими писателями – они же глашатаи антиамериканизма и пацифизма. Ханс-Кристоф Бух, Гюнтер Грасс, Ингеборг Превиц, Йохано Штрассер и другие, чьих имен я уже не помню, но тоже корифеи прогрессивного интеллектуализма. Как явление это даже любопытно, хотя вскоре наводит скуку своей монотонностью: нападки на Рейгана, Атлантический Союз, восхваление Никарагуа – одним словом, левые интеллектуалы, т. е. сторонники тоталитаризма, принимающие позы защитников прогресса. Одного раза довольно, и я решил больше не ездить на подобные мероприятия, а если уж затоскую по контакту с прогрессивными западногерманскими интеллектуалами – достаточно включить телевизор или взять первый попавшийся номер «Шпигеля»: тенор все тот же.

Снова я полетел в Берлин, когда меня пригласили на симпозиум «Движение защиты прав человека как альтернатива диктатуре». Без ведущих прогрессивных западногерманских интеллектуалов, зато с участием Льва Копелева, который должен был говорить о Советском Союзе. Еще кто-нибудь должен был говорить о Чехословакии (этим кем-нибудь стал найденный мною «хартист» Венделин Комада), а Райнер Хильдебрант, директор Haus am Checkpoint-Charlie, – о ГДР. Поскольку меня глубоко волнуют и права человека, и поиски перехода от диссидентской формулы (т. е. от требования, чтобы власти соблюдали принятые ими правовые обязательства) к модели сопротивления коммунистической системе со стороны значительной части общества (ныне это основной вопрос оппозиции в Польше) – я решил полететь и выступить.

При этом я сознавал, что рискую натолкнуться на непонимание – учитывая, как мало знают граждане ФРГ о том, что происходит сегодня в Польше.

Для западногерманской общественности (и не только той, что связана с социал-демократами, т. е. цинично-равнодушной) существует только Валэнса (этакий «польский Ганди») да Примас Глемп, особенно когда скажет какую-нибудь очередную глупость. Так почему же не полететь в Берлин, не рассказать, что есть и другие люди, помимо Валэнсы, что идут дискуссии, критика, полемика и что именно то, что происходит сегодня в Польше, – это и есть поиски путей сопротивления обществом, которое отвергает коммунистическую систему, а вместе с тем сознает ограничения, налагаемые международным положением. И что призывы к соблюдению прав человека или конституции перестали быть достаточными со времени возникновения десятимиллионной «Солидарности».

Что же, – подумал я, – хотя бы для того, чтобы сказать то, о чем здесь как раз не говорят, не пишут и не знают, – надо ехать, тем более, что в программе встреча в «Доме у пропускного пункта Чарли» – этом единственном в мире музее побегов, где наглядно видно, что такое обычная человеческая, не интеллектуальная и не прогрессивная жажда свободы.

В этом «Доме» и начинался симпозиум. Мы с Комедой скромно уселись в последнем ряду. Впереди – господин Копелев, крупнейший в Германии авторитет по советским делам (иногда его даже по телевидению показывают), который будет отвечать на вопросы из зала. Первый вопрос – о Сахарове: была как раз очередная волна нарастающей тревоги и противоречивых сообщений. Лев Копелев говорит, что вот только что выехала на Запад знакомая Сахаровых, которая перед отъездом получила от них открытку, и из открытки следует, что они вместе и чувствуют себя хорошо. Этой знакомой была Ирина Кристи, которая действительно получила открытку и действительно выехала, да только, когда Копелев об этом рассказывал (это было 1 июня 1985 г.), уже пять дней как было известно, что «открытку от Сахаровых» написали в КГБ. Для некоторых – в частности, для автора этих строк – с самого начала было ясно, что Ирину Кристи затем и отпустили из СССР, чтобы на Западе поверили в подлинность открытки и хорошее состояние здоровья Сахаровых. Но, может быть, – подумал я, – Копелев еще не знает о заявлении Ефрема Янке-

левича (по вопросу об авторстве открытки); наверное, у него не было времени получить дополнительную информацию: нехватка времени – дело житейское, это я знаю.

Но далее Копелев говорит, что он, кроме того, предвидит скорое улучшение судьбы Сахаровых, а произойдет это благодаря Вилли Брандту, который как раз летит в Москву и заверил, что затронет там вопрос о горьковских ссыльных. Пока что (а пишу я это 2 сентября 1985 г.) поездка Брандта в Советский Союз ни в чем не изменила положения Сахаровых, но, в конце концов, Копелев же – не ясновидец. Вот только (и тут меня начали мучить сомнения) откуда такая вера в благородство миссии Брандта в Москве – того самого Брандта, который был сотворцом одной из самых циничных и не основанных на нравственных ценностях концепций политики Запада по отношению к советскому блоку, получившей название «разрядки»? Христианско-демократический политик Х. Айгнер верно написал о поездке Брандта в Москву (правда, уже после того, как она состоялась): «До сих пор ни один немецкий политик не становился столь недвусмысленно на сторону Кремля».

Однако не будем тенденциозны: Копелев мог и не знать, что будет делать Брандт в Москве. Зато он, конечно, знал, что делает Рональд Рейган, и, когда президент США стал предметом критики Копелева, мои сомнения развеялись, уступив место навязчивым воспоминаниям о предыдущей поездке в Берлин. «Антикоммунизм – величайшее безумие XX века», – цитирует Лев Копелев Томаса Манна (я хотел спросить, что же такое тогда коммунизм, но уже не было возможности). И еще, под конец: у нас теперь новое правительство (имеется в виду новый генсек – Горбачев) – надо подождать, какие это принесет перемены. Ну что ж, подождем...

Но это был только первый акт. Затем состоялась «гарден-парти» с телевидением и супругами Копелевыми в главной роли, а кульминацией была конференция о движении защиты прав человека, проводившаяся на следующий день (на этот раз без телевидения, но зато с прессой и какой-то дамой из сената Западного Берлина). Сказали свое Хильдебрандт и Комеда, а потом и я – то, что собирался сказать. Я так и не успел узнать, как меня приняли (а ведь интересно: может, аплодировали бы, а может – освистали?), потому что, едва я договорил последние слова, с места вскочил Лев Копелев и загремел возвышенным баритоном: «А вы чего хотите? Бомбы метать?!» (Нет,

не хочу, а и хотел бы – откуда их взять?) И что я экстремист (этого я про себя не знал, но с тех пор, как прогрессивный интеллеktуал Гюнтер Грасс назвал меня сталинистом, я уже ничему не удивляюсь), и что мы все восхищаемся Валэнсой (не все, если учесть разницу мнений в польской независимой прессе; признаюсь, что я – не восхищаюсь, особенно после интервью Валэнсы для Ассошиэйтед Пресс от 31 июля этого года, где уже легендарный вождь рабочих сказал, что «Солидарность» озабочена исключительно улучшением экономической производительности системы, иными словами: забудем всякие там идеалы – важна колбаса), и что права человека надо защищать повсюду: и здесь (это, видимо, значит: по западную сторону Берлинской стены), и там (т. е. по восточную ее сторону). Тут раздалась бурная аплодисменты. От меня бы мокрого места не осталось (каюсь: я не клеймил нарушений прав человека в Федеративной Республике Германии), особенно с моим слабым голосом и жалкой бороденкой (куда ей до копелевской), если б меня не поддержала дружеская рука – точнее, голос – Эдварда Климчака из журнала «Поглэнд». Запугавшись на всякий случай тем, что, «может быть, произошло недоразумение», Климчак подтвердил, что в Польше идет дискуссия, рассматриваются разные концепции, идеи «долгого марша» и создающегося независимого общества. И тогда, уже слегка придя в себя, я кое-как проговорил, что не лучше ли быть поосторожней с клечками вроде «экстремист», особенно по отношению к тем, кто верно предсказывал намерения Ярузельского (речь идет не обо мне, а о тех авторах, живущих в Польше, мнения которых я приводил). На этом кончилась официальная часть, и несколько человек даже подошли ко мне с какими-то словами одобрения.

Я бы улизнул с неофициальной части, но организатор железной хваткой взял меня под руку и со словами: «Этого так оставить нельзя», – повел пред светлые очи Льва Копелева. И тот – мягким уговаривающим тоном – принялся сводить меня с пути порочных антикоммунистических идей. Не нужно, мол, – за это потом дают приговоры посуровее. Я, правда, хотел сказать, что Богдан Лис, который намеревался даже с сотрудниками ГБ вести переговоры о «национальном соглашении», получил два с половиной года тюрьмы – точно столько же, сколько редактор антикоммунистического журнала «Неподлеглоць» Станислав Котовский (правда, на Западе никто

освобождения Котовского не добивается – именно потому, что он антикоммунист), и что в СССР за защиту прав человека и за контроль над соблюдением Хельсинкских соглашений (это уж отнюдь не антикоммунизм – Боже упаси!) люди приземляются в лагере или психиатрической тюрьме, так что, может быть, все-таки... Но я ничего не успел сказать: к Копелеву уже бежали берлинские журналисты со вспышками, авторучками, микрофонами. И наверно, один из них написал на следующий день в «Тагесшпигеле»: «Kopelow berichtet über Sacharow», – где снова фигурировала открытка «из Горького» и хорошее самочувствие ее якобы отправителя. Я улетал из Берлина в дурном самочувствии, но такова, видно, специфика этого города.

Я не стал бы все это описывать, если бы дело было только в моих интеллектуально-политических приключениях. Проблема серьезнее: речь идет о воздействии на западную общественность, на ее отношение к коммунизму и ее политические позиции. Лев Копелев занимается в Германии анти-антикоммунистической пропагандой. Почва для этого благоприятная: в особенности, прогрессивные писатели (т. е. те, которые выступают по телевидению и печатаются самыми большими тиражами) не выносят Рейгана, Шпрингера, западную политическую систему и, пользуясь определением Льва Копелева, «радикальных эмигрантов из советского блока». Если члены западногерманского союза писателей со страстью разбирают вопрос, как привести к падению «американской империи» и роспуску НАТО, – их можно обвинить в мошенничестве или в вызванном идеологией параличе нормальных умственных функций. Политические последствия таких установок будут ужасающими, но – как говорят марксисты, «ход истории не повернуть вспять». Когда же этому одноголосому хору подпевают эмигранты из советского блока – а именно таков случай Копелева, – надо бить в набат.

Я как раз прочитал совместное произведение Генриха Бёлля, Льва Копелева и Генриха Формвега «Антикоммунизм на Востоке и на Западе»*. По мнению Копелева, антикоммунизм – «род болезни», а политическая система в советском блоке ничего общего не имеет ни с коммунизмом, ни с социа-

* Об этой книге см. статью Зофьи Шик в 42-м номере «Континента». – Р е д.

лизмом. Копелев мечтает о «лучших примерах истинного коммунизма»; «Континент» для него – антисоветская пропаганда, и вдобавок «довольно примитивная». И так далее.

Когда живешь на Западе, трудно не поддаваться впечатлению, что здесь вымирает способность распознать и назвать врагов свободы, ибо, судите сами, антикоммунизм – мишень советской пропаганды, западных интеллектуалов и части эмигрантов с Востока.

Что должно быть призванием политэмигранта? Разве не активно действовать ради свободы тех, что остались внутри тоталитарной системы, и одновременно – предостерегать тех, кому эта система угрожает? 25 лет назад Юзеф Мацкевич писал:

«Указывать западным державам их ошибки, их «ослепление», их «глупость» – тема, весьма популярная в польской публицистике. Однако мы забываем, что эти державы, с их традиционно клеймимой нами «близорукой» политикой по отношению к Советам, тоже не находятся в вакууме и нередко основывают свою политику на посылках, почерпнутых из позиций, занимаемых нами и другими угнетенными коммунизмом народами».

Вот то-то и оно.

От переводчика

К статье Томаша Мянвича можно было бы ничего не добавлять: с приводимыми в ней фактами не поспоришь, с выводами – поспорят разве что глашатаи той самой «анти-антикоммунистической пропаганды», которой среди эмигрантов из советского блока предается не только Л. З. Копелев. Хотелось бы лишь сказать, что в «западных» позициях и «восточных» высказываниях (притом не только эмигрантских) существует известная обратная связь. «Прогрессивные интеллектуалы» (кстати, при моем языковом пуризме я никогда не употребляю слово «интеллектуалы» всерьез и при переводе статьи Т. Мянвича сохранила его намеренно) хотят слышать совершенно определенные вещи – потому они и слушают тех, кто им это говорит. Если некто, в начале военного положения попавший в западное представительство «Солидарности», радуется европейским левым заявлением о том, что представители «Солидарности» на Западе должны «наводить мосты между „Солидарностью“ и национально-освободительными движениями в Латинской Америке», то он останется для них высшим авторитетом и «истинным» глашатаем «Солидарности» (которая для них и есть «борьба за социализм с человеческим лицом») даже через

несколько лет после того, как был с треском выгнан из комитета «Солидарности», поскольку подпольное руководство выразило ему недоверие. И будет выступать на всех симпозиумах и коллоквиумах, митингах и конференциях – и гласить то, чего от него ждут. А ведь это маленький человек – не то что Лев Зиновьевич Копелев, выпустивший в Германии уже, наверное, полное собрание своих сочинений, индивидуальных и в соавторстве с теми же «прогрессистами».

Но Лев Зиновьевич, полагаю, говорит то, что думает: если взгляды «искреннего» (или «истинного») коммуниста имеют такой успех – печально, но что поделаешь. Печальнее, когда люди, явно не страдающие (или давно отстрадавшие) левизной, считают нужным во что бы то ни стало угодить потенциальным левым союзникам. Эмигранты это делают из побуждений либо попросту низких, либо предаваясь иллюзиям по поводу поиска союзников – т. е. «для пользы дела». Этот второй мотив время от времени руководит и людьми, активно действующими на родине, в результате чего ноты «союза с западными левыми, и только левыми» звучат в высказываниях тех, кто давно понял обветшалость «право-левых» делений применительно к сопротивлению коммунистическому режиму. И тут «обратная связь» действует с еще большей силой. Левые и левацкие круги на Западе до сих пор обожают объявлять социалистическими и всю «Солидарность», и «Хартию-77», и, скажем, движение за свободные профсоюзы в СССР. Иногда они прямо подтасовывают, иногда сами верят в то, что говорят, но эмигрантская прагматическая демагогия и отдельные голоса (или хотя бы слова) «оттуда» помогают им и подтасовывать, и верить. «Довольно примитивные» (если воспользоваться определением Л. З. Копелева) – а на самом деле порой чисто эмоциональные, порой серьезнейшим образом обоснованные – антикоммунистические материалы, которыми так изобилует польская подпольная пресса, для западной печати практически как бы не существуют.

Я уже как-то писала, что нет у нас на Западе устойчивых союзников в виде политических партий в целом – что левые, что правые, все «любят» нас, находясь в оппозиции (чтобы, как колотушкой, бить нами тех, кто в их стране в настоящий момент у власти). Союзники же наши – обычно отдельные люди, неформальные группы, неполитические движения. Рональд Рейган – радостное исключение из этой концепции. Притом, кажется, исключение даже на фоне своей администрации, поскольку, когда помотришь внимательно, возникает впечатление, что там, на самых верхах государственной власти в США, он ведет свою линию чуть ли не в одиночестве (в особенности это ощутимо в вопросе о санкциях против режима Ярузельского: «реалполитики» изо всех сил добиваются отмены всех санкций – частично им это уже удалось, притом поддержкой и аргументом были вовремя полученные ими слова Валэнсы на этот счет).

«Мы голосуем за Рейгана!» – такие заголовки можно было встретить в польской подпольной прессе накануне его переизбрания. Так,

может быть, хватит уж хотя бы здесь, в эмиграции, «голосовать против Рейгана», присоединиться к хору люто ненавидящих его «прогрессистов». Может быть, стоит вспомнить, что если мы здесь, то лишь потому, что нам выпал лотерейный билет – ехать на запад, а не на восток, – вспомнить, что мы должники перед всеми, кто остался в малой и большой зоне, и не имеем права, вдохновенно гастролируя по Европам и Америкам, оплевывать их защитников и поддерживать ту идеологию, которая держит их за колючей проволокой, окружающей уже не одну шестую часть света.

Н. Горбаневская

ОТ РЕДАКЦИИ: Что же касается политической примитивности, то по этой части вряд ли кто из нас может конкурировать с Львом Копелевым.

Несломленная Польша на страницах «Русской мысли»

I

(Декабрь 1981 – декабрь 1982)

Сост. Наталья Горбаневская

Париж, 1984. Издание «Русской мысли». 276 стр. Цена 30 фр. фр.

Первый выпуск – первый год «польско-ярузельской войны»

Сжатое воспроизведение еженедельных обзоров польских событий, основные аналитические статьи, тексты из польской подпольной прессы.

Малый формат и тонкая бумага позволяют этой книге стать лучшим подарком для ваших друзей на родине.

Заказы направлять в редакцию:

La Pensée Russe, 217 rue Fb.-St. Honoré, 75008 Paris.

ГОРБАЧЕВ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если приход Горбачева к власти не дает оснований для отчаяния, то и особых поводов для радости тоже нет.

В настоящее время о Горбачеве известно немного. Но ясно одно: в этом человеке нет ничего оригинального или значительного, что отличало бы его от остальных советских руководителей, кроме его относительной молодости.

Но нельзя и сказать, что Горбачев настолько молод, чтобы не имел ранее времени и возможности так или иначе проявить нестандартный либо творческий склад ума. Ленин примерно в этом же возрасте имел на своем счету революцию и около 50 томов политических и теоретических работ. Сталин уже прочно держал власть в руках и проводил индустриализацию. Даже Хрущев (он, правда, был старше) достиг вершины власти, уже имея какую-то репутацию реформатора. А у всех западных лидеров в возрасте Горбачева практически уже была сложившаяся общественная репутация.

Не стоит тратить время на пустяки: чета Горбачевых обаятельна, они одеты по современной западной моде и т. п. Самое важное, особенно в политике, – содержание, а не форма. Горбачев принадлежит к новому поколению, а моды не обошли даже Советский Союз.

Похоже, что Горбачев не блещет идеями: в его биографии нет ничего особо примечательного. Он получил сельскохозяйственное и юридическое образование – между этими двумя областями нет почти ничего общего. Можно предположить, что в его интеллектуальных поисках были некоторые блуждания. Его быстрое возвышение типично для того, кто является прежде всего партаппаратчиком. Он, должно быть, обладал значительной изворотливостью, чтобы укрепиться в сложнейшем партийном аппарате и выстоять в ожесточенной борьбе за каждую новую ступеньку иерархической лестницы. У нас нет достаточных сведений о том, какую роль он сыграл в развитии сельского хозяйства СССР. Но, судя по плачевному состоянию этой области советской экономики, он вряд ли внес что-либо новое или полезное. Его предпоследнее назначение – на должность главного идеолога партии – свидетельствует о

его верности господствующей догме. Тот факт, что на высшую партийную должность его выдвинул Громыко, столп консерватизма и советского экспансионизма, может в каком-то смысле свидетельствовать о том, что Горбачев – человек, который скорее будет идти протоптанными дорогами, чем бросаться на поиски новых, неизведанных путей.

Горбачев, судя по тому, что о нем известно, – сторонник преемственности в политике. Реформы – да, но при сохранении статус кво.

Существующие в Советском Союзе условия еще не позволяют руководителю действовать смело и самостоятельно. Они ограничивали всех советских лидеров, будут они сковывать и Горбачева, который, при всей его практичности и изобретательности, все же не является настолько решительной и творческой личностью, чтобы предпринять радикальные изменения.

В отличие от других коммунистических стран, в СССР порядок тоталитарной и империалистической бюрократии твердо установился уже со времен Сталина. В действительности, существует несколько бюрократий – государственная, рабочая, крестьянская и культурная, и в каждой из них идейным ядром и ведущей силой является партийный аппарат. Эта бюрократическая система находится сегодня в трудном положении. Она всегда сталкивалась с трудностями, но сегодня неприятностей больше и они серьезнее, чем 10 лет назад. Необходима новая постиндустриальная революция, а Советский Союз не готов к ней ни социально, ни технически, ни организационно.

Превращение Советского Союза в постиндустриальное общество – это и первоочередной долг нового советского лидера, и его самое тяжелое бремя. Горбачев хорошо это знает, и сам заявил об этом, но из его слов нельзя заключить, отдает ли он себе отчет в том, что подобная задача требует и фундаментальных политических и социальных перемен. Эти перемены могут проводиться только в направлении демократизации: ослабление всевластия бюрократии и признание прав остального населения. Модернизация неразрывно связана с демократизацией. Она потребует замены бюрократических цепей, системы принуждения и монополии. Несомненно, Горбачев понимает необходимость и неизбежность модернизации. Но пока ничто не указывает на то, что он в самом деле

осознает существование связи между ограничением бюрократии и модернизацией. Из всего этого пока можно сделать такой вывод: Горбачев начнет процесс модернизации, но не сможет ни провести его полностью, ни осуществить те социальные и политические перемены, которых неизбежно потребует этот процесс. Скорее всего, Горбачев окажется временной фигурой. На самом деле, он больше преемник Андропова, чем пассивного и неподвижного Черненко. Андропов смотрел на действительность достаточно трезво, но даже он не понимал необходимости радикальных перемен. И даже такой бдительный и прагматичный человек, как Горбачев, натолкнется на сопротивление партийного аппарата, закостеневшего в привилегиях своего монопольного верховного положения.

Это сопротивление и трудности могут быть преодолены только путем реформ, которые – во всяком случае, вначале – не будут представлять опасности для партийных привилегий и монополии. Но основной вопрос: предпримет ли вообще Горбачев подобную попытку? Пока нет никаких доказательств того, что он понимает необходимость таких реформ или стремится провести их. Конечно, он будет настаивать на реформах, но не в ущерб «ведущей роли партии», т. е. монополии власти. Под его руководством Советский Союз, конечно, двинется по пути реформ, но обнаружатся и новые противоречия. При Горбачеве социальные различия станут глубже и острее. Господствующая идеология будет и дальше ослабевать – скорее распадаться, чем окаменевать.

Осложнения и трудности, вызванные постиндустриальными изменениями, вынудят Горбачева уделять больше внимания внешней политике. Тем не менее, это не заставит его поступиться интересами советской империи или отменить верховное положение партийной бюрократии. Его первой заботой в области международной политики будет защита «социалистического содружества», или, другими словами, усиление советского контроля над Восточной Европой. В лучшем случае, потребность в западной технологии может привести его к реализму и умеренности. С ним можно будет вести переговоры и даже приходиться к соглашениям на основе государственных интересов и сохранения равновесия между государствами. Строить отношения с СССР, исходя из каких-либо иных принципов, было бы иллюзией. Советская олигархия немедленно воспользуется случаем, чтобы извлечь свои выгоды.

Если оказывается, что не стоит возлагать чрезмерных надежд на Горбачева, то вряд ли можно связывать с его приходом к власти и какие-то особые опасения.

Все зависит, как всегда, от мудрости и силы.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловойская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка. В цену входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Запад – Восток

Эрнст Н е и з в е с т н ы й

ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ

СВОБОДА. Что это такое? Возможно, только пространство и время имеют такое же множество противоречивых толкований, как, казалось бы, простое слово СВОБОДА. Не было в истории ни одного политического или религиозного движения, не сделавшего одним из своих лозунгов свободу.

Из бесконечного ряда определений свободы рассмотрим два, только два.

Марксистское определение свободы как осознанной необходимости. И сразу возникает вопрос: о какой необходимости идет речь?

А вот понятное в своей наивности и не претендующее на мудрость объяснение из детского букваря «Сезам-стрит»: «Свобода – это возможность идти в ту сторону, куда ты хочешь». И главным вопросом становится: а куда ты хочешь?

Жизнь каждого отдельного человека сложна, огромна и загадочна. В нашу ограниченную телесную оболочку втиснуто неисчислимое количество устремлений.

ЧЕЛОВЕК СОТКАН ИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ.

* *
*

Свободно дышится солдату в строю. Общее дыхание, общее движение, общий ритм, общая цель. И только пыль, пыль от шагающих сапог.

СВОБОДА.

Сладкая свобода от ответственности. За тебя решено, куда тебе идти. И ты не одинок – ты часть устремленного к цели целого. И даже если ты спишь, ты вместе со всеми идешь к цели.

СОЛДАТ СПИТ, А СЛУЖБА ИДЕТ.

Свободно дышится американскому пионеру в прерии. Он может двигаться в любую сторону. Он может выбирать любую цель. Он может строить свою жизнь, как он хочет. Потому что все зависит только от него, от его ума, силы, ловкости и воли.

Он абсолютно свободен.

Но на нем лежит самое тяжелое – **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ СУДЬБЫ.**

И даже когда он спит, он ответственен.

* *
*

В каждом человеке борются стремление к спокойствию и инициативе. Желание жить спокойно – пусть в тюрьме, и стремление к безграничным просторам.

* *
*

Клаустрофобия и агорафобия попеременно меняются местами в душе каждого человека и ведут бесконечный диалог.

Именно эти изначальные свойства человеческой души являются фоном, а возможно, и основой разворачивающейся во времени драмы человеческой истории.

* *
*

Обладая возможностью на своей шкуре узнавать и сравнивать СССР и Америку, я говорю как существо, на котором ставится социальный эксперимент разного понимания свободы.

Не теоретические рассуждения, а практическое знание есть основа моих выводов.

Эпиграфом к ним я бы взял слова Ф. Гойи: «Я это видел».

* * *

*

В своей московской студии шесть часов я дискутировал с Жаном-Полем Сартром о понятии свободы.

Сартр, видимо, забыл, что возможность двигаться, куда ты хочешь, есть элементарная потребность человека и один из основных элементов свободы. Он говорил об абсолютном философском понятии свободы. Но в контексте моей жизни – и в контексте вообще жизни в Советском Союзе – слова Сартра звучали просто неприлично. Это выглядело примерно так же, как если бы я умирающему от голода индусу доказывал, что голод пройдет, если он осознает его необходимость.

В контексте моего опыта человеческая свобода – понятие относительное. Разные общества имеют разные степени свободы. Разные люди имеют разные степени свободы. Один человек, даже в течение одного дня, пребывает в разных степенях свободы. В тюрьме я обладаю одной степенью свободы. В армии – другая степень свободы. У солдата и офицера разные свободы. Я был советским скульптором и стал американским. И это всё разные уровни свободы.

* * *

*

В том, как человек говорит о свободе в контексте реальных обстоятельств, мы ясно видим его лицо. Потому что в определении свободы всегда заложен моральный аспект.

СВОБОДА ОТ ЧЕГО И ДЛЯ ЧЕГО?!

МОЦАРТ

Когда мы говорим о силе света, мы применяем понятие «ватты». Сколько ватт? Я бы предложил для определения уровня таланта ввести понятие «Моцарты».

Мы все рождаемся талантливыми. В каждом ребенке спит крупница Моцарта. Какое-то количество таланта. Какое? Это вопрос.

Представим эти таинственные потенции в виде нулей. В одном спит десять нулей, а в другом – один. Но если к нулю приписать единицу, а к десяти нулям ничего, то окажется, что

число 10 больше десяти нулей и даже больше бесконечного ряда нулей, не дающего единицу.

Потенция – творческая энергия, заложенная в нас. Это та внутренняя свобода, которую нам дал Бог.

Эта энергия стремится свободно излиться. Это духовный напор. Неумолимая жажда творить и познавать. Но эта врожденная, внутренняя, таинственная потенция может проявить себя только во внешнем реальном пространстве, отпущенном нам жизнью.

Единицу к нулям приписывают обстоятельства рождения. Где и когда ты родился? В какое время и в какой стране.

Когда я говорю о свободе, я говорю об этих обстоятельствах. Потому что свобода необходима для творчества.

Творчество есть счастливое сочетание внутренней свободы, данной талантом с внешней свободой, данной обществом.

ТВОРЧЕСТВО – ПРОДУКТ СВОБОДЫ

Любой человек, сталкивающийся с невозможностью проявить свою энергию, страдает. И чем одаренней человек, тем он больше страдает. Для некоторых людей возможность творить – самая важная жизненная потребность, часто она важнее самой жизни. Такие люди готовы умереть в борьбе за право творить.

ИСТОЧНИКИ НЕСВОБОДЫ

Современная культура есть соединение двух культур: греческой, гуманистической в возрожденческом смысле, и иудео-христианской, библейской.

Это двуединство мы ощущаем постоянно. И не только в рассуждениях философов, социальных институтах, законодательствах. Мы это ощущаем даже в отношении к самим себе, к своему Я телесному и духовному.

Драматическое взаимодействие двух начал: телесного (материального) и духовного – составляет основу искусства.

Со времен Макиавелли, сына Возрождения, и Бэкона, родоначальника философии нового времени, – стало притупляться наше внутреннее зрение. Онтология изгоняется из

Космоса, она изгоняется и из человеческого микрокосма. Вместо примата духовности устанавливается примат материальности. Философия, наука и искусство становятся не средством познания тайн бытия, а инструментом практического изъятия материальных благ из природы для насыщения человеческого тела-чрева.

Мы стараемся не замечать главного в воззрениях создателя науки нового времени, пророка ее, Ньютона, что вселенная не есть механизм, что материя постоянно испытывает воздействие других слоев бытия. Так же и художник отторгается от фундаментальных проблем и все более и более превращается в технолога, производящего товар. На Востоке – социалистический реализм, подчиненный идеологии и пропаганде. На Западе – гедонистический соцреализм, сенсуальный конформизм, подчиненный рынку.

Бегло посмотрим на эти два феномена, вырастающие из одного корня бездуховности.

Социализм – законное дитя идеологии бездуховности, – взяв лозунги гуманизма, громко прокламировал, что изменение материальных, экономических условий рассматривается и как база всецелого освобождения человека.

Именно поэтому русский художественный авангард прикнул к революции. Но ангел революционных свобод в России умер, и советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач, ее породивших.

УТОПИИ не получилось. Место просвещенного философа и народного представителя занял ограниченный пти-буржуа и распущенный люмпен-пролетарий.

Государственной машине не нужны стали революционеры, поэты и философы. Смелость, фантазия и ум стали отрицательными качествами. Угодничество, трусость, отсутствие инициативы – вот качества, которые стали ценными для государственной машины.

Сама механическая структура советского общества есть организованное стремление к смерти, к энтропии.

Монументально и строго иерархично кладбище советского искусства. В дорогих гробах-студиях помещены маршалы и генералы. В достаточно хороших – полковники и капитаны. В маленьких гробиках-студиях рядовые. Но каждый рядовой в гробике своей мечты хранит маршалский жезл. У всякого есть возможность стать маршалом. Надо только рас-

топтать в себе все живое, остатки таланта и быть готовым к покорности. И чем больше ты преуспеешь в этом, тем выше твое место в иерархии. В зависимости от званий распределяются блага: кому положена икра, кому мясо, кому курица, кому меховая шапка, кому ничего; чьей жене положено иметь противозачаточные пилюли, а чьей нельзя; кому можно смотреть иностранные фильмы, а кому нельзя; кому ехать за границу, а кому нет. Ехать за границу – это значит: ты получил награду за хорошее поведение.

Если смотреть со стороны на эту пирамидальную могилу, особенно если ты устал от активного западного соревнования, то может показаться, что советская действительность не так уж плоха.

История знала художника-жреца. Художника-философа. Художника-революционера. Художника-безумца. Соцреализм родил монстра, художника-чиновника. И это так же противоестественно, как пожарник-поджигатель или доктор-убийца.

Художник – член общества, правда, бюрократического. Ну и что же?! Все бюрократы, и он бюрократ. Власти гарантируют художнику работу. Он не одинок... Министерство культуры, союзы художников, художественные комбинаты целенаправленно работают с ним. Они выполняют указания ЦК партии и КГБ, где целые отделы заняты выработкой директив, инструкций, постановлений, направленных на руководство художниками. Даже в армии есть отдел, занятый искусством. Во всех республиках, во всех областях, во всех городах, во всех селах строго дублированы и повторены организации, занятые художником. Десятки тысяч бюрократов протирают штаны, надзирая за искусством.

Может ли представить себе человек, родившийся в Америке, чтобы президент страны, Конгресс, Сенат, Пентагон, ФБР и ЦРУ прекратили работать и поехали казнить Анди Ворхала?! Сюрреалистическая ситуация. Но это бывало не только в гротескные времена Хрущева. Достаточно вспомнить постановления ЦК и личные указания т. Сталина.

Но это не любовь к культуре. Советское министерство культуры имеет такое же отношение к культуре, как орвелловское министерство любви – к любви.

Всю эту машину построил страх.

Страх Бюрократа перед творческой силой Моцарта.

Это еще одно полицейское ведомство, созданное многоликим коллективом бюрократов Сальери, чтобы убить Моцарта в человеке, защитить материалистическую идеологию от онтологических основ, заложенных в искусстве. Борьба с искусством ведется последовательно и коварно, как и борьба с религией. В искусстве, как и в религии, идеология видит главного внутреннего врага. Для советских идеологов любое свободное искусство, как и вера в Бога, есть пятая колонна.

Борьбу с религией ведет социалистический атеизм, а с искусством – социалистический реализм.

СОЦРЕАЛИЗМ

Так называемая «теория соцреализма» проста до глупости. Советский художник в настоящем должен видеть ростки будущего, а поскольку будущее – коммунизм, оно прекрасно. Голодный изображается сытым, уродливый – красивым, несчастный – счастливым.

Это социалистическая часть учения.

Но поскольку ложь должна походить на правду, изображение должно быть реалистичным.

Социализм плюс реализм. Вот и получился социалистический реализм.

При Сталине соцреализм был вульгарным, провинциальным натурализмом, прославлявшим прекрасного сов. Вождя, прекрасного сов. Человека, прекрасную сов. Корову и прекрасную сов. Природу. Гладко, сладко и доступно. Но постепенно и эта примитивно пропагандистская потребность отпала.

Соцреализма как стиля в искусстве – не было и нет. Есть и были отдельные художники, писатели и музыканты, работавшие в разных манерах и стилях – от футуризма до реализма, которых советская власть затравила, убила, заставила покончить с собой или эмигрировать. И после смерти или прижизненной деградации обозвала соцреалистами. Обозвала потому, что соцреализму хотя бы для внешнего мира нужна видимость достижений. Но ни одного соцреалиста среди больших художников быть не может. Потому что основой соцреализма

является психологическое состояние, несовместимое с творчеством: покорность, искусство чего изволите.

Это лакейская готовность художника-бюрократа подчиниться любым требованиям бюрократа-функционера. Все должны быть как все. Если прикажут быть абстракционистами, все будут абстракционистами. И Академия художеств будет названа Академией художеств соцреалистического абстракционизма СССР.

Соцреализм – это не стиль искусства, это стиль поведения. Быть соцреалистом – это значит быть, как все бездарные. Бездарность стала эталоном. Потому что дарование предполагает персональность, а персональность выводит из строевого шага армии, идущей в никуда.

В современной советской культуре умер даже пафос пропаганды. Остались только негативные задачи. Эта псевдокультура создается, чтобы не было другой. Реальной культуры. Даже монумент Марксу ставится не для того, чтобы поражать воображение величию этого человека. Нет. Он ставится просто, чтобы занять пространство, чтобы на этом месте не было монумента какой-либо нежелательной персоны.

В СССР порой даже функционеры жалуются: «Что за пропаганда у нас такая серая...» Они бы, может, и не прочь, чтобы ярче и осмысленней. Но НЕ серая опасна, так как в не серой должен проявиться темперамент и воля художника.

Негативная функция порождает огромную армию людей, которых я назвал племя НЕ.

Эти люди поняли основную идею соцреализма. Негативный, а не созидательный смысл происходящего. Эти люди требуют от общества материальных благ и престижа не за то, что они создали, а за то, что они не создали ничего, т. е. не создали ничего ошибочного, т. е. ни разу не поступили плохо с точки зрения советской власти. Эти люди требуют вознаграждения за то, что они не проявили таланта, за то, что будучи безупречными, импотентными, они не опасны. Более ловкие и приспособленные из этого клана становятся критиками так называемой буржуазной идеологии и палачами всего талантливоего, появляющегося в советском искусстве.

Весь марксизм и вся советская школьная культура построены на принципах негативизма. Маркс весь вырос на негативизме. Он – мощный критик капиталистической систе-

мы своего времени. Но всякое позитивное начало устройства мира у него утопично. Это, в лучшем случае, политическая поэзия. В результате советские люди – мастера обвинений и разоблачений.

Советская философская наука – это, в основном, тома разоблачений о том, чего НЕ надо. Они мастера НЕ.

Это теория и практика великого НИЧЕГО.

СОЦРЕАЛИЗМ – ЭТО НЕ ИСКУССТВО

Когда мы говорим о стиле в искусстве, у нас возникает образ, знак, символ. Я произношу слово ГОТИКА, и вы мысленно вычерчиваете устремленную вытянутость в верх.

Архетип. Знак. Яркий признак существования стиля. Это обязательно не только для культуры, сложившейся во времени.

Различные направления сегодняшнего дня содержат яркие признаки узнаваемости: импрессионизм, абстракционизм, поп-арт.

Прошу вас сосредоточиться и представить себе соцреализм как целое – не как описываемое социальное явление, а как знак. Я убежден, вы не видите никакого образа, никакого символа. Потому что всякий символ есть знак чего-нибудь, образ какого-то бытия.

КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА

Теория и практика великого НИЧЕГО. Духовное небытие порождает скуку. Скучают все: чиновник-начальник, который заказывает работу; чиновник-художник, который ее выполняет; чиновник-функционер, который ее принимает. И, конечно, народ, для которого эта скука создана.

Скука стала своеобразной формой патриотизма. Общество погрузилось в скуку и апатию, и даже страх всех перед всеми не делает существование осмысленным. Но скука не может заменить естественную, врожденную потребность людей в духовной жизни.

СКУКА ПОРОЖДАЕТ ПРОТЕСТ

Мы зачастую не учитываем влияния скуки на историю. Именно застой, духовная затхлость обществ и институций породила как протест – взрывы духовной энергии.

Все лучшее уходило в катакомбы, создавая новую культуру. Более могучую, чем официальная. Более искреннюю. Более содержательную.

В российской действительности художник всегда брал на себя нравственную и философскую ответственность. Еще до появления в России философии в западном смысле слова было понятие «умозрение в красках». Эта традиция сохранилась и поныне.

Отцы русского авангарда форму рассматривали как продолжение метафизики, как путь к духовным высотам.

Очень часто на Западе возникает недоуменный вопрос о мессианских претензиях русских интеллектуалов. Совершенно ясно, что мессианство – не только российская черта. Но в таком чистом, законченном, а иногда и карикатурном виде – в России пророческих настроений художников было больше.

Когда бесправный не может получить ответ на свои вопросы от официальных институций, когда жаждущий духовного совершенства не доверяет официальным духовным пастырям, **ХУДОЖНИК БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ.**

Это было и в более либеральной царской России. Это тысячекратно усилилось сейчас.

Искусство становится не профессией, а служением высшим ценностям. **МИССИЕЙ. КРАСОТА МИР СПАСЕТ.**

Достоевский, начиная описывать «Униженных и оскорбленных», обнаруживает, что мало описывать, что куда бы ни ступил – белые пятна: этика, право, религиозные и нравственные проблемы. Его чуткой ранимой душе стали узки рамки просто профессиональной культуры. Он создал модель готического храма, в котором свои романы рассматривал как элементы, как части. Для того чтобы работать, он должен был создать свою этику, свою эстетику, свою социологию, свой микрокосм.

То же случилось с Толстым. Ему мало было быть писателем. Он стал создавать микрорелигию – толстовство.

Бюрократ знает эту тенденцию живой русской культуры и, как огня, ее боится.

Страх тех, кто живет запугиванием, становится больше, чем страх преследуемых. Катакомбная культура все больше и больше борется с официальной, иногда дерзко, а иногда – прикрываясь эзоповым языком, герметичностью текста.

Чиновнику снятся страшные сны: о заговоре неуправляемого искусства, о подтекстах. И этот кошмар чиновничьего сна породил профессию **СПЕЦИАЛИСТА ПО НЕУПРАВЛЯЕМОМУ ПОДТЕКСТУ**.

Ирония состоит в том, что если есть специалист по чему-нибудь, то должен появиться специалист по нему. А потом отдел специалистов по специалистам. А потом министерство специалистов. И так в геометрической прогрессии.

А в итоге этой чиновничьей логики, страна должна прекратить выращивать хлеб, производить металл и вообще работать – все должны следить друг за другом, чтобы выловить **НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДТЕКСТ**. И хотя в какой-то степени это происходит, но все же живая жизнь – это не английская детская баллада «Дом, который построил Джек». И где-то наступает критический предел, не подвластный чиновнику.

КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА ЖИВА, И ЗА НЕЙ БУДУЩЕЕ.

* *
*

Западным экономическим принципом является **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**. Культурным – **САМОРЕАЛИЗУЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ**. Но свободная личность, сталкиваясь со свободным и хорошо организованным рынком, часто терпит поражение. Рынок, исходя из экономической эффективности, поддерживает соцреализм, не коммунистический, а гедонистический соцреализм – **СЕНСУАЛЬНЫЙ, САЛОННЫЙ КОНФОРМИЗМ**.

Мещанин-потребитель хочет, чтобы художники его обслуживали, украшали его жизнь, побеждали его скуку или были объектом вклада денег. **ОТКУДА МЫ, КТО МЫ, КУДА МЫ ИДЕМ?** – перестает интересоваться человека, ставшего рыночной личностью.

Для художника же ставить эти вопросы вообще считается неприличным. Чем-то вроде нарушений правил хорошего тона. Современный художник, как и джентльмен, должен говорить только о пустяках. Существующий плюрализм формы, необъятное разнообразие стилей в современном искусстве не снимает проблемы. Если мерить большую массу современного искусства на фоне великих вопросов человеческой жизни, оно приближается к соцреализму по своей однородности и конформизму.

* *
*

Постиндустриальное общество. Общество джентльменов.

Общество, ориентированное на отдых, требует гедонистического искусства, так же как и массы, получившие хлеб и жаждущие зрелищ. Нувориши нового времени рассматривают художника как декоратора или клоуна.

Трагическую маску клоуна носили Пикассо, Дали, Дюшамб и другие. Мудрость под маской шута – древняя традиция. Они были провоцирующими и трагическими клоунами. Но вызывающая роль трагического клоуна, кажется, ушла в прошлое. Новое поколение клоунов комично. Они не провоцируют и воспитывают – они обслуживают. Хотя носят революционные маски. Это пуделя, постриженные под львов.

В чем причина конформизма искусства? В депрессивности общества, в проклятом отчуждении.

А может быть, в основу мировоззрения рынка и художника ложатся одни и те же ценности?

Человек создан для счастья, как птица для полета. Кто это сказал? Представитель эстетического бунта 60-х годов? Молодой поклонник чувственного Орфея, восставшего против трудолюбивого Прометея?

Нет, эти слова стали одним из основных лозунгов соцреализма. «Рай немедленно» – кто это сказал? Создатель соцреализма? Нет, это один из основных лозунгов эстетики бунта. Соцреализм и гедонизм объединяет то, что под счастьем понимается не духовное возвышение, а материальное обладание. И неважно, что в пестром движении новой культуры присут-

ствуют мистические мотивы раннего христианства, Тантры, буддизма. Персонажи космологического мифа освобождены от онтологии. Фрейдистская антропология, и естественный человек Руссо, и многое-многое другое заключают брак с марксизмом, т. е. с наиболее последовательным материализмом. Карнавал, массовое действие неврологической мистерии, психодрама – дело не новое, известное с глубокой древности.

И постепенно яркие и разнообразные костюмы собравшихся в толпу индивидуалистов чем-то начинают напоминать армию. Экстравагантные нарциссы уже не выглядят экстравагантно. Они становятся – как все.

Карнавал начинает приобретать институциональный характер. Ходили же организованные революционеры Французской революции в римских одеждах. А вот и «новый» лозунг. Найти политическую функцию искусства, которая не окажется консервативной. Так это же и есть лозунг, с которого начинался соцреализм. Круг замкнулся. Эстетический Орфей превращается в практического Прометея. А Прометей, как известно, умел хорошо считать.

**КУЛЬТ ОРГАЗМА И КУЛЬТ МАМОНЫ ПОДАЮТ
ДРУГ ДРУГУ РУКИ.**

* *
*

Современное искусство – это лучшее, что создано на протяжении XX века. Оно оказало мощное влияние на лицо нашего времени, на образ мышления людей. Через массовую культуру влияние и популярность художников достигли небывалых в истории размеров.

Но, как это часто бывает, победитель оказывается побежден своим же оружием. Новое, ставшее целью, становится врагом нового искусства. Новому придается рыночный смысл. Технологические понятия, правильные для оценки машины, применяются для оценки духовной человеческой активности. Новое стало означать лучшее. Новые машины, новый телевизор. Лежащему на новой софе необходимо новое искусство. И торговцами создается новый гений. Совсем свежий. Гений последних 15-ти минут. Заказанный бунт упаковывается в цел-

лофановые обложки модных журналов. Дозируется и продается как фармацевтические средства: для расслабления, половой активности, сна. Но рынок чуток и динамичен. Он моментально реагирует на любые изменения вкуса потребителя. Здесь, как нигде, отработано взаимодействие прямой и обратной связи. Времена меняются. «Радикальных детей либеральных отцов» начинают заменять «консервативные дети радикальных родителей». Появляется тоска по устойчивым ценностям. И рынок сам возвращает нам имена художников, имевших мужество выстоять перед напором моды.

У свободного рынка нет идеологической задачи убить Моцарта. В СССР убийство творческой потенции в человеке исходит из практических основ социализма. На Западе сам художник проникается рыночной психологией. Для имеющего мужество остаться одиноким рынок не страшен. Дело рынка – торговать, дело идеолога – растлевать, дело художника – расти в себе талант, дарованный Богом.

Вышла в свет книга Беур Бриа «МЕССИЯ», представляющая собой Божественное откровение, написанное автором на основе Торы (Книги Моисея) под воздействием Бога в течение шести лет (1979–1984). Это Божественное откровение есть Мессия, явившийся в настоящее время.

В откровении «Мессия» раскрыто: понятие сотворения Богом земного мира (согласующееся с наукой), частичное вмешательство Бога в развитие человечества с предопределённой ролью в этом евреев, будущее человечества с дальнейшей судьбой еврейского народа и государства Израиль.

Цена книги: 12 долларов (в Израиле 10 долларов). Заказывать по адресу: А. Ведрицкий, Вох 28065, Тель-Авив, Израиль.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Александр Х а х у л и н

УМЕРЩВЛЕНИЕ ТАЛАНТА

Молодой армянский живописец Карпет Саносян был арестован за то, что показывал друзьям и знакомым свои картины, недозволенные цензурой. За такое «преступление» ему дали двадцать пять лет заключения в лагерях особого режима.

Впервые я встретился с ним в Братском лазарете, принадлежащем особлагу «Озерный». Два дюжих санитаров внесли его в зону лазарета на носилках. Он был кожа да кости, а отбыл тогда только первую половину своего срока.

Начальствовал в Братском лазарете в ту пору майор Шамота. Он сам немного занимался живописью и потому благоволил к художникам. Когда Саносян немного оправился, Шамота оставил его в лазарете на неопределенное время под видом больного и оборудовал ему небольшую мастерскую в пустовавшей сушилке для одежды. После тринадцати лет страданий в лагерях, в том числе и страданий от того, что он не имел возможности заниматься любимым искусством, Саносян наконец получил в свое распоряжение кисти и краски и хотя совсем крошечную, но все же отдельную и хорошо освещенную мастерскую. Он, помню, тогда весь светился счастьем и за работу взялся с неудержимостью.

Первой его картиной в лазарете было большое полотно размером два на три метра, которую он назвал «В морге». Тема произведения была явно не советской, но администрация лазарета, привыкшая к моргу как ко всему другому необходимому и повседневному, сочла тему картины обиденной и будничной. Воплощение ее художнику весьма удалось. На фоне целой горы трупов, наваленных как попало один на другой, художник изобразил стол, крышка которого блестела оцинкованной обивкой, и на столе, среди лужи крови, распотрошенный труп молоденького зэка. Потрошитель держит в руках сердце умершего и разрезает его. А вокруг кагебисты в белых халатах с тупыми безразличными лицами и среди них сам майор Шамота. Художник «схватил» выражение лица и осо-

бенно глаз Шамоты так точно, что портретное сходство было необыкновенно и удивительно. Шеф лазарета был в восхищении от работы художника и повесил картину в своем кабинете, по совету Саносяна, на глухую стену, против двух больших квадратных окон. Когда нас зачем-либо вызывали в этот кабинет, мы поражались мастерству нашего товарища. Казалось, что в том месте, где висит картина, в стене провал и в том провале – кусочек морга, не нарисованного, а настоящего, таким каким он был, с его трупами и потрошителями трупов.

Заместителем Шамоты был капитан Гаспарян. Для его кабинета Саносян написал полотно, которое назвал «Бабы». Но никаких баб на картине не было. Была изображена камера в тюрьме для мужчин-уголовников. Все они – у приподнятого к самому потолку зарешеченного окна камеры. Во двор тюрьмы пригнали этап женщин. Уголовники смотрят на них в окно. И выражения лиц наблюдателей таковы, что становится совершенно ясно, что истосковавшиеся по женскому полу мужчины действительно видят «баб».

Картина была под стать репинской, на которой запорожцы пишут письмо турецкому султану. То же разнообразие характеров, живых и полных, вот только одежда на людях не так пестра, как у Репина.

Когда мы смотрели картину «Бабы», то аналогия с картиной Репина напрашивалась сама собой. Да и писал Саносян почти как Репин: такие же длинные, по метру и больше, кисти, такие же крупные, но точные и нежные мазки...

В мою бытность в лазарете художник написал и свою последнюю картину, которая стала для его судьбы роковой. Из-за нее он был выдворен из лазарета, и опять надолго, а может быть, и навсегда лишили его кистей и красок и окончательно казнили в нем самобытного талантливоего художника.

История этого последнего его полотна таково: майор Шамота просил его нарисовать картину, на которой был бы изображен Ленин. Саносян согласился и нарисовал такую картину. Он назвал ее «Ленин» в угоду Шамоте. Более правильно было бы назвать ее «Мать-Родина». Но и название «Ленин» было очень сильным. Этим названием картина и художник как бы казнили весь коммунистический режим, ставя его к позорному столбу истории. Картина была двухметровой высоты и полутораметровой ширины. Мать-Родина была изображена красивой женщиной с простонародным русским лицом, в жи-

вом красочном народном убранстве. Брови ее сурово сдвинуты, в гневных глазах, в каждой морщинке лица непостижимая внутренняя, почти богатырская сила и бесконечная печаль. Она вытянула вперед руку, собрав ладонь и пальцы ковшиком, и в этом ковшике – маленький, меньше дюймовочки, уродец, удивительно похожий на Ленина. В его широкоскулом лице было что-то калмыцкое и монгольское и ничего русского. Уродец держит в руке пистолет, направляя его прямо в высокий и открытый лоб величественной Матери-Родине.

Несмотря на маленький размер лица и совсем крошечные глаза, Саносян четко прорисовал их выражение. Они выражали одновременно и хитрость, и страх, и полнейшую беззащитность.

Уродец грозит Матери-Родине пистолетом, но так и кажется, что Великая Мать-Родина вот-вот соберет пальцы свои в кулак и под ними хрустнут кости – и нет его угроз.

Однажды утром Саносян установил эту картину в столовой между двумя раздаточными окнами. Картина была в изумительной, ручной работы раме, изготовленной бригадиром столярного цеха чудесным мастером-резчиком Григорием Чапаевым, родственником полуграмотного, незаслуженно прославленного идола гражданской войны В. И. Чапаева. Освещение картины было сделано по замыслу художника электриком Хакимом Шаиповым, татаринном из Крыма.

Получая в свои котелки баланду и в крышки котелков чуть более густую, чем баланда, кашу, заключенные отходили от раздаточных окон и со стороны подолгу любовались картиной, пока надзиратели не гнали их в шею на работу.

На беду в тот же день, когда в столовой была вывешена картина «Ленин», в лазарет прибыл для проведения своих черных дел начальник оперчекслужбы управления лагеря подполковник Казанков. Войдя в столовую и увидев картину, он остановился на середине зала и долго глядел на полотно, пораженный величием мастерства художника, потом, верный своему долгу уничтожения всего прекрасного, вынул из кармана большой складной нож и, подойдя к картине вплотную, разрезал ее крест-накрест.

В тот же день позади столовой был разведен костер и огонь уничтожил и «Мать-Родину», и «В морге», и «Бабы», и многочисленные эскизы художника для разоблачительной картины «Сталин». Он хотел изобразить молодого Сталина в

момент ограбления им почтовой кареты в центре Тифлиса, среди бела дня. На одном из эскизов Сталин был изображен на крыше одного из домов, бросающим в охрану кареты вторую бомбу – первая уже поразила охранников, едущих впереди кареты... Были отобраны и сожжены все кисти и краски, выданные ему Шамотой...

Саносян с разрешения Шамоты носил длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Черные и густые, они были похожи на огромную, выкрашенную львиную гриву. По распоряжению Казанкова, его немедленно постригли под машинку и прямо из парикмахерской увели в ШИЗО. Посадили в ШИЗО и бригадира Чапаева за изготовление рамы к картине, и электрика Шаипова за устройство освещения. Всех троих потом отправили неизвестно куда.

Когда их вели из ШИЗО на вахту, для отправки на этап, Саносян рыдал. Смерть его картин была для него тяжелее его физической смерти.

После мы узнали, что художника вновь судили. Лагерный суд был коротким – подсудимый вновь был приговорен к двадцати пяти годам лагерей строгого режима. Отбытая половина срока стала не в счет. С новым сроком его отправили в Магадан на рудоразработки.

Посчастливилось мне встретиться с Саносяном вторично после хрущевской оттепели в Усть-Куте. В Усть-Кут, в ссылку, он приехал без одного глаза, другим видел плохо и носил затененные очки. Но каким-то чудом он мог еще рисовать и устроился на работу художником в городской дом культуры. Однажды, когда я зашел к нему в его мастерскую при доме культуры, он набросал с меня на клочке ватмана карандашный портрет, который я храню как самую дорогую память о своем талантливом друге, незаурядный талант которого умертвил ГУЛаг. Месяца через два после того он умер. Похоронили мы его там, где он завещал, уже чувствуя, что часы его жизни сочтены, – в дальнем правом углу Усть-Кутского кладбища, за густой куртиной старых лиственниц, под молоденькой, шумящей листьями березкой, которая и стала для него своеобразным живым памятником. На другой, из гранита или даже из дешевого бетона, у нас, хоронивших его, средств не было.

Маленький и простенький мой портретик, нарисованный Саносяном, – пожалуй, единственное, что осталось от его произведений.

Истоки

Михаил Линецкий

КАРЛ МАРКС И ЕВРЕИ

1. Формирование отношения Маркса к еврейскому народу. Его личные связи с евреями.

Карл Маркс^{1*} (1818 – 1883) родился в небольшом рейнском городе Трире. Его отец и мать происходили из старинных раввинских семей. В доме, где Маркс появился на свет, на Брюккенштрассе, 10, висит таблица с генеалогическим древом его рода, восходящего к XV в.²

Дед К. Маркса – Маркс-Леви, отбросивший к концу жизни вторую часть фамилии, был раввином в Трире до самой своей смерти в 1789 г.; бабка – Ева Мозес Львов (1737 – 1823) имела в числе своих предков таких выдающихся талмудических ученых, как Мейер Катценэлленбоген (ум. в 1556 г.), Иосиф бен Герсон га Коген (ум. 1591 г.) и Иошуа Гиршель Львов (1693 – 1771)³.

Среди многочисленных детей Маркса-Леви и Евы Мозес способностями и образованностью выделялись двое – Самуил и Гиршель. Первый по стопам отца стал раввином в Трире; второй, пройдя курс юридических наук, занял в родном городе должность адвоката, а затем – советника юстиции. Он женился на Генриетте Пресбург (Пресборк), голландской еврейке. Эта женщина, хоть и происходила из семьи знаменитых раввинов, была малообразованной, ее интересы замыкались домашним кругом, и она не пользовалась большим уважением собственных детей⁴.

Гиршель Маркс (1777 – 1838), отец Карла Маркса, получил обширное европейское образование, хорошо знал немецкую и французскую литературу и философию. Он причислял себя к либеральным кругам, воспитанным на Руссо и Вольте-

Печатается с любезного разрешения Еврейского университета в Иерусалиме.

* Примечания – в конце текста.

ре. Одно время за «крамольную», но в действительности довольно невинную речь в пользу умеренно-конституционного строя Гиршель Маркс находился под наблюдением полиции. Он не был атеистом, но чтение Вольтера наложило на его отношение к религии печать некоторого вольнодумства. Ф. Меринг с удовлетворением отметил, что в его письмах сыну Карлу «нет и следа особенностей или недостатков еврейского национального характера»⁶. И действительно, они написаны в стиле немецкого эпистолярного жанра ХУІІІ в., то есть многословны и сентиментальны.

Г. Маркс тяготился своим еврейством; его любимым государственным деятелем был Фридрих ІІ, который, как известно, подвергал изощренному гнету основную массу еврейского населения Пруссии, что дало основание французскому революционному деятелю Мирабо охарактеризовать его законы о евреях как «достойные каннибала»⁷. Наполеона же, облегчившего участь евреев в Германии, Г. Маркс ненавидел. Но либеральные идеи Великого Синедрiona, всемирного еврейского центра, который безуспешно пытался создать Наполеон с целью распространить свою власть на евреев всех стран, все же нашли в семье Марксов положительный отклик, как это показал историк из ФРГ А. Раух.

В 1819 г. Гиршель Маркс принял лютеранство⁸ и стал называться Генрихом. Однако его жена, а также многочисленные дети продолжали исповедовать иудаизм. 26 августа 1824 г. Генрих Маркс крестил своих детей – Софию, Карла, Германа, Генриетту, Луизу, Эмилию и Каролину. 20 ноября 1825 г. перешла в христианство и их мать Генриетта⁹.

Крещение отца оказало на мировоззрение и на всю жизнь К. Маркса огромное влияние и предопределило его отношение к евреям и еврейскому вопросу.

Авторы апологетических биографий К. Маркса не случайно уделяют этому событию большое внимание, пытаясь объяснить его причины. При этом основной упор нередко делался на то, что иудаизм и еврейская культура якобы не могли удовлетворить просвещенного Гиршеля из-за их отсталости.

По Мерингу, Корню¹⁰ и др., отец К. Маркса – образованный выкрест, представлял в Германии того времени едва ли не исключение среди прочих евреев. В действительности, в конце ХVІІІ – начале ХІХ в. немалая часть немецких евреев отлича-

лась прогрессивными и радикальными взглядами. Маленькая немецко-еврейская община, насчитывавшая не более нескольких десятков тысяч человек, выдвинула в то время, помимо М. Мендельсона, крупного и оригинального мыслителя С. Маймона, писателей Г. Вессели, И. Эйхеля, Ш. Когена, М. Бера и других деятелей немецкой и еврейских культур. По словам французского историка Э. Дени, светский тон в Берлине задавали «прекрасные еврейки... Генриетта Герц, Рахиль Левин, Полина Визель»¹¹. В салоне образованнейшей женщины Германии, Генриетты Герц (1764 – 1847), имевшей обширные познания в литературе и философии, владевшей множеством европейских и восточных языков и издавшей большое количество своих переводов, были сосредоточены лучшие культурные силы Европы и Германии. Здесь часто бывали А. Гумбольдт, Шиллер, мадам де Сталь, Мирабо, затем – Шлейермахер и Берне, «просвещенный» принц Луи-Фердинанд и др.

В том, что жизнь «христианской» Германии не могла служить для Гиршеля Маркса образцом высокой культуры, нетрудно убедиться, если вспомнить, что представляла собой его родина – город Трир. Этот некогда прославленный центр, построенный римскими легионерами, находился в состоянии упадка, и лишь его античные руины да средневековые церкви могли вызвать интерес путешественника. В первой четверти XIX в. – время рождения и детства К. Маркса – город насчитывал около 12 тыс. жителей. Его узкие улицы кишели собаками, свиней резали прямо на тротуарах, нечистоты выбрасывались из окон домов и издавали зловоние. Толпы нищих и бродяг составляли около четверти населения Трира. Городские власти приказали, из-за хронической нехватки зерна, печь хлеб только из смеси картофеля и древесной муки. Большая часть населения постоянно голодала – пищей служили и кормовая трава, и кожура мороженого картофеля, и волчье мясо¹². В этой клоаке еврейская семья Марксов была едва ли не самой просвещенной – факт, сам по себе достаточно красноречиво свидетельствующий против утверждений биографов К. Маркса о «еврейской отсталости».

В числе причин, побудивших Гиршеля Маркса креститься, иногда указывается на то, что он не хотел иметь ничего общего с народом столь низкой нравственности, как евреи. «Возможно, – пишет Меринг, – что и некоторые внешние

обстоятельства обусловили собой если не самый переход, то время, когда он свершился. Скупка евреями поместий и земель, чрезвычайно усилившаяся в двадцатые годы, в период кризиса в сельском хозяйстве, вызвала в Рейнской провинции сильную ненависть к евреям. Человек столь безупречной честности, как Маркс, не только не считал нужным подвергаться этой ненависти, но даже полагал, что не имеет на это права из-за своих детей»¹³. Однако Меринг сильно преувеличил размеры «скупки» евреями земель, так как в XIX в. в Западной Европе, не говоря уже о Восточной, имелись считанные евреи, владевшие значительными имениями¹⁴. Лишь ничтожной кучке рейнских евреев было по карману приобретение крупных земельных участков даже во время аграрных кризисов. Отказываться от иудаизма на том основании, что группа евреев скупила у разорившихся помещиков землю, было бы так же странно, как, например, немцам отказываться от христианства и германства из-за того, что такой-то барон купил у другого барона такое-то имение или граф Н. округлил свое поместье за счет соседей.

«А может быть, – развивает свои догадки о причинах крещения Гиршеля Ф. Меринг, – тут сыграла роль и смерть его матери. Она умерла как раз в то время, освободив его от необходимости блюсти тот пietet по отношению к родителям, который вполне соответствовал его характеру»¹⁵. Но тут уместно вспомнить, что Ева Мозес Львов умерла в 1823 г., а Гиршель крестился на четыре года раньше, в 1819 году...

Таким образом, попытки объяснить крещение Гиршеля Маркса какими-то идейными или моральными соображениями не выдерживают критики. Действительная причина перехода части немецко-еврейской интеллигенции в христианство в начале XIX в. заключается в следующем. Под влиянием просветительских идей, распространенных Моисеем Мендельсоном, евреи в Германии со второй половины XVIII в. ринулись в европейскую культуру. Но если сам Мендельсон оставался убежденным иудаистом, то некоторые его последователи, низкопоклонствуя перед всем немецким, стали третировать иудаизм и все еврейское духовное наследие. Со временем они превратились в типичных сторонников ассимиляции, а от ассимиляторства до крещения оставался только один шаг. Просвещенные немецкие евреи, за малым исключением, крестились не из-за того, что были убеждены в превосходстве христиан-

ства, а главным образом для того, чтобы избавиться от неравноправия и унижений. Многие из них хотели получить сами или дать своим детям образование в немецких университетах, которые были закрыты для некрещеных евреев. Генрих Гейне с горькой иронией писал, что крещение являлось в Германии «входным билетом» в европейскую культуру. Г. Маркс был одним из тех, кто переменял веру, чтобы получить этот «билет». Недавно Р. Лауфнер, директор городской библиотеки в Трире, обнаружил документы, окончательно опровергающие утверждение Ф. Меринга и др. о том, что Г. Маркс якобы считал лютеранство более «совершенной» религией, чем иудаизм. Выяснилось, что отец К. Маркса крестился исключительно из житейских, а отнюдь не из религиозных соображений¹⁶.

Но немцы, хоть и предоставляли крещеным евреям некоторые права, все же относились к ним с подозрением и неприязнью. Над теми выкрестами, которые фактически, а не формально порвали с иудаизмом, постоянно тяготели моральная опустошенность и озлобление, так как от евреев они отстали, а к немцам не пристали.

К чести Г. Маркса, в отличие от многих других выкрестов, он не прекратил отношений ни с родственниками, оставшимися в прежней вере, ни с еврейской общиной Трира. Он даже помогал ей улаживать финансовые трудности. В семье Марксов лояльно относились к еврейским традициям и обычаям. Современные западногерманские исследователи (Р. Лауфнер, А. Раух, Г. Монц) делают на этом основании вывод о влиянии иудаизма на мировоззрение К. Маркса, что нам кажется совершенно неверным. Чисто внешнее знакомство с иудейскими обрядами без проникновения в их глубинный смысл, без знакомства с еврейской литературой и философией могло только оттолкнуть юного Карла от религии предков. В трирской гимназии, где Карл учился с 1830 по 1835 гг., он мог получить лишь поверхностные и юдофобски искаженные представления о евреях и еще сильнее укоренить в себе предубеждение, что вся еврейская культура сводится якобы к внешним обрядам. Правда, в учебную программу гимназии, помимо латинского, греческого, немецкого и французского, входил также и древнееврейский язык. Его вел Шнееман, человек независимых взглядов, один из лучших преподавателей гимназии. Однако Карл Маркс не испытывал желания изучать язык Библии, а так как

в гимназии знания учащихся вообще контролировались очень плохо, он сумел закончить ее, почти ничему не научившись у Шнеемана¹⁷.

Гимназист Маркс, в общем, следовал официальной «христианской» идеологии, насаждавшейся прусским государством. Последняя была проникнута антииудейским духом. Сохранилось одно сочинение К. Маркса, которое он написал в 1935 г., в возрасте 17 лет. Оно называлось: «Единение верующих с Христом по Евангелию от Иоанна, гл. 15, ст. 1-14, его сущность, безусловная необходимость и оказанное им влияние». В нем доказывалось, что христианское учение о добродетелях восходит к Платону, стоикам и эпикурейцам и не упоминалось об иудейских истоках христианской морали¹⁸.

Осенью 1836 г. К. Маркс поступил в Берлинский университет. Здесь единственным профессором, оказавшим влияние на формирование его мировоззрения, был выкрест Эдуард Ганс (1798 – 1839), читавший курс уголовного и прусского государственного права¹⁹. Он приобрел большую популярность своими трудами, в которых выступил против господствовавшей в то время «исторической» школы права и создал новый подход к юриспруденции на основе гегельянства, а также тем, что подготовил к печати, отредактировал и дополнял за счет записей слушателей лекции Гегеля по философии права и философии истории. Эдуард Ганс в молодости был основателем и главой еврейской просветительной организации «Культурное и научное еврейское объединение», к которой примыкали Генрих Гейне и «отец» новой еврейской историографии Цунц. Но, прельстившись университетской карьерой, Ганс оставил еврейских просветителей и крестился. Гейне сурово осудил этот поступок как акт предательства и не раз вспоминал о Гансе с презрением. «Отступничество Ганса, – писал он, – было тем противнее, что он играл роль агитатора и принял на себя некоторые предводительские обязанности»²⁰. Правда, Гейне и сам позднее вынужден был креститься, но, в отличие от Ганса, он рассматривал крещение лишь как навязанную формальность.

Э. Ганс был для молодого Маркса крупнейшим авторитетом в области права. Хотя Маркс никогда не придавал значения ни ученой карьере, ни связанному с ней материальному благополучию, все же популярность Ганса могла служить для него иллюстрацией того, что и перед евреем не полностью

захлопнуты двери в германскую науку, если он порвал с иудаизмом.

В апреле – августе 1839 г. Маркс посещал лекции об Исаее своего старшего друга, антисемитского «интеллектуала» Бруно Бауэра²¹. Бауэр сумел исказить и принизить в глазах Маркса одного из самых гениальных творцов духовного наследия еврейского народа. Имя Исаи не упоминается в сочинениях Маркса. Изучение трудов Л. Фейербаха и других немецких философов, большей частью закоренелых юдофобов, усилило его предубеждение против евреев.

Причиной, еще более обострившей юдофобство К. Маркса, возможно, послужил разлад отношений с родственниками с отцовской стороны, остававшимися в еврейской вере. Летом 1842 г. один из них умер. 24-летний Карл отправился в Трир, чтобы принять участие, по словам биографа, «в семейных дразгах на почве материальных отношений»²². С тех пор Маркс относился к подавляющему большинству своих родственников-иудаистов холодно или даже враждебно. Лишь спустя много лет, приблизительно с конца 50-х гг., он сблизился с некоторыми из них со стороны матери, и в первую очередь с дядей Филипсом, жившим в Голландии. Это произошло, по видимому, не без меркантильных расчетов, с целью получить материальную помощь, которая и была ему оказана в значительных размерах. Сам Маркс шутливо назвал свою поездку в Голландию в 1859 г., к дяде Филипсу, «разбойничьим налетом»²³. Но даже материальная поддержка «своих» евреев не поколебала юдофобии К. Маркса. Тем меньше у него оставалось оснований для симпатий «чужим» евреям.

На рубеже 30-х и 40-х годов Маркс все больше проникается идеями социального равенства и уничтожения классового гнета. Сочетание коммунизма и юдофобства иногда ставило молодого Маркса в довольно щекотливое положение. В марте 1843 г., когда он находился в Кёльне, к нему зашел старшина местной еврейской общины и попросил написать петицию в ландтаг с просьбой облегчить юридическое положение евреев. Маркс заколебался: отказать в этой просьбе или выполнить ее? Он склонился к последнему, но не из сочувствия к евреям, а из прагматических соображений борьбы с существующим режимом. Сообщая об этом эпизоде своему другу и единомышленнику Арнольду Руге (злбному юдофобу)²⁴, Маркс писал: «Как мне ни противна израильская вера,

но... надо пробить в христианском государстве столько брешей, сколько возможно... По крайней мере, это надо попытаться сделать, а *ожесточение* (курсив К. Маркса) растет с каждой петицией, которую грубо отклоняют»²⁵.

К сожалению, текст этой петиции, по-видимому, до нашего времени не дошел. В том же году К. Маркс написал юдофобскую статью (или, точнее, две статьи) «К еврейскому вопросу», о которой подробнее будет сказано ниже. Было бы интересно сопоставить ее с петицией, написанной по просьбе кельнской общины.

В ходе своей литературной и общественно-политической деятельности К. Марксу приходилось поддерживать связи со многими евреями, участниками демократического и социалистического движений. Отношение их к своему народу отличалось нередко сложностью и противоречивостью, чего нельзя сказать о К. Марксе, испытывавшем к единоплеменникам устойчивое чувство неприязни. К числу наиболее выдающихся евреев – знакомых и друзей К. Маркса – принадлежали Моисей (Мозес) Гесс и Генрих Гейне.

С видным социалистом М. Гессом (1812 – 1875) Маркс сотрудничал в самом начале своей публицистической деятельности, в газете «Райнише цайтунг». Более старший и опытный Гесс оказал на молодого журналиста заметное идейное влияние. «Статья Гесса о сущности денег, – отмечает, в частности, О. Корню, – побудила Маркса в то время уяснить себе роль денег и полнее обосновать свою точку зрения на те вопросы, которых он касался в статье „К еврейскому вопросу“»²⁶.

Первоначально взгляды Маркса и Гесса на «еврейский вопрос» во многом совпадали. И тот, и другой стояли на ассимиляторских позициях. Гесс, однако, не разделял юдофобства Бруно Бауэра и Людвиг Фейербаха. Он полагал, что ассимиляция евреев может осуществиться только тогда, когда они получают полное равноправие и будут преодолены ненависть и презрение к ним, порожденные предрассудками. В дальнейшем Маркс и Гесс по отношению к евреям пришли к противоположным взглядам. Маркс до конца жизни оставался юдофобом; Гесс же превратился в одного из первых идеологов еврейского национально-освободительного движения. В 1862 г. вышла в свет его книга «Рим и Иерусалим», в которой он выступил как предшественник политического сионизма. К этому времени от ассимиляторских увлечений Гесса не оста-

лось и следа. «Еврейский народ, – писал он, – не есть религиозная группа, а отдельная нация, и современный еврей, отрицающий свою принадлежность к этой национальности, является не только апостатом, религиозным отщепенцем, но и изменником по отношению к своему народу»²⁷. Книга М. Гесса вышла в самый разгар ассимиляторских настроений среди еврейства; еврейские образованные круги встретили ее снисходительно или враждебно, а неевреи обошли ее молчанием. Нет указаний на то, что Маркс читал ее или даже просто знал о ее существовании.

В соответствии со взглядами Гесса, Маркс должен был считаться «изменником» своего народа, однако это не помешало Гессу относиться к нему с восхищением и оценить его как «величайшего, быть может, единственного теперь подлинного философа...; глубокая философская серьезность сочетается у него с редкостным остроумием; представь себе Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля, объединенных в одном лице... и перед тобой будет д-р Маркс»²⁸. Маркс отвечал на эти восторженные чувства плохо скрытой неприязнью, но все же воздерживался от того, чтобы называть Гесса прозвищами, оскорбляющими национальное достоинство. Лишь одно высказывание Маркса о Гессе можно воспринять как юдофобский намек. «Этот еврей Хорн (критик Международного товарищества рабочих. – М. Л.), – писал Маркс Энгельсу в феврале 1865 г., – скоро почувствует, что, кроме Мозеса Гесса, есть еще и другие немцы»²⁹.

В 1843 г., находясь в Париже, К. Маркс познакомился с великим Генрихом Гейне (1797 – 1856). К тому времени Гейне, в основном, сформировался как поэт социалистического направления, и он с готовностью откликнулся на приглашение Маркса сотрудничать в радикальной прессе, в том числе в «Нойе райнише цайтунг». Личные контакты Гейне с Марксом длились недолго, так как Маркс в 1845 г. был выслан из Парижа, где поэт жил с 1831 г. до самой смерти. Но переписка их продолжалась. Маркс оказал Гейне по его просьбе некоторые услуги, например, в сентябре 1845 года проследил за ходом публикации заключительных глав поэмы «Зимняя сказка». Он подарил Гейне экземпляр своей книги «Святое семейство» и, в свою очередь, просил прислать ему какие-то материалы.

Поль Лафарг в своих «Воспоминаниях о Марксе» заметил, что «неумолимый сатирик Гейне побаивался иронии Маркса»³⁰.

Но каково бы ни было отношение Маркса к национальному происхождению Гейне, он безусловно считал поэта гением немецкой литературы, тогда как сам Гейне всю жизнь переживал драматическую раздвоенность между Германией, которую горячо любил, и родным народом, находившимся под жестоким немецким гнетом. На своем жизненном пути Гейне не раз стоял на перепутье: в молодости он формально крестился, но в душе оставался подлинным мараном, верным высокому древнему духу своего народа; позднее критиковал еврейских ретроградов так же остро, как и немецких, но у смертного порога, оценив европейские и еврейские духовные ценности, он окончательно склонился к последним. В своих «Признаниях», которые были его завещанием, Гейне писал: «Как о Создателе, так и о Его создании, евреях, я никогда не говорил с достаточным уважением, и тоже, конечно, из-за моей эллинской натуры, которую отталкивал иудейский аскетизм. С той поры уменьшилось мое пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, могучими, непреклонными мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше ценить их, и если бы всякая гордость происхождением не была дурацкой несообразностью в борце за революцию и ее демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он – отпрыск тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли»³¹.

Впрочем, немцы приложили слишком много усилий и для того, чтобы «забыть» даже Гейне, которому они во многом обязаны своим престижем. В годы гитлеровского рейха имя великого поэта было осыпано потоком злобных, безумных и бессильных проклятий, а книги его беспощадно уничтожались. В современной Германии Гейне ценится также далеко не по достоинству, потому что он еврей, а не немец. Такова участь многих великих сынов еврейского народа в диаспоре, сеявших в холодную почву драгоценные зерна своего гения...

К. Маркс употреблял слово «еврей» почти всегда с недоброжелательным оттенком. В переписке с неевреями он редко упускал случай оскорбительным образом подчеркнуть еврейскую национальную принадлежность своих знакомых. Повидимому, Марксу очень хотелось заверить своих немецких друзей, что он больше не имеет с евреями ничего общего.

Попытки Маркса с помощью юдофобских нападок уйти от своей еврейской национальности так и не удались, несмотря на все его старания. И друзья, и враги напоминали ему о его происхождении. Биографы и люди, знавшие К. Маркса, отмечали его типично еврейскую внешность. «Маркс, – пишет Ф. Меринг, – ...был приземистый коренастый человек. Сверкающие глаза и черная, как смоль, львиная грива выдавали его семитское происхождение»³². Ф. Энгельс назвал его «чистокровным евреем»³³. П. Лафарг так описал К. Маркса: «Он был человеком крепкого сложения, роста выше среднего, широкоплечим, с хорошо развитой грудью, он был пропорционально сложен: пожалуй, только туловище было несколько длиннее, чем следует, по сравнению с ногами, как это часто встречается у евреев»³⁴.

Что касается врагов К. Маркса, то они вообще считали весь марксизм сплошным «жидовством».

Хотя Маркс и объявил себя во всеуслышание немцем, еврейское происхождение сильно повредило его популярности именно на родине, в Западной Германии, где его знают и ценят гораздо меньше, чем в большинстве других стран. Сейчас даже многие жители Трира не имеют понятия, где провел свои детские годы их прославленный земляк. Не знают этого и многочисленные туристы, приезжающие в город, чтобы полюбоваться античными и средневековыми достопримечательностями³⁵.

Нигде марксизм не вызывал такой ненависти, как в Германии. Немецкие националисты давно мечтали искоренить эту «еврейскую заразу». Сразу же после захвата власти нацисты принялись претворять эту цель в жизнь. В марте 1933 г. они ворвались в дом, где родился Маркс, разграбили и сожгли хранившиеся в нем книги и документы и превратили его в редакцию своей местной газетки «Национальблатт...»³⁶

Юдофобские антипатии К. Маркса сильнее всего проявились в его отношениях с выдающимся деятелем рабочего движения, публицистом, философом и писателем Фердинандом

Лассалем (1825 – 1864), основоположником «лассальянского» течения в социализме. Маркс долгое время, с 1849 по 1862 гг., поддерживал с ним тесные связи, но в то же время называл его в письмах Энгельсу презрительными прозвищами – «еврейчик», «еврейчик Браун», «Эфраим Премудрый», «Итциг». Эти словечки никак не вяжутся с личностью Лассалья, который был прирожденным вождем, обладавшим такими чертами характера, как обаяние, сила воли, бесстрашие, гениальный ораторский талант и организаторские способности³⁷. Были у него и недостатки, свойственные вождям: честолюбие, повышенная щепетильность к вопросам собственного достоинства... Однако на политическом небосклоне Германии Лассаль, наряду с Бисмарком, был самой яркой звездой.

Конечно, причины неприязни Маркса к Лассалю не сводятся только к тому, что последний был евреем. Следует учитывать и то, что Лассаль пользовался при жизни большей популярностью, чем Маркс, которого это задевало. К тому же, несмотря на близкие отношения, связывавшие обоих деятелей, между ними существовали теоретические расхождения. «Мирное соперничество» двух ведущих идеологов социализма привело в 1863 г. к убедительной победе Лассалья. Он основал первую рабочую партию Германии – Всеобщий германский рабочий союз – и стал ее президентом.

Пока Лассаль был жив, Маркс избегал выступать против него публично, так как понимал, что соперник пользуется очень большим влиянием на рабочих. Более того: Маркс выступил с несколькими статьями, в которых выражал Лассалю поддержку. Но в частной переписке, за спиной Лассалья, он нередко допускал против него выпады, проникнутые самым вульгарным юдофобством.

Приведем несколько примеров.

В 1857 г. Лассаль приступил к работе над двухтомным исследованием о древнегреческом философе Гераклите. По этому поводу 22 декабря того же года Маркс писал Энгельсу: «Бравый Лассаль взялся за философию... Мы все же посмотрим на эту вещь сами, и, хотя это дареный конь, все-таки пристально взглянем ему в зубы, – при обязательном условии, конечно, чтобы от Гераклита не несло чесноком»³⁸.

Однажды случилось, что работа Лассалья была принята в печать, а книга К. Маркса – задержана. Маркс, который нуждался в гонораре, тотчас усмотрел в этом интриги Лассалья

и пришел в ярость. «...Я этого номера еврейчику не забуду, – писал он Энгельсу 25 мая 1859 г. – Спешка, с которой была напечатана его дрянь, показывает, что на него падает „магна парс“ (главная доля. – лат.) за задержку наших вещей. Причем этот скот настолько влюблен в вымученные им творения, что считает само собой разумеющимся, что я просто сгораю от нетерпения увидеть его «аноним» и в достаточной мере «объективен», чтобы считать убийство моей книги в порядке вещей»³⁹.

В последующих письмах Маркса Энгельсу юдофобские остроты в адрес Лассалья иногда принимали сильный расистский привкус. «Кстати о Лассале-Лазаре, – писал он 10 мая 1861 г. – Лепсиус⁴⁰ доказал (! – М. Л.) в своем большом труде о Египте, что исход евреев из Египта есть не что иное, как история, рассказанная Манефоном об изгнании из Египта „народа прокаженных“ (курсив К. Маркса). Прокаженный Лазарь, таким образом, – прототип еврея и Лазаря-Лассалья. Только у нашего Лазаря проказой поражен мозг»⁴¹. Далее Маркс сообщает, что Лассаль болен костоедой ноги, которая якобы развилась на основе «плохо залеченного сифилиса вторичного периода». Из того же письма, впрочем, явствует, что это диагноз самого Маркса и что врач Лассалья, «знаменитый профессор», нашел всего лишь «невралгию ноги, или нечто подобное».

Чтобы уничтожить Лассалья своим сарказмом, Маркс не ограничивался ссылками на еврейское происхождение своего оппонента. Ему пришлось приписать Лассалю, помимо еврейских, также и специфические «негритянские» черты. Он дает сопернику новое прозвище: «еврейский ниггер»⁴². «Мне теперь совершенно ясно, – пишет К. Маркс Ф. Энгельсу, – что он (Лассаль. – М. Л.), как это доказывают также строение его черепа и шевелюра, – происходит от тех негров, которые присоединились к толпе, предводительствуемой Моисеем при исходе из Египта»⁴³ (если только его мать или бабушка с отцовской стороны не согрешили с каким-нибудь негром). Такое сочетание еврейства и германизма с негритянской субстанцией должно было дать своеобразный продукт. Навязчивость этого малого также негритянская»⁴⁴.

Изливая на Лассалья за глаза потоки столь ядовитой иронии, К. Маркс в то же время написал ему немало дружеских писем, которые неизменно подписывал: «твой К. М.»⁴⁵, передавал «сердечный привет»⁴⁶, благодарил за хлопоты⁴⁷. Из

сохранившейся переписки мы узнаем, что Лассалю очень часто приходилось оказывать Марксу личные услуги. Маркс однажды даже счел необходимым извиниться за это: «...ответь мне как можно скорее и не сердись на меня за то, что я отнимаю у тебя так много времени и так часто прибегаю к твоему содействию. Оправданием мне служат просто общие интересы партии»⁴⁸. Лассаль выражал готовность оказывать Марксу материальную помощь и действительно предоставлял ее. Например, в письме от 28 марта 1859 г. Маркс писал: «Дорогой Лассаль! Относительно финансовой нужды. Прежде всего благодарю тебя за твою готовность. Пока что я сначала испробовал другой путь...»⁴⁹ Спустя короткое время Маркс сообщает о получении от Лассалья значительной по тому времени суммы – 14 фунтов ст. 10 шиллингов⁵⁰. В письме от 14 ноября 1859 г. последовала новая просьба: «Дорогой Лассаль!.. Разрешить ли ты мне выписать вексель на тебя сроком на три месяца? Конечно, еще очень сомнительно, смогу ли я здесь учесть такой вексель. Но некоторый шанс есть...»⁵¹

Незадолго до того, в июле 1862 г., Лассаль был гостем семьи Марксов. Маркс этим очень тяготился, жалуясь, что гость «много жрет». Кроме того, приходилось уделять другу время. «Этот олух полагал, – возмущался Маркс, – что поскольку у меня нет «никакого дела» и я занимаюсь лишь «теоретической работой», то я с таким же успехом могу убивать время с ним! А чтобы соблюсти некоторый декорум по отношению к этому парню, моей жене пришлось отнести в ломбард все до последней нитки!» К этому времени Маркса уже не удовлетворяли размеры оказывавшейся ему Лассалем помощи. В письме Энгельсу от 30 июля 1862 г. он сетовал: «Еврейский ниггер Лассаль, отъезжающий, к счастью, в конце этой недели, снова благополучно потерял 5000 талеров на какой-то сомнительной спекуляции. Человек этот готов скорее швырнуть свои деньги в грязь, чем одолжить их взаймы «другу», даже если ему гарантируются проценты и капитал. При этом он исходит из представления, что должен вести образ жизни, подобающий еврейскому барону или баронизированному еврею»⁵².

К философским и публицистическим трудам Лассалья К. Маркс относился крайне отрицательно и презрительно. «...Эти нескончаемые длинные, жалкие разглагольствования выделяются из Лассалья, кажется, так же естественно, как и

его экскременты, а может, и еще легче»⁵³, – писал он Энгельсу. Вряд ли подобная оценка объективна, так как Лассаль вошел в историю как талантливый публицист и философ. Кроме К. Маркса, мало кто решил оспорить это. Сам Маркс однажды признался Энгельсу: «Однако же то, что написал еврейчик, даже его „Гераклит“, хотя он и написан очень скверно, лучше всего того, чем могут похвастать демократы»⁵⁴. «По сравнению с другими Лассаль все же – лошадиная сила», – отмечал Маркс в другом письме⁵⁵. Отрицательные мнения о творчестве Лассалья высказывались Марксом за спиной автора, а в лицо последнему расточались комплименты. О сочинении «Философия Гераклита Темного из Эфеса», в котором Маркс заранее уловил «еврейский» запах чеснока, он писал Лассалю: «За время моей болезни я проштудировал твоего „Гераклита“ и нахожу, что восстановление системы из сохранившихся отрывков сделано мастерски; не меньше понравилась мне и остроумная полемика. То, что я нахожу – это главным образом формальные недостатки»⁵⁶.

Жизнь Лассалья внезапно оборвалась в 1864 г. Он был смертельно ранен на дуэли с неким Раковицем, по национальности валахом (румыном). Дуэль произошла из-за дочери баварского посланника Елены Деннигес. Останки Лассалья были перевезены из Женевы, где он скончался, на его родину, в г. Вроцлав (Бреслау). Там его похоронили на старинном еврейском кладбище⁵⁷.

Эта неожиданная смерть вызвала замешательство во всей Германии. Она произвела особенно тяжелое впечатление на тех, кто лично знал Лассалья, независимо от того, испытывали они к нему симпатию или нет. «Можешь себе представить, как это известие поразило меня, – писал Энгельс Марксу. – Каков бы Лассаль ни был как личность, как литератор, как ученый, но что касается политики – это был, несомненно, один из самых значительных людей в Германии... Какое ликование будет теперь в лагере фабрикантов и прогрессистских собак, – ведь в самой Германии Лассаль был единственным человеком, которого они боялись. Как мог такой политический деятель, как он, стреляться с каким-то валашским авантюристом!»⁵⁸ Маркс также тяжело переживал эту кончину, но дал личности покойного более сдержанную оценку. «Несчастье, происшедшее с Лассалем, – ответил он Энгельсу, – мучило меня все эти дни. Ведь все же он принадлежал еще к старой гвардии и был

врагом наших врагов. Притом все это случилось так неожиданно, что трудно поверить, что этот шумливый, непоседливый, беспокойный человек теперь замолк навеки и никогда уже не произнесет ни единого слова»⁵⁹.

В последующие годы в переписке Маркса и Энгельса Лассаль по-прежнему фигурировал как «Итциг»⁶⁰ и «Эфраим Премудрый»⁶¹.

Объективно гибель Лассалья способствовала быстрому возвышению Маркса как вождя социалистического движения. Этому теперь никто уже не мог помешать. Не стало человека, который мог по авторитету и влиянию среди социалистов сравниться с Марксом. Несколько месяцев спустя после смерти Лассалья, в сентябре 1864 г., Маркс основал Международное товарищество рабочих, или Первый Интернационал.

С другими политическими деятелями демократического и социалистического направления, евреями по происхождению, Маркс был связан не столь тесно, как с Лассалем. Для них он тоже не скупился на юдофобские прозвища. Публициста М. Фридлиндера в письме Энгельсу от 25 мая 1859 г. он походя обозвал «проклятым евреем» за то, что тот «не пишет»⁶². А в письме Фридриху Адольфу Зорге он рекомендует известного социалиста Э. Бернштейна так: «еврейчик Бернштейн» и «племянник раввина Ребенштейна из берлинской „Фолькс-Цайтунг“»⁶³.

Если политический противник оказывался евреем, Маркс охотно указывал на это обстоятельство как на существенный аргумент в свою пользу, взывая к антисемитским обывательским чувствам некоторых участников коммунистического движения. Например, в книге «Господин Фогт» он в следующих выражениях высмеял выкрестов Эдуарда Симона – французского журналиста, по происхождению немецкого еврея, и Джозефа Мозеса Леви, английского еврея, основателя и издателя одной из крупнейших британских газет «Дейли телеграф»: «Подобно тому, как Эдуард Симон хочет во что бы то ни стало причислить себя к романской расе, так Леви жаждет причислить себя к англо-саксонской расе. Поэтому он, по крайней мере раз в месяц, нападает на английскую политику г-на Дизраэли⁶⁴, так как Дизраэли, эта „азиатская загадка“, не принадлежит, подобно „Телеграф“, к англо-саксонской расе. Но какой смысл Леви нападать на г-на Дизраэли... когда природа-мать энергично вписала на лице его родословную?»⁶⁵.

...Можно поэтому без всякого преувеличения сказать, что Леви носом пишет свою газету»⁶⁶.

К еврейским буржуа К. Маркс относился вдвойне отрицательно: во-первых, как к враждебному классу, и во-вторых – как к евреям. Когда речь шла о капиталистах немцах, французах и др., он не выпячивал их национальное происхождение, но нередко делал это по отношению к евреям. «Этот еврейчик Бамберг, – писал он Энгельсу 21 января 1853 г. об известном банкире, – до сих пор не выдал мне ни одного сантима, но обещал, и я из него постепенно выжму, по крайней мере, 15 ф. ст.»⁶⁷. Указания на особенный, «еврейский» характер деятельности Ротшильда встречались в сочинениях Маркса⁶⁸. Лондонский банкир Оппенхейм, финансировавший строительство Суэцкого канала, упоминается Марксом под антисемитской кличкой «Абул-Хаим» (сочетание арабской приставки и презрительного прозвища еврея)⁶⁹. Если капиталиста-еврея надувал нееврей, это вызывало у Маркса злорадство и насмешку, хотя по всему видно, что такой же поступок еврея возмутил бы его и дал повод к замечаниям о еврейском мошенничестве. «В Лондоне, – рассказывает он Энгельсу об одном эпизоде, которому был свидетелем, – вошел впопыхах в наш вагон пронырливого вида еврейчик с маленьким чемоданом под мышкой. Перед самым Хариджем он начинает искать ключи, чтобы открыть свой чемодан и посмотреть, как он говорит, упаковал ли его конторский мальчик все необходимое платье. Ибо я, – сказал он, – получил в конторе от моего брата из Берлина телеграмму, что должен немедленно выехать в Берлин, и поэтому послал мальчика к себе домой, чтобы он принес мне необходимые вещи. После долгих поисков он, наконец, находит, правда, не настоящий ключ от чемодана, но все же ключ, открывающий чемодан, и видит, что брюки и пиджак не подходят друг к другу, что не хватает ночных рубашек, сюртука и т. д. На пароходе еврейчик раскрывает передо мной свою душу. «Мир не видел еще такого мошенничества»⁷⁰, – восклицал он снова и снова. История такова. Немецкий янки, по имени Бёрнштейн или Бернштейн, рекомендованный ему его берлинским приятелем Нейманом, надул его на 1700 ф. ст., его, которого считают одним из самых ловких коммерсантов!»⁷¹

2. К. Маркс об истории и национальном характере еврейского народа.

К истории евреев К. Маркс обращался редко, по-видимому, по двум причинам: во-первых, из юдофобских предубеждений и, во-вторых, из-за слабого знания предмета. Из его сочинений можно сделать вывод, что даже с Библией он был знаком очень поверхностно. Свои сведения о еврейском народе Маркс черпал главным образом из «классической» немецкой философии, особенно из «Сущности христианства» Л. Фейербаха, проникнутой грубым юдофобством, а также из антисемитских статей Б. Бауэра, Лепсиуса и др.

В статье «Дебаты о свободе печати» (апрель 1842 г.) Маркс упоминает о двух древнеизраильских коленах: Иуды (Иегуды) и Израиля⁷². Между тем даже школьник, проходивший курс Закона Божьего, знал, что «колено Израиля» никогда не существовало; Израиль – название всего еврейского народа и еврейского государства, объединявшего сначала двенадцать, а после смерти царя Соломона – десять колен.

В работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (вышла в свет в 1852 г.) К. Маркс утверждает, что царь Давид якобы восстановил власть первосвященника Самуила⁷³. Но, во-первых, в Библии нет никаких указаний, что Самуил был первосвященником; о нем говорится, что он надевал священническую одежду⁷⁴ и пользовался славой пророка. Власть Самуила была не первосвященническая, а судейская («и был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей»)⁷⁵. Самуил умер еще до того, как помазанный им на царство Давид овладел престолом; следовательно, Давид, вынужденный скрываться, никак не мог восстановить власть престарелого пророка; последнее и не могло входить в его планы, так как он не собирался отказываться от царского титула во имя реставрации правления судей.

В письме Энгельсу от 30 июля 1862 г. Маркс иронически сообщал: «Одно из великих открытий нашего негра (Лассалья. – М. Л.), о котором он, однако, поведал мне, как своему „интимнейшему другу“, – заключается в том, что пеласги (греки. – М. Л.) происходят от семитов. Главное доказательство: в книге Маккавеев евреи отправляют в Грецию послов с просьбой о помощи, ссылаясь при этом на племенное сходство.

В Перудже, кроме того, найдена этрусская надпись, которую одновременно расшифровали гофрат Штюккер в Берлине и один итальянец, причем оба, независимо друг от друга, истолковали этрусские буквы как древнееврейские»⁷⁶.

Из этого письма можно заключить, что Маркс, наверное, не читал Маккавейских книг. Иначе он не упустил бы из виду того существенного обстоятельства, что не евреи набивались в родство грекам, а скорее наоборот. В «Первой книге Маккавейской» рассказывается, что еще задолго до восстания Маккавеев спартанский царь Арей направил иудейскому первосвященнику Онии дружеское письмо, в котором будто бы говорилось: «Найдено в писании о спартанцах и иудеях, что они – братья и от рода Авраамова»⁷⁷. В «Иудейских древностях» Иосифа Флавия содержится текст другого письма в Иудею из эллинистического государства Пергам в Малой Азии, восходящего к 1 в. до н. э. В нем упоминается, что «еще во времена иудейского патриарха Авраама наши (греков. – М. Л.) предки были в дружественных с ними (иудеями. – М. Л.) отношениях, как мы находим об этом официальные записи в наших общественных архивах»⁷⁸.

У Маркса мы неожиданно встречаем резкую, путанную и крайне несправедливую оценку ессеев – древнееврейской религиозно-политической группировки, к которой, казалось бы, он мог отнестись с симпатией. В статье «Циркуляр против Криге», написанной в соавторстве с Энгельсом в 1846 г., Маркс сравнивает ессеев с «Союзом справедливости» – тайной немецкой эмигрантской политической организацией, существовавшей в 30-40 гг. XIX в. В ней преобладали заговорщические настроения; она приняла участие в авантюристическом бланкистском восстании 12 мая 1839 г. «Криге, – пишут Маркс и Энгельс, – выступает как пророк, а посему непременно как эмиссар тайного союза ессеев – „союза справедливости“. Поэтому, когда он ораторствует не от имени „угнетенных“, то он ораторствует во имя „справедливости“, которая, однако, является не обычной справедливостью, а справедливостью „союза справедливости“»⁷⁹. Но, во-первых, ессеи не были заговорщической организацией и существовали легально, а не тайно, а во-вторых, они не занимались „ораторством“: политическая агитация ими вообще осуждалась. Если бы Маркс познакомился со взглядами ессеев из достоверных источников, а не из антисемитских опусов, он, наверное, заинтересо-

вался бы ими, так как эссеиство представляло собой вершину коммунистических учений древности. «Они, – писал об эссеях Иосиф Флавий, – презирают богатство, и поразительна их общность имущества. Среди них нет никого выделяющегося своим имуществом, ибо существует закон, что вступающие в общину передают свое имущество в общественную собственность секты. Поэтому среди них нет ни унижительной бедности, ни чрезмерного богатства. Имущество каждого смешивается с имуществом других, и, словно у братьев, у всех одно общее имущество»⁸⁰. Другой выдающийся древний еврейский писатель Филон Александрийский сообщает о эссеях следующее: «Они осуждают господ, владеющих рабами, не только как людей несправедливых, оскверняющих равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, которая, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей законными братьями не только по названию, но и в действительности»⁸¹. Об образе жизни эсеев Филон Александрийский рассказывает: «...Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, создавая товарищества... и все время проводят в работе на общую пользу. Усердно занимаясь трудами, они смело соревнуются, не выставляя в качестве предлога ни жару, ни холод, ни какие бы то ни было изменения погоды...»⁸² Древние авторы свидетельствуют о высоком культурном уровне эсеев, которые все были грамотными и для своего времени образованными людьми, о замечательных нравственных принципах, характеризовавших их семейные отношения и быт, о том, что, принципиально выступая против войн и всякого насилия, они в то же время проявили несравненное мужество в освободительных войнах Иудеи против Рима и т. д.

Выше речь шла о том, насколько хорошо К. Маркс разобрался в истории древнего Израиля, которая освящена Ветхим Заветом и, следовательно, была более или менее знакома каждому образованному европейцу. История евреев в средние века и в новое время, напротив, несла на себе, в господствовавшем в то время христианско-богословском изображении, «печать проклятия». Грамотному христианскому читателю она либо вообще не была известна, либо доходила до него большей частью в виде смехотворных юдофобских домыслов. Маркс также имел о ней самое смутное представление.

Однажды в письме Полю и Лауре Лафарг (28 июля 1870 г.) он рассказал анекдот о двух русских дворянах, сопровождаемых двумя своими крепостными-евреями. «Дворянин А. ударил еврея дворянина Б., и Б. ответил: „Раз ты бьешь моего еврея, я буду бить твоего“»⁸³. Маркс не знал даже того, что в России, где евреи подвергались гонениям и юридическим ограничениям, они, тем не менее, не были крепостными, так как относились к мещанскому сословию.

В «Капитале» в адрес польских евреев мимоходом брошен упрек в том, что они не сыграли в жизни Польши никакой активной роли. «Торговые народы древнего мира, – писал Маркс, – существовали как боги в межмировых пространствах или, вернее, как евреи в порах польского общества»⁸⁴. Здесь содержится намек на утверждение древнегреческого философа-материалиста Эпикура о том, что боги, хоть и существуют, находятся в пространствах между мирами и не могут оказывать никакого влияния на жизнь вселенной и людей. Следовательно, и Польша могла бы обойтись без своих сотен тысяч евреев, так как ее история протекала как бы без них и мимо них.

Обладая столь скромным запасом представлений об истории еврейского народа, Маркс тем не менее в работе «К еврейскому вопросу» высказал о ней ряд категорических суждений, пытаясь изобразить ее в самом отталкивающем виде. Хотя Маркс и отрицал первичность религии, утверждая, что она является продуктом социально-экономического развития общества, в его нападках на евреев все же главное место занимает критика иудаизма. В понимании К. Маркса, не читавшего, вне всякого сомнения, еврейских религиозных книг (за исключением, может быть, Ветхого Завета, который он знал очень поверхностно), весь иудаизм укладывается в одном слове: торгашество. Эта «сущность» иудаизма основана, будто бы, на специфически еврейском образе жизни. «Поищем тайны еврея не в его религии, – восклицает Маркс, – поищем тайны религии в действительном еврее.

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие.

Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги.

...Монотеизм еврея представляет собой поэтому (из-за эгоизма, практицизма) политеизм множества потребностей,

политеизм, который возводит даже отхожее место в объект божественного закона.

...Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель – это действительный бог еврея. Его бог – только иллюзорный вексель.

Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее; природа, хотя и существует в еврейской религии, но лишь в воображении.

...Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную мораль и право вообще, лишь формальные ритуалы, которым окружает себя мир своекорыстия.

...Еврейство не могло дальше развиваться как религия, развиваться теоретически, потому что мировоззрение практической потребности по своей природе ограничено и исчерпывается немногими штрихами...» и т. п.⁸⁵

Эти грубые юдофобские выпады биографы К. Маркса (например, Меринг, Корню) выдают за объективную, глубоко научную и оригинальную характеристику евреев. Однако одной из наиболее характерных черт антиеврейской филиппики, выдержки из которой были только что приведены, является как раз отсутствие оригинальности. В них чувствуется влияние различных юдофобствующих немецких публицистов и философов, и в первую очередь – Людвига Фейербаха. Последний, незадолго до того, в 1841 г., выпустил свою известную книгу «Сущность христианства». Ряд страниц в ней отводится зловным нападкам на еврейский народ.

По утверждению Фейербаха-Маркса, иудаизм формировался и развивался как освящение «торгашества», грубо материальных стяжательских практических потребностей евреев.

Бросая евреям оскорбительный и крайне несправедливый огульный упрек в том, что их «беспочвенный закон... есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную мораль и право вообще... которым окружает себя мир своекорыстия», Маркс, вслед за Фейербахом, Бауэром и др., выступил против той элементарной истины, что именно евреи дали большинству цивилизованных стран кодекс морали – десять заповедей Моисеевых, что еврейские священные книги учат любить ближнего как самого себя. Маркс игнорировал те места Торы, в которых самым тяжким преступлением считается нанесение обиды слабому, сироте, вдове и чужеземцу. Он забыл, что

великие еврейские пророки объявили священную войну имущественному неравенству и социальному гнету, а авторитетнейший еврейский законоучитель Гиллель и его последователи свели весь огромный и разнообразный материал Талмуда к единственному нравственному правилу: «Что тебе неприятно, не делай ближнему». Обо всем этом существует огромная литература, и любознательный читатель может с нею ознакомиться.

Есть у Маркса и немало других незаслуженных обвинений в адрес евреев и иудаизма. Таково, например, голословное утверждение о том, что иудаизм «есть политеизм множества потребностей». В действительности иудаизм не только не культивирует, а, наоборот, своими ритуальными законами серьезно ограничивает повседневное удовлетворение житейских потребностей, способствуя умеренному образу жизни своих последователей.

Лишен всякого смысла упрек Маркса иудаизму в том, что он «не развивался теоретически». Еврейская религиозная литература принадлежит к числу самых обширных в мире, почти каждый раввин был ученым богословом и стремился дать свое собственное толкование текстов Торы и Талмуда. В результате не раз рождались смелые и оригинальные произведения религиозной мысли, каковы, например, творения Раши и др.

«В еврейской религии, – продолжает Маркс, – содержится в абстрактном виде презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку как к самоцели». Он попытался одним росчерком пера зачеркнуть стоящую на фундаменте иудаизма огромную еврейскую культуру, которой он не знал и знать не хотел. Слепо последовав за злобными крохоборами, с лупой в руках копавшимися в Библии, чтобы выискать в ней негативные изречения и, невероятно раздув каждое из них, с ликованием выставить их напоказ, Маркс закрыл глаза на тот несомненный факт, что эта Книга в целом является непревзойденным памятником древней не только религиозной, но и литературной, философской, исторической мысли.

Но Маркс пошел и еще дальше в своих нападках на творческую роль еврейского народа в истории. Он достиг вершин юдофобии, когда обвинил евреев в том, что они считают себя «вправе обособляться от человечества, принципиально (!) не принимая никакого участия в историческом движении»⁸⁶. И

это говорится о народе Библии, Моисея, Исаяи, Христа, который в средние века проложил для Европы мост в культуру арабского Востока, а в новое время с могучей энергией включился в дело развития европейской промышленности, торговли, литературы, науки и искусства, выставив целую армию борцов за свободу и демократию.

Крайне негативная оценка еврейского народа, содержащаяся в работе К. Маркса «К еврейскому вопросу», была еще раз повторена им в книге «Святое семейство, или Критика критической критики» (1844). Она написана Марксом и Энгельсом в соавторстве, но, как можно заключить из письма Энгельса от 17 марта 1845 г.⁸⁷, все рассуждения о еврейском вопросе в ней принадлежат Марксу. Собственно, о евреях в новом труде не содержалось ничего нового по сравнению со статьей «К еврейскому вопросу», за исключением одной детали. Маркс заметил, что Бруно Бауэр увлекся и впал в противоречие. Он, с одной стороны, утверждал, что евреи ничего не сделали для современной цивилизации, а с другой – что они «своим давлением на пружины истории вызвали противодействующее давление». Словами одного из незадачливых еврейских критиков Бауэра, некоего Хирша, Маркс на это возразил: «В таком случае евреи должны были составить нечто в формировании истории, и если сам Бауэр утверждает это, то он не вправе, с другой стороны, утверждать, что они ничего своего не внесли в дело формирования новейшей истории»⁸⁸. Евреи, – продолжает Маркс, отвечая Бауэру, – сохранились не вопреки, а благодаря истории, вместе с историей, имея ввиду тот «торгашеский» дух, который они якобы в нее внесли. Таким образом, Маркс пошел еще дальше Бауэра по пути юдофобства. Последний, по крайней мере, колебался между двумя антисемитскими версиями, одна из которых сводит историческую роль евреев к нулю, а другая признает за ними только негативную роль. Маркс преодолел эти колебания: он склонился к тому, что влияние евреев на историю безусловно отрицательно.

В самый разгар революции 1848 г. Маркс клеймил евреев за то, что они будто бы «со времени эмансипации своей секты повсюду стали, по крайней мере в лице своих верхов, *во главе контрреволюции*» (курсив К. Маркса)⁸⁹. К. Маркс, таким образом, назвал иудаизм сектой, тогда как за пять лет до того, в статье «К еврейскому вопросу», он же признавал

его религией. Кроме того, Маркс допустил и другие искажения фактов. Во-первых, эмансипация евреев почти нигде в Европе не была ко времени революции 1848 г. достигнута даже в юридическом отношении, не говоря уже о фактическом. В Пруссии после изгнания Наполеона перед евреями был закрыт доступ к государственной службе и к ученым занятиям; в Австрии свирепствовал режим полицейского надзора над евреями и всяческого их стеснения во многих видах деятельности; в Прирейнской области либеральный «Закон о положении евреев», принятый только в 1847 г., формально уравнивал евреев в гражданских правах, в то же время запретил им занимать должности, связанные с судебной, полицейской и исполнительной властью; в Англии закон о политическом равноправии евреев был принят только в 1858 г. Только во Франции, Бельгии и Голландии юридическая эмансипация еврейских общин была в основном завершена. В то же время в царской России евреи подвергались варварскому гнету.

Во-вторых, в 1848 г. евреи не только не стояли во главе контрреволюции, но, наоборот, проявляли, в среднем, гораздо большую революционную активность, чем христианское население. Евреи находились среди застрельщиков восстаний в Берлине и Вене, мужественно сражались на баррикадах. В Вене еврей Адольф Фишгоф возглавил Комитет безопасности, взявший власть в свои руки после бегства императора. Заместителем председателя общегерманского парламента, собравшегося в мае 1848 г. во Франкфурте-на-Майне, был избран еврей Габриэль Риссер.

Участие в революции стоило еврейским борцам многих жертв. Не только войска контрреволюционных сил, но и темная толпа обрушили на них свою ярость. Для городской черни всякие волнения, в том числе революционные, служили поводом к еврейским погромам. Они сопровождали революционные события по всей Германии, а также в Праге, Пресбурге (Братиславе), в Риме и в других городах. Некоторые революционные лидеры, особенно в Венгрии, отказывались представить евреям равноправие.

Таково было действительное положение. Кровь еврейских революционеров К. Маркс ценил недорого, и еще дешевле – кровь невинных мирных еврейских жителей, убитых и искалеченных чернью.

Несмотря на эти жертвы, евреи не ушли из европейской революции. Из года в год их участие в социалистическом и коммунистическом движениях расширилось.

Отношение Маркса к деятельности и исторической роли евреев всегда оставалось негативным. Но со временем в нем все же произошли определенные изменения. В своем главном труде «Капитал» Маркс, продолжая причислять евреев к «торговым народам», по сути дела отошел от своей прежней версии о том, что они олицетворяют мировое «торгашество». На нескольких тысячах страниц этого грандиозного труда евреи как капиталисты фигурируют очень редко. В «Капитале» упоминаются Ротшильд и несколько других финансистов еврейского происхождения, но национальность их не отмечается.

Лишь в отдельных редких случаях Маркс в своем знаменитом исследовании высказывается специально против еврейского капитала, да и то не прямо, а скорее намеками и используя цитаты из сочинений других авторов. К тому же, – что характерно, – эти высказывания содержатся главным образом в первых, ранних томах труда. В томе 1 приводится реплика Щейлока из шекспировского «Венецианского купца» по следующему поводу: «Рабочие и фабричные инспекторы протестовали по гигиеническим и моральным соображениям. Но капитал отвечал:

На голову мою мои поступки
Пусть падают. Я требую суда
Законного – я требую уплаты
По векселю»⁹⁰.

«Накопляйте, накапливайте! В этом Моисей и пророки»⁹¹, – иронизировал Маркс в том же томе «Капитала», намекая на иудейский канон, хотя Тора, а тем более пророки, не только не поощряют, но осуждают накопление богатств.

В третьем томе «Капитала» использована цитата из книги некоего Д. Хардкэстла «Банки и банкиры» (Лондон, 1843): «Евреи, ломбардщики, ростовщики и кровопийцы были нашими первоначальными банковыми барышниками, их ремесло следует клеймить позором»⁹². Перечисленный состав «банковых барышников» является, мягко говоря, несколько расплывчатым. Едва ли правомерно выделять «кровопийцев»

в социальную категорию, это скорее категория моральная. К тому же получается, что евреи, ломбардщики и ростовщики к «кровопийцам» не имеют отношения и не совсем понятно, почему же их ремесло следует «клеить позором».

Изредка Маркс осуждал за «еврейство» людей, не имеющих к евреям никакого отношения ни по национальному происхождению, ни по роду занятий, как, например, в следующей реплике о землевладельцах: «Среди знатных Шейлоков вошло в моду фарисейски пожимать плечами, когда речь идет о строительных спекулянтах, мелких собственниках и открытых деревнях»⁹³.

Однако несколько юдофобских высказываний являются лишь песчинками в безбрежном море «Капитала», к тому же они содержатся главным образом не в основном тексте, а в авторских примечаниях к нему. В качестве специально «торгашеской» религии уже в первом томе «Капитала» фигурирует уже не иудаизм, а христианство, «в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.»⁹⁴. В четвертом томе своего труда, спустя много лет, Маркс возвращается к этому вопросу и поясняет, почему именно христианство есть «специфическая религия капитала». Причины эти состоят в следующем. Для капитала необходимо преодоление национальных рамок, он космополитичен, так же, как и христианство. Далее, для христианства, как и для капитализма, человек имеет среднее стоимостное выражение, т. е. отрицается, что один человек может стоить больше или меньше, чем другой. У христианства, так же, как у капитализма, есть только один критерий: первое рассматривает личность с точки зрения, есть ли у нее вера, второй – имеет ли он кредит. Божественное предопределение христианства имеет ту аналогию с капитализмом, что для обоих принципиально важно, имеет ли данный человек веру (или капитал) от рождения или нет.

Возможно, эти суждения и остроумны, но выглядят они все же не очень убедительно. Что резко бросается в глаза в Марксовой оценке христианства – это антиисторизм; игнорирование того обстоятельства, что христианство являлось официальной идеологией во многих странах не только при капитализме, но и при рабовладельческой и феодальной формациях и что в феодальном обществе позиции христианства были явно сильнее, чем в капиталистическом. Это же упущение полно-

стью относится и к данной ранее К. Марксом оценке иудаизма как «религии торгашества». Кроме того, признание К. Марксом того обстоятельства, что капитализм – явление «космополитическое» и, следовательно, он должен опираться на «космополитическую» религию, а не на специфически национальное религиозное течение, каким является иудаизм, вступило в противоречие с версией о том, что иудаизм есть «освящение всемирного капиталистического торгашества». Возник вопрос: могут ли евреи, сохраняя *национальную* религию, вообще быть торговым народом? На него, естественно, мы не находим ответа ни в «Капитале», ни в других сочинениях К. Маркса. Возможное возражение, что евреи, мол, космополитичны, так как рассеяны по разным частям мира, ничего не меняет: капитализм, как это со всей ясностью следует из «Капитала» К. Маркса, не однонационален; из этого же труда видно, что большинство капиталистов отнюдь не евреи, а христиане.

Несмотря на то, что в оценке К. Марксом исторической роли еврейства фактически произошел заметный поворот, сам он не увидел в собственных взглядах какого-либо изменения. Рассматривая свое мировоззрение как единое и цельное, он не допускал мысли о пересмотре своего взгляда на евреев как на «торгашеский» народ, хотя она и вступила в противоречие с его более поздними положениями.

Лишь в очень редких случаях К. Маркс проявлял лояльность по отношению к евреям, а однажды даже выразил им сострадание. В статье «Объявление войны. – К истории возникновения восточного вопроса» (март 1854 г.) он объективно и с участием описал положение евреев в Палестине. Из общего населения Иерусалима – 15,5 тыс. чел. – евреи, – констатирует Маркс, – составляли в то время более половины и в два раза превышали численность мусульман; тем не менее последние, пользуясь попустительством турецкого султана, являются господами положения. «Нищета и страдания, испытываемые евреями в Иерусалиме, не поддаются никакому описанию, они... непрерывно подвергаются угнетению и проявлениям нетерпимости со стороны мусульман; оскорбляемые православными, преследуемые католиками, они живут лишь скудными подачками, которые получают от своих братьев в Европе». Далее К. Маркс цитирует одного французского писателя, характеризующего настроения и упования еврейской иерусалимской общины: «Устремив свои глаза на гору Мориа, где

некогда стоял храм Соломонов и к которой им не разрешено приближаться, они оплакивают несчастья Сиона и то, что им пришлось рассеяться по всему свету». К. Маркс высмеял попытки христианских миссионеров окрестить палестинских евреев. Он рассказывает, как один англиканский епископ, приехавший с этой целью в Иерусалим, был избит и осмеян как евреями, так и христианами и турками. «О нем, – иронически добавляет К. Маркс, – действительно можно сказать, что он явился первым и единственным поводом объединения всех религий в Иерусалиме»⁹⁵.

Это неожиданное, на первый взгляд, сочувствие К. Маркса палестинским евреям наполнено, может быть, глубоким смыслом. Здесь проявилась скрытая, почти подсознательная ностальгия, которая теплится в сердцах многих даже глубоко ассимилированных евреев. В известной мере эта небольшая статья реабилитирует К. Маркса как юдофоба. В ней вырисовываются смутные контуры новой трактовки «еврейского вопроса», в корне отличной от той, которую Маркс дал в своих более ранних работах. Присоединившись к хору палестинских евреев, оплакивающих «несчастье Сиона», и скорбя вместе с ними о том, что их собратьям «пришлось рассеяться по всему свету», Маркс невольно признал, что корень «еврейского вопроса» лежит в диаспоре, в утрате исторической родины. Идея эта, к сожалению, не была развита Марксом, а его последователи замалчивали приведенное высказывание своего учителя. Поэтому для практики марксизма оно никакого значения не приобрело. При случае оно может послужить для современных неочерносотенных публицистов типа Бегуна, Корнеева, Евсеева и др., прикрывающихся пока марксистской фразеологией, прекрасным поводом для того, чтобы причислить к «сионистам» даже самого основоположника научного коммунизма.

В другой работе – «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (написана в 1851-52, напечатана в 1852 г.) – Маркс мимоходом признал влияние древнееврейских демократических идей на Английскую революцию XVII в. «Кромвель и английский народ, – пишет он, – воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого Завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда буржуазное преобразование английского общества свершилось, Локк вытеснил пророка Аввакума»⁹⁶.

Среди европейских культурных и политических деятелей евреев имелись такие, к которым Маркс относился положительно, как бы «забывая» об их национальности. К ним относятся, помимо Гейне, с которым Маркс был знаком лично, также и Берне, и, с некоторыми оговорками, Дизраэли. О последнем К. Маркс и Энгельс писали в 1853 г.: «Каково бы ни было наше мнение о человеке, который, как говорят, презирает аристократию, ненавидит буржуазию и не любит народ, — он, бесспорно, является самым способным из членов настоящего парламента, а гибкость его характера помогает ему лучше приспособляться к меняющимся общественным потребностям»⁹⁷.

В 1876–1877 гг. К. Маркс поддерживал отношения с выдающимся еврейским историком Г. Грецом, автором 11-томной (в русском переводе – 12-томной) «Истории евреев». В конце августа или начале сентября он встретился с Грецом в Карлсбаде и долго беседовал с ним. Речь шла, правда, не об истории еврейского народа, а совсем о другом – о русском царизме и его «слабых сторонах». В январе-феврале 1877 г. Маркс переписывался с Грецом. К сожалению, сохранились лишь письма Греца, а письма Маркса, которые могли бы представить большой интерес для выявления его отношения к истории евреев, и, как можно предположить, отличались если не лояльностью, то, по крайней мере, сдержанностью, утеряны⁹⁸.

Но, так или иначе, примеров положительного или нейтрального отношения Маркса к евреям и их истории очень мало и они, в общем, для него нетипичны.

3. К. Маркс о «еврейском вопросе».

Первую попытку изложить свой взгляд на «еврейский вопрос» К. Маркс предпринял, критикуя профессора теологии Гермеса (1775 – 1831), который соединял католицизм с немецким шовинизмом, за что Папа объявил его посмертно (в 1835 г.) еретиком. Папа, глава «универсальной» церкви, опасался, что шовинизм Гермеса приведет к подрыву авторитета Рима как столицы христианства. Однако отлучение Гермеса вызвало симпатии к последнему в кругах философствующей немецкой интеллигенции. Поэтому Бруно Бауэр посоветовал Марксу не публиковать свою книгу против Гер-

меса. Маркс послушался. Содержание этой книги (или статьи) неизвестно.

Гермес, помимо прочего, был известен как один из отъявленных юдофобов. Полемизируя с ним, Маркс, естественно, должен был оспаривать его взгляды на «еврейский вопрос». В августе 1842 г. 19-летний Маркс написал своему знакомому, еврею Дагоберту Оппенгейму, в будущем довольно известному публицисту и философу-младогегельянцу: «Пришлите мне... все статьи К. Г. Гермеса против еврейства. Тогда я постараюсь, как можно скорее, прислать Вам статью, которая если не даст окончательного решения этого вопроса, то все же направит его по другому руслу»⁹⁹.

Это обещание К. Маркс, однако, не выполнил. Между тем в 1842-43 гг. появились две большие антисемитские статьи Бруно Бауэра (1809 – 1882). Первая называлась «Еврейский вопрос», вторая – «Способность современных евреев и христиан быть свободными». На Маркса они произвели большое впечатление и вызвали у него желание обстоятельно их проанализировать. Это он сделал в двух статьях, объединенных общим содержанием и опубликованных в 1843 г. под одним заголовком «К еврейскому вопросу». Как уже отмечалось, они проникнуты фейербаховской антипатией к евреям.

В начале своей работы Маркс, прежде чем приступить к критике Бауэра, подробно изложил то, что он считал ценным и верным во взглядах противника. Это «ценное» заключалось в следующем.

Евреи добиваются гражданской, т. е. политической эмансипации. Бауэр отвечает им: вы, евреи, эгоисты, если выдвигаете для себя такое требование, так как в Германии вообще никто не свободен. Если евреи хотят уравнивания в правах с христианами, то они, следовательно, признают правомерность христианского государства с его системой порабощения. «Почему же им (евреям. – М. Л.), – пересказывает К. Маркс Бауэра, – не нравится их особое иго, если всеобщее иго им по душе? Почему немец должен интересоваться освобождением еврея, если еврей не интересуется освобождением немца?»¹⁰⁰

Эта постановка вопроса, которую К. Маркс считал очень остроумной, содержит в себе ряд логических несоответствий. Начать с того, что уравнивание в правах всех религий в «христианском» государстве делает последнее уже не специально «христианским», а толерантным, так как христианство

лишается своих государственных привилегий. Огульное утверждение, что еврейскому (а по аналогии – и любому другому) национально-освободительному движению «нравится» всеобщее иго, категорично, но совершенно голословно. Наконец, возникает вопрос: от кого должны евреи освобождать немцев? Кто создал законы, создавшие немцев несвободными? Эти законы были введены самими немцами. Следовательно, перед евреями ставится задача ниспровержения немецких, и притом «христианских» законов, невзирая на то, как отнесутся сами немцы к уничтожению немецкого христианского государства столь жестоко угнетаемыми и презируемыми ими евреями. Посильна ли для евреев как для преследуемого меньшинства такая задача и принесет ли она им желанную свободу? Ответ на этот вопрос немцы уже дали: обвинив евреев в том, что они инспирировали социалистическое движение в Германии, они зверски истребили миллионы еврейских мучеников.

Но, предположим, евреи освободят немца Бауэра от его немецких законов. Может быть, они дождутся от него за это благодарности? Бауэр и Маркс не оставляют на этот счет никаких сомнений: в «эмансипированном» обществе евреям будет полностью отказано во всех национальных правах. Они должны будут отречься от своей религии, культуры, языка, вообще от своей «химерической» национальности, – и все это для того, чтобы иметь счастье превратиться в суррогатных немцев.

Даже сам тон, которым Бауэр вместе с Марксом зовут евреев освобождать немцев от их христианского государства, весьма подозрителен. Этот призыв начинается прямо с брани: вы, евреи, эгоисты! вы враги государства и всего человечества! как вы смеете требовать национальных прав? вы вообще не национальность, а всего лишь химера! После такого предисловия каждый еврей, имеющий хоть немного человеческого достоинства, едва ли проникнется особым желанием вытаскивать Бауэра и Маркса из их же собственного немецкого болота.

Но протест евреев против того, что их угнетают, – продолжают Бауэр и Маркс, – вообще малооснователен потому, что они являются, в сущности, привилегированной частью общества. «Еврей пользуется в государстве (христианском. – М. Л.) привилегией быть евреем. Как еврей, он

имеет права, которых нет у христиан. Почему же он добивается прав, которых нет у него, но которыми пользуются христиане?»¹⁰¹

Итак, возможность (но отнюдь не *право*, учитывая бесконечные гонения на иудаизм) верить так, а не иначе, называется особой привилегией! Как будто христианское население не пользовалось не только возможностью, но и правом исповедовать христианство, не подвергаясь за это ни гонениям, ни репрессиям! И как будто можно было найти во всей Германии хотя бы одного немца, который согласился бы перейти в иудаизм, чтобы воспользоваться «еврейскими привилегиями!»

Далее следует новый бауэровско-марксовский софизм: «Когда еврей хочет эмансипироваться от христианского государства, то он тем самым требует, чтобы христианское государство отказалось от своего религиозного предрассудка. Но разве он, еврей, отказывается от своего религиозного предрассудка? Имеет ли он, в таком случае, право требовать (! – М. Л.) от других этого отречения от религии?»¹⁰² Нарушение логической связи состоит здесь в том, что религия подавляющая приравнивается к религии угнетенной. Ведь очевидно, что если бы даже евреи потребовали, чтобы немцы отказались от христианства, это не принесло бы христианству в Германии никакого вреда, пострадавшей стороной стали бы сами евреи. Но если бы немцы настаивали на насильственном крещении всех евреев (как это не раз бывало), они нанесли бы еврейским общинам смертельный удар, поставив их перед выбором: креститься, погибнуть или бежать из Германии.

Этот же софизм можно перестроить следующим образом. Пролетарий требует от капиталиста, чтобы тот сократил ему рабочий день и увеличил заработную плату. Следовательно, он хочет, чтобы капиталист пошел на ущемление своих классовых интересов. Но разве сам рабочий при этом отказывается от своих собственных классовых интересов? Как же он может требовать того же от других? Если следовать такой «логике», от всего марксизма не осталось бы камня на камне.

Затем Маркс переходит к критике взглядов Бауэра на эмансипацию евреев. Бауэр, – отмечает он, – по-новому поставил этот вопрос, исходя из религиозных противоречий между иудаизмом и христианством. Последние суть различные ступени развития религии; иудаизм – низшая ступень по сравнению с христианством. Но религия вообще – несовершенство,

в том числе и христианская. Еврей должен пройти через стадию христианства, а затем, вместе с представителями других вероисповеданий, отказаться от религии и принять гегельянство. «С этого момента еврей и христианин¹⁰³ находятся уже не в религиозном, а в критическом, научном, человеческом взаимоотношении... А противоположности в науке устраняются самой наукой»¹⁰⁴.

Маркс подверг этот религиозный детерминизм критике, но он все же разделял иллюзию своего оппонента, что в атеистическом государстве противоречия решаются на «научной», т. е. справедливой основе. Ни он, ни Бауэр не могли, конечно, предвидеть, что через столетие в Германии будет господствовать атеистический нацистский режим, разработавший «научную» систему порабощения и истребления народов.

Ошибка Бауэра, – по Марксу, – состоит в том, что он укладывает весь еврейский вопрос в рамки религиозной противоположности между христианством и иудаизмом. Бауэр критикует иудаизм и христианское государство, но не государство вообще. «Если Бауэр, – замечает Маркс, – спрашивает евреев: имеете ли вы право, с вашей точки зрения, требовать *политической эмансипации?* – то мы, наоборот, задаем вопрос: имеет ли точка зрения *политической эмансипации* право требовать от евреев отказа от иудейства, требовать от человека вообще отказа от религии?»

Аргумент вполне резонный, и, кажется, найдет правильный путь решения «еврейского вопроса» на основе религиозного и гражданского равноправия.

Но, как выясняется, Маркс отнюдь не расположен эмансипировать евреев ни в религиозном, ни в политическом отношении. Политическая эмансипация, – говорит он, – не есть подлинная эмансипация. Она, правда, представляет собой большой прогресс, так как «является последней формой человеческой эмансипации *в пределах* существовавшего до сих пор правопорядка»¹⁰⁵. Однако политическая эмансипация половинчата и заключает в себе противоречие, которое состоит в том, что человек расщепляется, в данном случае – на иудея и гражданина. Это противоречие устраняется в условиях человеческой эмансипации, т. е. радикального преобразования всего общества на нерелигиозной основе. Оно освобождает человечество от торгашества, эгоизма, и других еврейских качеств. В обществе, где «человеческий мир, человеческие

отношения возвращены к самому человеку»¹⁰⁶, нет места иудаизму и вообще нет места ничему еврейскому! Оно должно беспощадно подавлять все еврейские черты. Это, однако, не значит, что оно должно физически уничтожить евреев, но в нем не должно остаться ни одного еврея. Последние «эмансипируются» от своего еврейства и, таким образом, лишаются возможности оказывать на общество пагубное влияние. «Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация общества от еврейства».

Если подходить к еврейскому вопросу с «нерелигиозной» позиции, – развивает свою мысль К. Маркс, – евреи вообще не нуждаются в эмансипации. «Еврей уже эмансипировал себя еврейским способом», т. е. подчинил себе все общество и насквозь пропитал его своим тлетворным духом. Наоборот, общество должно освободиться от еврейства, и оно как раз развивается именно в этом правильном направлении. «...Мы обнаруживаем в еврействе, – пишет Маркс, – проявление общего современного антисоциального элемента, доведенного до нынешней своей ступени историческим развитием, в котором евреи приняли, в этом дурном направлении, ревностное участие; этот элемент достиг той высокой степени развития, на которой он необходимо должен распасться»¹⁰⁷.

Хотя ни Бауэр, ни Маркс не преследовали целей физического истребления еврейского народа, но уже в самой постановке вопроса об «эмансипации общества от еврейства» таилась неопределенная, но вполне реальная угроза. Как быть с теми евреями, которые не захотят ради навязываемой им сомнительной «человеческой эмансипации» отказываться от своей культуры, религии, вообще от своего еврейства? Ведь такие евреи не имеют права существовать в «человечески» эмансипированном обществе. А к тем евреям, которые согласились «человечески» эмансипироваться, общество все равно должно будет относиться подозрительно и настороженно. Если в их головах остались еврейские мозги, то не может же вдруг случиться, чтобы в этих мозгах не осталось ни одной «еврейской мысли»! А эта «мысль», проникнутая духом пресловутого «торгашества», может представить опасность для общества.

Следовательно, в «человечески» эмансипированном, по рецепту К. Маркса¹⁰⁸, обществе, «равноправие» евреев как граждан постоянно висело бы на волоске. Несмотря на все «гу-

манные» декларации, печать проклятия была бы выжжена на лбу каждого еврея, будь он даже человеком высокого душевного благородства, и над еврейским меньшинством постоянно висел бы кошмар репрессий и клеветнических нападок, благопристойно прикрытый «гуманистическими» законами». В «идеальном» Марксовом атеистическом обществе положение еврея в некоторых отношениях было еще хуже, чем в самом деспотическом «религиозном» государстве, например, в царской России. Там еврей, хоть и подвергался варварскому ограничению в политических и гражданских правах, все-таки мог оставаться евреем, т. е. самим собой. Но в обществе К. Маркса еврея необходимо было «эмансипировать» от самого себе, от своего национального «я».

Ряд десятилетий спустя «эмансипация общества от еврейства» была претворена в жизнь в нацистском рейхе в буквальном, а не в переносном смысле, путем геноцида еврейского народа. Статья К. Маркса «К еврейскому вопросу» использовалась геббельсовской пропагандой для разжигания антисемитизма. Так, в «капитальном» нацистском труде д-ра Кербера и проф. Пугеля «Мировой антисемитизм», вышедшем в фашистской Германии в 1935 г., был напечатан большой портрет Маркса с надписью: «евреи о самих себе». Далее следовали слова Маркса: «Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги».

Свой взгляд на «эмансипацию» евреев К. Маркс повторил в книге «Святое семейство». В последующие годы этот вопрос занимал в творчестве Маркса очень небольшое место. В вопросе о предоставлении евреям политических прав К. Маркс не занимал ясной позиции. В начале 50-х гг. он выступил со статьей «Парламентские дебаты. – Духовенство и борьба за десятичасовой рабочий день. – Голодная смерть», посвященной отчасти дискуссии в британском парламенте по поводу законопроекта об отмене правовых ограничений для евреев, в частности, о предоставлении им права быть избранными в палату общин. «Недопущение евреев в палату общин, – пишет К. Маркс, – в то время как дух ростовщичества давно уже господствует в британском парламенте, бесспорно представляет собой нелепую аномалию, тем более, что евреи уже пользуются правом избираться на все муниципальные гражданские должности»¹⁰⁹

К. Маркс подчеркивает, что английское общество вовсе не заинтересовано в том, чтобы в парламенте могли быть представлены евреи. Ни из одной местности Великобритании, – продолжает он, – не поступило об этом запроса. Обсуждение вопроса об ограничении прав евреев, – полагал Маркс, – является лишь предлогом для того, чтобы замолчать вопрос о бесправии самих англичан (которые, заметим, по крайней мере в лице своей верхушки, пользовались монопольным правом участвовать в британских правительственных учреждениях, полностью лишив представительства еврейское национальное меньшинство, игравшее заметную роль в экономической и культурной жизни страны). Билль об отмене ограничения евреев в правах, – утверждает К. Маркс, – на деле сведется к отмене ограничения в правах барона Ротшильда. Но в действительности этот билль имел в виду нечто гораздо более важное, чем защита интересов одного человека. Как известно, в Англии в то время в парламент допускались только лица христианского вероисповедания. Ротшильд не мог занять своего места в парламенте, несмотря на то, что он был избран отнюдь не только евреями, но и христианским населением Лондона, из-за того, что он не мог, как иудаист, произнести слова присяги: «upon the true fice of a Christian». Это был вопрос свободы совести, и позднее К. Маркс сам признавал: «Всякий согласится, что... билль об отмене ограничений прав евреев был маленькой попыткой установления религиозной терпимости»¹¹⁰.

К. Маркс пытался изобразить барона Лайонеля Ротшильда чуть ли не как самую одиозную личность в Европе. Он приводит слова Роберта Пиля, противника билля о правах евреев, который сказал: «Поистине никто не сделал так много для подавления свободы в Европе, как дом Ротшильда». Но эта характеристика принадлежит не какому-нибудь радикальному деятелю левого направления, а типичному буржуазному министру, который жестоко расправился с крестьянскими волнениями в Ирландии и вообще по своим убеждениям не имел ничего общего с социализмом¹¹¹. Кроме того, как это совершенно очевидно, «подавление свободы» в Европе осуществляли все-таки не Ротшильды, а Николай I со своими министрами и генералами и другие монархические правительства. В случае необходимости эти правительства вполне могли бы обойтись и без кредитов Ротшильда. Между прочим, барон

Лайонель Ротшильд кредитовал не только монархии – Россию и Австрию, но и республиканскую Францию, и полуколонизаторский Египет. Он помог британскому правительству справиться в 1847 г. с голодом в Ирландии и пожертвовал на благотворительные цели свыше 10% своего состояния – больше, чем любой крупный капиталист-нееврей.

Как основатель коммунистического движения, К. Маркс объявил себя защитником всех угнетенных и униженных. Но имелся ли в то время во всей Европе народ, который так безжалостно и варварски подавлялся и угнетался, как еврейский народ? Маркс был современником жутких проявлений еврейского бесправия и не мог не знать о них. В то время как он дискутировал с Бауэром о нюансах антисемитизма, в России с евреев взимался «налог кровью» – насильственно угонялись в армию на 25-летний срок малолетние еврейские дети-кантонисты. Маркс знал, что ограничения русских евреев в правах сравнимы лишь с самыми мрачными законами средневековья. Он, наверное, слышал, что против евреев возбуждались гнусные дела о мнимом «ритуальном» употреблении ими христианской крови. Такое «дело» было, например, возбуждено в России в 1852 г., как раз в тот год, когда Маркс оспаривал билль об отмене правовых ограничений евреев в Англии. По поводу этих «дел» Маркс хранил молчание. В 60-70-е гг. вызвали протесты прогрессивной общественности жесточайшие подавления евреев в Румынии. Даже турецкий султан, и тот вступился за румынских евреев – но Маркс молчал. Когда к власти в России пришел Александр III и начались новые свирепые гонения на евреев в этой огромной стране – Маркс также не проронил ни звука. По России прокатилась волна погромов, с многочисленными жертвами среди еврейской бедноты – Маркс молчал. В то же время группа политиканов во главе с венгерским графом Истоци основала Антисемитский Интернационал (параллель с Коммунистическим Интернационалом) – Маркс не возразил ни единым словом против такого поругания коммунизма. Быть может, у Маркса просто не было времени вступить за угнетенное национальное меньшинство и в его публицистике преобладали другие, более важные темы? Знакомство с сочинениями Маркса рассеивает эту шаткую иллюзию. Среди них можно найти массу статей о мелких политических дрязгах в британском парламенте, о конъюнктурных рыночных ценах на чай, мануфактуру и т. д. Следовательно, дело не в том,

что Маркс не имел времени и возможностей сказать хоть слово в защиту изнывавших под тяжким игом восточноевропейских евреев, – он просто не хотел за них вступаться.

Юдофоб не может быть искренним другом других народов – и Маркс, подтверждая это правило, готов был принести любое угнетенное национальное меньшинство в жертву мнимым интересам социальной революции. Подобно Энгельсу, он не признавал права на национальное существование славянских народов, за исключением двух наиболее крупных – русских и поляков. Он подчеркивал, что Чехия должна быть немецкой¹¹². Турки и греко-славянское население Турции, – писал К. Маркс, называя последние единым «народом», – «обречены на гибель»¹¹³. Царскую Россию К. Маркс ненавидел как оплот международной реакции, но заходил при этом подчас слишком далеко, склоняясь даже к фальсификации истории русского народа. Например, 24 июня 1865 г. Маркс писал Энгельсу о книге некоего Духинского или Духовского, поляка из Киева, преподававшего в Париже, который «самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и др. точек зрения... утверждает, что настоящие московиты, т. е. жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т. д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части... название Русь узурпировано московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индоевропейской расе, они интрус (незаконно вторгшиеся), которых требуется опять изгнать за Днепр и т. д.» «Всех русских ученых, – пишет Маркс об этой книге, – призвали писать ответы и возражения, но последние оказались на деле бесконечно слабыми... Я бы хотел, чтобы Духовский оказался прав и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян»¹¹⁴.

Россия, русские – вот зло, угрожающее Германии и европейской революции, – предостерегал К. Маркс. Даже такое социальное преобразование, как освобождение крепостных крестьян, «не очистило их от азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками». Фейербах, на которого Маркс опирался в своих юдофобских нападках, послужил ему и как авторитет для определения основы русского характера, того, что этот почтенный мыслитель «называет материальной субстанцией его (московита) религии, т. е. водки»¹¹⁵.

Критикуя своих русских оппонентов, точно так же как и еврейских, К. Маркс не стеснялся указывать на их национальную принадлежность как на существенный аргумент, свидетельствующий не в их пользу. «Этот проклятый москвит», – характеризует Маркс Бакунина в письме к Лафаргу 19 апреля 1870 г.¹¹⁶

Лишь Польша может послужить барьером против русского нашествия. «Для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое москвитами азиатское варварство обрушится, как лавина, на ее голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев, чтобы выиграть время для завершения своего социального преобразования»¹¹⁷.

Только в последние годы жизни, под впечатлением русского революционного движения и, по-видимому, также русско-германских союзных договоров, Маркс изменил к лучшему свое мнение о России. Он сказал Г. А. Лопатину: «Россия – это Франция нынешнего века. Ей законно и правомерно принадлежит революционная инициатива нового социального устройства»¹¹⁸.

Маркс обычно был скуп на похвалы, и лишь считанные авторы удостоились от него лояльного и тем более – положительного отзыва. Но едва ли хотя бы один из этих «счастливчиков» получил такие комплименты, как некий П. Тремо, автор книги «Происхождение и видоизменение человека и других существ», Париж, 1865. «Очень хорошая книга, – характеризует ее К. Маркс в письме Энгельсу 7 августа 1866 г., – которую я пошлю тебе... как только сделаю необходимые заметки». Далее К. Маркс излагает наиболее понравившиеся ему места этой книги. В одном из них утверждается, что русские – это «не славяне, а скорее татары» и т. д. «Он же (П. Тремо. – М. Л.) доказывает (он долго жил в Африке), что общий тип Негра есть лишь результат дегенерации более высокого типа»¹¹⁹.

Между прочим, Ф. Энгельс, никогда не позволявший себе спорить с другом, которого он ставил выше себя, на этот раз возразил. «Вся теория (Тремо. – М. Л.) – никуда не годится». Но причиной этих разногласий явился не расизм Тремо, а отвлеченные вопросы эволюции.

Прожив десятки лет в Англии, где он написал большую часть своих сочинений, общаясь с англичанами и активно сотрудничая в британской прессе, Маркс так и не избавился

от презрения к этой стране и вообще к англо-саксонским народам. Он считал англичан отбросами немецкой нации, потомками ее якобы худшей в расовом отношении части – шлезвиг-гольштейнцев, живших у границ Дании. «У англо-саксонской расы, – у этих проклятых шлезвиг-гольштейнцев, как всегда называл их Маркс, – свидетельствовал Энгельс в письме Фридриху Зорге от 31 декабря 1892 г., – мозг и без того неповоротлив, а ее история в Европе, как и в Америке (экономические успехи и преимущественно мирное политическое развитие) еще усугубили это свойство»¹²⁰.

Впрочем, и к «своим» немцам К. Маркс в душе относился с презрением, и это иногда проскальзывало в его публикациях. Например, в «Письмах из „Дойч-францёзише ярбюхер“» (май 1843 г.) он писал: «Наиболее законченный филистерский мир – наша Германия», «...немцы – столь рассудительные реалисты, что все их желания и самые возвышенные мысли не выходят за пределы их убогой жизни»¹²¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фамилия Маркс является переделкой еврейского имени Мордехай (см. Еврейская энциклопедия, СПб., т. X, статья «Маркс, Карл», стр. 631).

² Н. Полянов. Здесь родился Карл Маркс. – «Коммунист», 1978, № 2, стр. 40.

³ О. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. Пер. с немецкого. Т. 1. М., Изд-во иностранной литературы, 1959, стр. 76.

⁴ Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., Государственное изд-во политической литературы, 1957, стр. 30.

⁵ Карл Маркс. Биография. М., Изд-во политической литературы, 1968, стр. 5-6.

⁶ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 32.

⁷ Еврейская энциклопедия, СПб., т. XV, статья «Фридрих II Великий», стр. 450.

⁸ До недавнего времени считалось, что это произошло в 1816 г. Однако западногерманский исследователь Р. Лауфнер на основании новых документов определил точную дату.

⁹ Карл Маркс. Даты жизни и деятельности. М., 1934, стр. 1.

¹⁰ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 31. О. Корню, указ. соч., т. 1, стр. 78-79.

- ¹¹ История XIX в. под ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 2. М., ОГИЗ, 1938, стр. 99.
- ¹² Н. Полянов, указ. соч., стр. 42-43.
- ¹³ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 31.
- ¹⁴ Еврейская энциклопедия, СПб., т. VII, статья «Земледелие в Европе», стр. 753.
- ¹⁵ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 31-32.
- ¹⁶ К. Л. Селезнев. «Записки дома Карла Маркса в Трире» (обзор). – «Вопросы истории», 1978, № 5, стр. 192.
- ¹⁷ О. Корню, указ. соч., т. 1, стр. 82.
- ¹⁸ Там же, стр. 83-84.
- ¹⁹ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 38.
- ²⁰ Еврейская энциклопедия, СПб., т. VI, статья «Ганс, Эдуард», стр. 165.
- ²¹ К. Маркс. Даты жизни и деятельности. М., 1934, стр. 6.
- ²² Там же, стр. 11.
- ²³ Ф. Меринг, указ. соч., стр. 30, 322.
- ²⁴ Гейне, также поддерживавший одно время отношения с Руге, порвал с ним из-за его грубых антисемитских выпадов, но Маркса они несколько не раздражали (см. О. Корню, указ. соч., т. 2, стр. 45).
- ²⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 375.
- ²⁶ О. Корню, указ. соч., т. 1, стр. 527.
- ²⁷ Еврейская энциклопедия, СПб., т. VI, статья «Гесс, Моисей», стр. 446.
- ²⁸ Философская энциклопедия, т. 1, статья «Гесс, Моисей», стр. 363-364.
- ²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, стр. 55.
- ³⁰ Воспоминания о Марксе. М., Изд-во «Молодая гвардия», 1940, стр. 64.
- ³¹ Генрих Гейне. Собрание соч. в десяти томах. М., 1959, т. 9, стр. 122.
- ³² Ф. Меринг, указ. соч., стр. 256.
- ³³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 55.
- ³⁴ Воспоминания о Марксе. М., Изд-во «Молодая гвардия», 1940, стр. 58. Последняя черта отнюдь не типична для евреев. Меринг по этому поводу заметил, что Гёте «был такого же сложения». (См. Ф. Меринг, указ. соч., стр. 524).
- ³⁵ Н. Полянов, указ. соч., стр. 41-44.
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ Г. Гейне, лично знавший Лассаля, характеризовал его так: «...человек блестящих способностей; мне не приходилось встречать более глубокой учености, более обширных познаний, более острого ума; с богатым пластическим даром он соединяет силу знания и гибилитэ (умелость. – франц.) в делах, которая изумляет меня...» (Г. Гейне. Собрание соч. в 10 томах. М., 1959, т. 10, стр. 191).
- ³⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, стр. 193.

³⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.29, стр. 358.

⁴⁰ Немецкий историк.

⁴¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 131.

⁴² Там же, стр. 211. По-английски негр – «негро». «Ниггер» – расистское название негра, имеет приблизительно такой же оттенок, как «жид» по отношению к еврею.

⁴³ Имеется в виду, по-видимому, стих 38 гл. 12 Второй книги Моисеевой, в которой рассказывается, что одновременно с израильтянами Египет покинуло «множество разноплеменных людей».

⁴⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 212. Когда К. Маркс писал эти строки (30 июля 1862 г.), в США шла гражданская война между северными и южными штатами. Маркс публиковал статьи, в которых выражал поддержку северянам.

⁴⁵ Там же, т. 29, стр. 450.

⁴⁶ Там же, стр. 452.

⁴⁷ Там же, стр. 507.

⁴⁸ Там же, стр. 475.

⁴⁹ Там же, стр. 478-479.

⁵⁰ Там же, стр. 482.

⁵¹ Там же, стр. 512.

⁵² Там же, стр. 212.

⁵³ Там же, т. 30, стр. 14.

⁵⁴ Там же, т. 29, стр. 326.

⁵⁵ Там же, т. 30, стр. 8.

⁵⁶ Там же, т. 29, стр. 457.

⁵⁷ Я. Гуткович. На все дни года (литературно-исторический календарь на идиш). Варшава, «Идиш бух», 1966, стр. 130.

⁵⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 30, стр. 349-350.

⁵⁹ Там же, стр. 351-352.

⁶⁰ Там же, т. 31, стр. 38-39.

⁶¹ Там же, т. 32, стр. 5.

⁶² Там же, т. 29, стр. 358.

⁶³ Там же, т. 34, стр. 324, 326.

⁶⁴ Крупнейший британский политический деятель и писатель еврейского происхождения, лорд, премьер-министр Великобритании.

⁶⁵ Имеется в виду пресловутый «еврейский» нос Леви.

⁶⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 14, стр. 610-611.

⁶⁷ Там же, т. 28, стр. 176.

⁶⁸ См., например, т. 8, стр. 560.

⁶⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 331.

⁷⁰ В оригинале эти слова приведены в «еврейском» произношении (см. прим. ред. собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса).

⁷¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 34, стр. 5 (последние слова также приводятся в «еврейском» произношении).

⁷² Там же, т. 1, стр. 44.

⁷³ Там же, т. 8, стр. 153.

- ⁷⁴ См. Первую книгу Царств, гл. 2, ст. 18.
- ⁷⁵ Там же, гл. 7, ст. 15.
- ⁷⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 212-213.
- ⁷⁷ Первая книга Маккавейская, гл. 12, ст. 21.
- ⁷⁸ Иосиф Флавий. Иудейские древности, пер. Г. Г. Генкеля, т. 11. СПб., 1900, стр. 98.
- ⁷⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 15-16.
- ⁸⁰ Иосиф Флавий. Иудейская война. Цит. по книге: Тексты Кумрана. Вып. 1. М., «Наука», 1971, стр. 351.
- ⁸¹ Филон Александрийский. О том, что каждый добродетельный свободен. Цит. по книге: Тексты Кумрана, стр. 342.
- ⁸² Его же, Апология. В: Тексты Кумрана, стр. 345.
- ⁸³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 33, стр. 111.
- ⁸⁴ Там же, т. 25, ч. 1, стр. 363.
- ⁸⁵ Там же, т. 1, стр. 408-411.
- ⁸⁶ Там же, стр. 383.
- ⁸⁷ Там же, т. 27, стр. 26.
- ⁸⁸ Там же, т. 2, стр. 97.
- ⁸⁹ Там же, т. 6, стр. 24.
- ⁹⁰ Там же, т. 23, стр. 296-297.
- ⁹¹ Там же, стр. 608.
- ⁹² Там же, т. 23, стр. 161.
- ⁹³ Там же, стр. 696.
- ⁹⁴ Там же, стр. 89.
- ⁹⁵ Там же, т. 10, стр. 173.
- ⁹⁶ Там же, т. 8, стр. 120.
- ⁹⁷ Там же, т. 9, стр. 1.
- ⁹⁸ Карл Маркс. Даты жизни и деятельности. М., 1934, стр. 345, 348.
- ⁹⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 367.
- ¹⁰⁰ Там же, т. 1, стр. 383.
- ¹⁰¹ Там же.
- ¹⁰² Там же.
- ¹⁰³ Очевидное противоречие : последний, отказавшись от религии, все же остается христианином. – М. Л.
- ¹⁰⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 384.
- ¹⁰⁵ Там же, стр. 392.
- ¹⁰⁶ Там же, стр. 406.
- ¹⁰⁷ Там же, стр. 408.
- ¹⁰⁸ Здесь необходимо оговориться, что в более позднее время статья К. Маркса «К еврейскому вопросу» была частично перетолкована большинством марксистов в пользу евреев. Огульные обвинения последних в «торгашестве» фактически были сняты.
- ¹⁰⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 559.
- ¹¹⁰ Там же, т. 9, стр. 49.

¹¹¹ Советская историческая энциклопедия, т. 11, статья «Пиль, Роберт», стр. 145.

¹¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 14, стр. 519.

¹¹³ Там же, т. 28, стр. 299.

¹¹⁴ Там же, т. 31, стр. 106-107.

¹¹⁵ Там же, т. 16, стр. 207.

¹¹⁶ Там же, т. 32, стр. 566.

¹¹⁷ Там же, т. 16, стр. 208.

¹¹⁸ Там же, т. 21, стр. 490.

¹¹⁹ Там же, т. 31, стр. 209-210.

¹²⁰ Там же, т. 38, стр. 476.

¹²¹ Там же, т. 1, стр. 373-374.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА» (В каждом номере 224 страницы)

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи. Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия – «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу).

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылать по адресу: «22», Ramat-Gan, Israel, P. O. Box 7045.

К 80-летию ЛЕОНИДА РЖЕВСКОГО

Когда человеку исполняется 80 лет, ему завидуют, его разглядывают: какая длинная дорога, какая жизнь, сколько эпох, сколько времен, сколько людей, рукопожатий, книг!

Поздравляя Леонида Ржевского с восьмидесятилетним юбилеем, думаешь не только об этом. Думаешь о том, что он из молодости своей унес... молодость. Это не банальное «ах, как Вы сохранились!», это – как Вы унесли, как пронесли в себе такую готовность удивляться миру? Когда писатель берет в основу произведения события еще не устоявшиеся, когда он пишет по горячему следу (как делает это Л. Ржевский в романе «Бунт подсолнечника», к примеру), ему всегда требуется тонкая интуиция, чуткость, и главное – желание понять, постигнуть всю сложность взаимоотношений между поколениями, имевшими одну точку исходную и одну конечную, но столь разные пути между ними!

Искреннее, не тронутое морщинами и сединой любопытство и приятие как естественной части своей личности всего, что есть жизнь: дерева, камня, ящерицы – или печали, сожаления, любви...

Достаточно прочесть любой из его романов, чтобы убедиться: на редкость верна Ржевскому молодость. Он открыт любому движению. Красоте. Вечерней тоске. Утренней свежести и надежде. Судьбе и одиночеству. Теплому человеческому голосу и холодному дождю.

Внимательно вникает он и в жизнь и в литературу, не отделяя одно от другого, свидетельство тому – его книга статей «Творец и подвиг». Жизнь за плечами его богата, хотя и нелегка, далеко не всегда весела.

Но в день юбилея хочется помнить только о богатстве ее, о добре в ней. И с этим поздравляем мы Леонида Ржевского.

С днем рождения, дорогой друг!

«КОНТИНЕНТ»

Искусство

Семен Черток

УРОК ЭЙЗЕНШТЕЙНА

В кампусе Гарвардского университета плакаты – медальный профиль артиста Николая Черкасова в кольчуге, шлеме и гриме князя Александра Невского и извещение о просмотре фильма Сергея Эйзенштейна. Почему выбрали именно эту картину? Спрашиваю знакомых – студента, профессора, фотографа. «О! Эйзенштейн!» Произносят с благоговением. Возможно, с не меньшим, чем верующий – имя Святого Александра Невского. Имена канонизированы. А ведь фильм плохой – плоский, сухой, элементарный по мысли, картонный по постановке.

Для левой западной интеллигенции Эйзенштейн – «революционный художник». Этого достаточно. С каждого кадра его картин течет кровь – это импонирует тем, кто ее не проливал. Щекочет нервы. По отношению к режиссеру употребляют единственный эпитет – гениальный. А «Александра Невского» автор многотомной истории кино французский коммунист и «друг Советского Союза» Жорж Садуль назвал «вершиной таланта» Эйзенштейна. Перестарался: этого не утверждает даже советская кинокритика, единодушно преследовавшая Эйзенштейна, а теперь так же единодушно его славящая. Упомянув «Невского», она старается уйти от оценок, больше напирая на то, что это «вдохновляющий призыв к отпору фашистской агрессии».

Смотрю «Александра Невского» в который раз – ни правды истории, ни подлинных характеров. Наскоро сколоченные макеты, бутафорские щиты, шлемы и копья, ненастоящая зима, прямолинейная, чисто внешняя актерская игра, примитивная фабула, скучное действие. Зло (тевтонские «псы-рыцари») и добро (бояре, дружинники, условно-былинные персонажи – удалой Буслай, мудрый Гаврила Олексич, «представитель народа» кольчужник Игнат и победоносный князь, сошедший не то с ордена, не то с картины Налбандяна) в чистом виде. Кто бы стал, если бы не магия имени, смотреть

спустя сорок пять лет помпезный пустой боевик, поставленный в «державном» – парадно-торжественном стиле с советской идеей сильного вождя – спасителя нации? «А если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет русская земля», – утверждал экранный Невский. В этом уверяли предвоенных зрителей, очень скоро заплативших за бахвальство «вождей» двадцатью миллионами жизней.

Сергей Эйзенштейн всегда выполнял «социальный заказ», и само это выражение пошло от его коллег-лефовцев, но утверждал, что при этом ставит условие: «заказ должен вызвать в художнике ответную реакцию». Материал и идея режиссеру безразличны, лишь бы проявить свою художественную индивидуальность, лишь бы давали работу. «Александр Невский» ответной реакции явно не вызвал. Все, что от него сегодня осталось, – это удачное соединение ритма сцен, особенно сражения на льду Чудского озера, с музыкой Сергея Прокофьева: режиссер снимал эпизоды и монтировал их, подчиняясь музыке. Но картонное зрелище это не спасло: музыкальные образы рельефнее портретных медальонов, песня об Александре Невском значительнее музейных резных наличников изб и рыбаков в холщевых рубахах, крикливые трубы тевтонских горнистов говорят больше, чем хищно вращающиеся глазами рыцари-захватчики, а статичные однозначные предатель Твердило или магистр Тевтонского ордена не совпадают с тонкими музыкальными характеристиками персонажей. Кантату «Александр Невский» лучше слушать отдельно.

Это была не художественная неудача, от которой никто не застрахован, а холодный и точный расчет: Эйзенштейн знал, что делал – таков был социальный заказ. Сталин руководил кинематографией лично: читал сценарии, утверждал их и назначал постановщиков. Эйзенштейн был удобен – большое имя и возьмется за что прикажут. На сей раз дали команду, чтобы поставил не только ЧТО, но и КАК приказывают – в стиле «простоты и народности». Предложили на выбор Александра Невского или Ивана Сусанина: тогда революционные герои заменялись в искусстве реабилитированными монархами и генералиссимусами. Эйзенштейн остановился на Невском – далекая эпоха, почти не сохранившая материальных следов, меньше будет придинок. Задание заключалось в том, чтобы воспеть победу могучего русского воинства над врагом, техни-

чески лучше подготовленным и напавшим внезапно. Сталин сам просмотрел литературный сценарий, и его напечатали в 12-м номере «Знамени» за 1937 год. Чтобы не появились «художественные» уклоны, к Эйзенштейну приставили двух комиссаров – бывшего чекиста писателя П. Павленко и второго режиссера Д. Васильева, которого сделали сопостановщиком и по алфавиту назвали первым. Эйзенштейн согласился: «Эстетические приверженности стиля наших прежних работ уступили политической актуальности темы»; «Тема новой работы может быть лишь одна: героическая по духу, партийная, военно-оборонная по содержанию и народная по стилю. Она будет служить победному шествию социализма». Ливонские и тевтонские рыцари должны выглядеть «предками нынешних фашистов», а «XIII век дышать той же эмоцией, что и мы».

Эйзенштейн торопился выполнить задание, которое возвращало его в режиссуру. Начальство приказало удовлетворять все его просьбы, даже за счет других картин. Работу над «Бежиным лугом» приостановили в марте 1937 года, к сценарию «Невского» приступили в августе, а к съемкам – 5 июня 1938 года и 7 ноября их закончили. Тогда это считалось необыкновенно быстро. Даже зимы не стали ждать – насыпали во дворе студии мел. 10 ноября ночью Эйзенштейна разбудили и потребовали срочно прислать картину Сталину. А через несколько часов поздравили по телефону с успехом. В фильме есть внутренняя диспропорция – слишком много места занимает ледовое побоище. Впопыхах ленту повезли Сталину без одной коробки – эпизода кулачного боя на новгородском мосту. Эйзенштейн потом просил вставить «сценарно абсолютно необходимую сцену», но кинематографическое начальство не решилось и не сделало этого до сих пор.

Ложно-монументальный стиль «Александра Невского» открыл в советском кино направление, которое скоро восторжествовало: замену кинематографичности театральными декорациями, многофигурными массовками, статичной театральной игрой, оперной пышностью и торжественностью – от «Клятвы» М. Чиаурели до «Освобождения» и «Коммунистов» Ю. Озерова.

Эйзенштейн добился своего: фортуна на несколько лет улыбнулась ему, и до разгрома в 1946 году, когда запретили вторую серию «Ивана Грозного», он ходил в любимчиках.

Съемочному коллективу вручили переходящее красное знамя «Мосфильма» за досрочное окончание съемок, а постановщику – орден Ленина. Когда 1 февраля 1939 года в Кремле раздавали ордена, Эйзенштейну поручили выступить с благодарственным словом от имени награжденных. В 1940 году его сделали художественным руководителем «Мосфильма». Он был в почете и не хотел терять расположения властей. А так как исповедывал принцип «социального заказа», то тут же взялся за работу, прямо противоположную «Невскому». Молотов подписал в Берлине пакт о ненападении с Риббентропом, и на какое-то время «Невского» перестали показывать. По первому телефонному звонку художественного руководителя Большого театра С. А. Самосуда Эйзенштейн согласился поставить «Валькирии» – любимую оперу Гитлера, музыкальный символ утверждаемого нацизмом национального духа. Лишь бы дали работать, а трактовать тевтонцев как «псов» или как «рыцарей» – Эйзенштейну было безразлично. Он сказал, что Вагнер воплощает «творческую волю народа» и пора «приблизить к нам эпос германских народов». Кинорежиссер Г. Рошаль вспоминал, что это был «вагнеровский парад тевтонских героев в то время, как все более реальной была война с фашистской Германией», «торжественный парадный спектакль в фарватере советско-германских дипломатических отношений». Но на сей раз Эйзенштейну не повезло: спектакль, премьера которого состоялась 21 ноября 1940 года, прошел всего несколько раз – близилась война, и на экраны опять вышел «Александр Невский». Желание же угодить Сталин оценил – 15 марта 1941 года Эйзенштейну присудили за «Невского» сталинскую премию первой степени.

* * *

...Осенью 1953 года в конференц-зале московского Дома кино на улице Воровского выступал министр культуры Н. Михайлов – кажется, самый некультурный из всех, кто занимал этот пост. Говорил он бессвязно и безграмотно, перескакивая с пятое на десятое, и вдруг мелькнула фамилия Эйзенштейна без обычных до того ярлыков: «формализм», «антиисторизм», «гамлетизм», «изыски», «бесплодные по-

иски», «ложный путь», «грубейшие ошибки», «порочные теории» и «заблуждения», – без которых его имя с 1946 года не употреблялось. Это было непривычно, но понятно – подул новый ветер. Из косноязычной речи министра можно было уловить и причины: «заблуждения» и «ошибки» не мешали режиссеру всегда следовать генеральной линии партии и воспевать ее, а за границей он очень популярен, и поэтому отношение к Эйзенштейну надо пересмотреть.

Оттепель еще не начиналась, до реабилитации Мейерхольда оставалось два года. Эйзенштейна оправдали первым. Сначала его перестали ругать, потом стали восхвалять, пока не остановились на формулах классика и зачинателя советского кино и одного из основоположников социалистической культуры. Издали шеститомник – первое в кино собрание сочинений, монографии, сборник воспоминаний, книгу в серии «Жизнь замечательных людей», учредили во ВГИКе стипендии Эйзенштейна, а улицу рядом с институтом назвали его именем, на доме, где он жил, установили мемориальную доску, сняли посвященный ему документальный фильм, созвали посвященный ему международный симпозиум, открыли – тоже впервые в кино – музей-квартиру кинорежиссера и стали возить по всему миру выставки его рисунков. Наконец, через десять лет после смерти установили и торжественно открыли памятник на его могиле. Но с последним фильмом – второй серией «Ивана Грозного» – долго не знали, как поступить. В 1946 году его запретили постановлением ЦК КПСС и выпустить решились только спустя двенадцать лет: «наверху» шли споры о том, какие ассоциации вызовет картина у сегодняшних зрителей – только с покойными Сталиным и Берией или с действующим советским режимом. Начало оттепели помогло картине увидеть свет.

И все же по нарастающей, как принято в СССР, словословие не пошло: пароходы, города, колхозы и даже киностудии именем Эйзенштейна не называли – слишком не по-русски звучит фамилия и вызывает у рядовых людей ненужные вопросы. Даже дали указание всячески подчеркивать коренное происхождение матери – дочери купца первой гильдии из Петербурга Юлии Ивановны Конецкой, а происхождение отца обходить. В. Вишневский в книге «Эйзенштейн» (1939) написал, что он родился в «петербургской интеллигентной семье», что неправда, потому что он родился в Риге и отец его не был петер-

буржцем, но Рига тогда была столицей независимой Латвии, и это ухудшало анкетные данные режиссера. В одноименной монографии В. Шкловского (1973) подробно рассказывается, как проходил обряд крещения будущего «вдохновенного борца за идеи социалистической культуры» (из предисловия к шеститомнику Эйзенштейна), а об отце сказано, что он был «городским инженером», что тоже неправда, так как он был главным архитектором Риги и действительным статским советником. Р. Юренев в предисловии к сборнику «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» (1974) настаивает на том, что Эйзенштейн родился в семье «обрусевшего прибалтийского немца», из чего можно сделать вывод, что неблагоприятное для советского уха звучание решено объяснять немецким происхождением отца, и это считается из двух зол меньшим: Михаил Осипович – крещеный еврей. Сам Сергей Михайлович этого обстоятельства не скрывал и 24 августа 1941 года выступил даже на антифашистском митинге «представителей еврейского народа» в Москве (составители подробнейшей «Летописи жизни и творчества С. М. Эйзенштейна» в его шеститомнике этот факт опустили), хотя не только формально, но и по духу к еврейству отношения не имел*.

Мальчик рос одиноким, запуганным, не любил отца. В статье «Сергей Эйзенштейн» сам объяснял свое творчество комплексами и впечатлениями детства:

«Меня в детстве, очень рано, пугала маменька.

Она говорила:

„Ты думаешь, я мама?

Я – вовсе не мама“.

Она при этом делала неподвижное лицо с остановившимися стеклянными глазами.

И медленно надвигалась на меня.

Неподвижное лицо.

Маска с остановившимися глазами.

(Отсутствие живого лица!)

*Как и другие деятели русской культуры, родившиеся от матерей-христианок и крещеных или некрещеных отцов-евреев: композитор А. Рубинштейн, поэт С. Надсон, режиссеры В. Мейерхольд и А. Таиров, пианист А. Гольденвейзер, писатель К. Чуковский, литературоведы Б. Эйхенбаум и В. Шкловский, драматург Е. Шварц...

Так же тупорыла и „свинья“ с темным прорезом в шлемах вместо живого глаза. (Речь идет о тевтонской коннице – „свинье“ в „Александре Невском“. – С. Ч.)

Одесская лестница („Потемкин“).

Сапоги солдат.

Безлики...»

Какая страшная запись. Тупая неотвратимая сила солдатской шеренги на Одесской лестнице рождена в воображении режиссера материнским лицом над кроватью ребенка. Его несчастной внутренней жизнью. Лицо матери над колыбелью в числе неизгладимых детских травм – вместе с циклом литографий Домье о Парижской Коммуне и книгой-альбомом «Знаменитые казни».

Может быть, в этой одержимости темными страшными образами, гоголевскими «рожками» и «кувшинными рылами» объяснение наиболее сильного, постоянного, навязчивого мотива творчества – тупого бесчеловечия, злобной расправы над беззащитным, секрет так часто встречающегося в его статьях слова «исступление» и образа хлыстовского радения и мусульманского праздника Шахсей-Вахсей с сотнями иссекающих себя плетью фанатиков. Жестокость была заложена в природе Эйзенштейна, а эпоха помогала не стесняться ее, ибо все темное и страшное в нем оказалось созвучно ей. И не потому ли бывший студент, бывший военный техник, человек, готовившийся стать переводчиком с японского и театральным художником, в девятнадцать лет отказался от своей дороги и ринулся в революцию. Поверил, что он лично сможет теперь делать все, что захочет, и «беспощадно сметать старые концепции и верования». Не потому ли разошлись его пути с отцом: Михаил Осипович вступил в Белую армию, Сергей Михайлович – в Красную: рисовал «революционные» плакаты, карикатуры на Антанту и оформлял «агитпоезда». Был ли этот выбор продиктован холодным расчетом или наивным идеализмом, но, так или иначе, комплекс жестокости и разрушения получил возможность для самовыражения.

В статье «Как я стал режиссером» Эйзенштейн писал:
«Убить! Уничтожить!»

Не знаю, из таких ли же рыцарских мотивов или из таких же недодуманных мыслей, но этот благороднейший порыв к убийству, достойный Раскольникова, бродил не только в моей голове.

Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства (...) Людей разного склада, разного багажа, разных мотивов на общей платформе практической ненависти к „искусству“ объединял Леф».

Эйзенштейн поклонялся Маяковскому и учился у Мейерхольда, осмеивал «традиционалиста» Станиславского и «оппортуниста» Таирова и сам поставил в театре Пролеткульта спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», используя сюжетную схему пьесы Островского для смеси цирка, мюзик-холла, балагана и кино и перенес действие в сегодняшний день. Это был эпатаж, надругательство над классикой, против которого власти не возражали, ибо оно «разоблачало мировую буржуазию». К именам Глумова, Голутвина и Крутицкого прибавились Жоффер, Пуанкаре, Милюков и другие «враги молодой советской власти». Бывший секретарь Сталина Б. Бажанов, видевший спектакль, замечает, что «к сожалению, ничем, кроме большевистской благонадежности, текст не блистал», и приводит текст частушки, которую исполняют «эмигранты»:

Париж на Сене,
И мы на Сене.
В Пуанкаре нам
Одно спасенье.
Мы были люди,
А стали швали,
Когда нам зубы
Повышибали.

Театральный опыт Эйзенштейна кончился тем, что публика на его спектакли перестала ходить. «Слышишь, Москва?» и «Противогазы» – примитивные, фальшивые и убогие агитки о «классовой борьбе» – навсегда определили для Эйзенштейна то, что он назвал «установкой на тематический эффект, то есть на выполнение агитзадания», на искусство, подчиняющее себя государству, его политике, пропаганде и агитации. В этом смысле он не изменил себе и оставался одинаковым всегда – и тогда, когда клеймил эмигрантов в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», и тогда, когда прославлял партию в «Октябре», и в парадных портретах князей и царей на фоне трепещущих знамен в «Александре Невском» и «Иване Грозном».

Только сначала это государству нравилось, а потом перестало, хотя старался он одинаково.

На фотографии, сделанной в Мексике, улыбающийся Эйзенштейн стоит с черепом в руках. Он пишет: «Действительно, в моих фильмах расстреливают толпы людей, дробят копытами черепа батраков, закопанных по горло в землю, после того, как их изловили в лассо („Мексика“), давят детей на Одесской лестнице, бросают с крыши („Стачка“), дают их убивать своим же родителям („Бежин луг“), бросают в пылающие костры („Александр Невский“); на экране истекают настоящей кровью быки („Стачка“) или кровавым суррогатом артисты („Потемкин“); в одних фильмах отравляют быков („Старое и новое“), в других – цариц („Иван Грозный“), пристреленная лошадь повисает на разведенном мосту („Октябрь“) и стрелы вонзаются в людей, распластанных вдоль тына под осажденной Казанью». Из этой цитаты неясно, почему поэтика жестокости Эйзенштейна приветствовалась режимом и тогда, когда свирепствовал рапповско-лефовский шабаш, и тогда, когда в кино утверждался салонный стиль, гладенькая аккуратность и обыкновенная пошлость. Дело не только в жестокости Сталина, которому это все нравилось. Не только его комплексам, но, прежде всего, политике технолога власти соответствовали эти картины: отвратительная жестокость характеризует в них «врагов советской власти» или «врагов России» и, в свою очередь, оправдывает жестокость по отношению к ним.

В «Стачке» моторист дореволюционной фабрики из-за аварии попадает в чан с расплавленной сталью. Проволока перерезает рабочему живот. Ребенка давят копыта казачьих лошадей. В эпизод разгона демонстрации, когда толпу рубят шашками, врезаны кадры, снятые на бойне, где рубят головы баранам. Фильм кончается убитыми людьми и убитыми животными и надписью: «Запомним кровавые рубцы на теле пролетариата».

В «Октябре» расстреливают июльскую демонстрацию 1917 года в Петрограде – сколько холодного безразличия в красиво поставленных и снятых кадрах массового убийства.

В сценарии «Броненосца „Потемкина“» читаем: «Бьют гимназистов. Сапогами. Поднимают за волосы и опять бьют. Бьют головой об мостовую. (10,11 лет). Мальчики пробуют спастись в подъезде. Отсюда их вышвыривает пристав Пуза-

нов. Попадают под ноги лошадей. Разрубили гимнастику лицо. Защищать не давали». А на экране повешенные на носу корабля матросы, отсеченные уши, трупы, горящие в гробах, калека на самокатке под ногами лошадей, мальчик, пускающий кораблик в луже крови, семимесячный ребенок, задушенный в люльке при обыске... Из современных копий «Потемкина» один кадр по причине натурализма решили изъять: учительницу с вытекающим глазом в эпизоде расстрела на одесской лестнице. Фильмы Эйзенштейна взывают к мщению «врагам революции», из-за которых происходили все мерзости и гнусности дооктябрьского мира, его злоба, тупость, уродства. А посему – «раздавить гадину!», как на плакате Д. Моора.

Картины Эйзенштейна – не для широкой публики, а для эстетов. Если не считать «Ивана Грозного», зрителей на них загоняли с помощью обязательных «коллективных просмотров», пропагандой в печати и отсутствием другого зрелища, но настоящим успехом они не пользовались даже во время выхода на экраны, а проверку временем не выдержала ни одна: в СССР их показывают редко, да и то фрагментами во время лекций. На Западе они собирают немногих левых и тех, кто интересуется историей кино. Специалист оценит их пластическую выразительность, внешнюю живописность – композицию кадра, утонченность, даже изысканность изображения, удачные метафоры, но за этим внешним блеском внутренняя пустота и убогая примитивная мысль: мир делится на два цвета, и любая жестокость оправдана классовой борьбой. А когда классовую идею заменила национальная, то она объяснила расправу тевтонцев с младенцами в «Невском», казнь бояр Колычевых, поджоги, грабежи и отравления в «Грозном». И если всерьез говорить о набивших оскомину «неумирающих традициях Эйзенштейна в советском кино», то они заключаются прежде всего в этом – бесконечной экранной борьбе с «врагами революции» и «врагами России», ведущейся во всех советских фильмах, убеждающих зрителей в том, что жестокость не только необходима, но и нравственна, – без этого картины признаются неполноценными и относятся ко второму сорту.

Советская власть захватила кинематограф 27 августа 1919 года, когда Ленин подписал декрет о его национализации и вместо свободного соревнования и предпринимательства

установил централизованную бюрократическую систему, где кинематографист – служащий на зарплате у государства. Изданный в том же году сборник «Кинематограф» открывала статья А. Луначарского «Задачи государственного кинодела». Они заключались в его «мобилизации» для пропаганды и агитации. Управлять кинематографом поручили ВФКО (всероссийский фотокиноотдел) при Наркомпросе, преобразованному в 1922 году в Госкино, в 1926 – в Совкино, в 1930 – в Союзкино вплоть до сегодняшнего Госкино при Совмине СССР. Эйзенштейн пришел в эту организацию в 1923 году и начал с фальсификации зарубежных лент, выходящих в прокат. Ему давали копию (например, «Доктор Мабузе» Фрица Ланга), и он переставлял в ней эпизоды, сокращал, комментировал своими надписями, чтобы решить «социальную задачу», выявив «прогрессивную направленность» ленты, после чего она признавалась «пригодной для показа массовому зрителю». Иногда брал для этого два фильма и монтировал один. Делал это изобретательно, и на молодого, веселого и циничного фальсификатора обратил внимание руководитель Пролеткульта В. Ф. Плетнев, предложивший поставить картину о провокаторах в революционном подполье.

В работе тема изменилась, и фильм – не слишком ясный, без сюжета, фабулы и героев, но с четко расставленными «классовыми» акцентами – назывался «Стачка»: бастующим рабочим противостоят хозяева, полиция и казаки. Первые симпатичны, вторые отвратительны – они топчут людей лошаадьми, хватают за рубашонки играющих на галерее дома детей и бросают их на мостовую. Формальные выдумки свидетельствовали о том, что истина режиссеру безразлична. Например, конспиративное собрание рабочих происходило на полузатопленной барже, по колону в воде, – так выглядело эффектнее. Партийное начальство не возражало. «Правда» назвала «Стачку» первым истинно пролетарским фильмом и хвалила его за «политическую направленность» и «классовую прямоту». Поэтому следующий фильм Эйзенштейна был уже «социальным заказом», сделанном на правительственном уровне.

В июне 1925 года юбилейная комиссия при агитпропе ЦК РКП (б) и ЦИК СССР предложила ему снять картину к двадцатилетию революции 1905 года, отмечаемому в декабре. Режиссера вызвал сам председатель комиссии и

ЦИК М. Калинин. Из избытка материалов в конце концов остановились на эпизоде восстания броненосца «Князь Потемкин Таврический». Подлинные события не интересовали и здесь. Главное, чтобы офицеры выглядели извергами.

Выполнению государственного заказа содействовали на «высшем» уровне: председатель Реввоенсовета и наркомвоенмор М. Фрунзе по просьбе кинематографистов разрешил выстрелить одновременно из всех орудий Черноморского флота. Детали порой оказывались яркими, метафоры неожиданными, суть оставалась лживой. Чем эффектнее выглядели отдельные сцены внешне – например, детская коляска в эпизоде расстрела на одесской лестнице, – тем большее отвращение вызывали. Не испытавшие на себе революцию и ищущие острых ощущений на экране левые кинематографисты Запада превознесли фильм за «революционность». Советским чиновникам, хорошо помнившим подлинные события, его примитивность и плакатность были настолько очевидны, что один из руководителей Совкино предложил оставить картину «для клубного проката». Об этом свидетельствует В. Б. Шкловский и поясняет: «К ней отнеслись как к агитке». Б. Бажанов, сидевший на премьере рядом с видным партийным сановником Я. Рудзутаком, приводит его слова: «Конечно, агитка, но давно уже нужен стопроцентный революционный фильм». Бажанов делает вывод: «Так что заказ был выполнен, и в фильме все было на месте – и озверелые солдаты, и гнусные царские опричники, и доблестные матросы». Исходя из этого, картину признали выдающимся достижением молодого советского кино и устроили премьеру в Большом театре на торжественном заседании советских, профессиональных и партийных организаций вместе с делегатами XIV съезда партии. Натянули грандиозный экран, пригласили симфонический оркестр и хор. «Киногазета» написала: «Эйзенштейн выполнил своей лентой социальный заказ».

Узурпаторы нуждались в подобных картинах. Через несколько лет министр информации Третьего рейха Й. Геббельс упрекал нацистских кинематографистов за то, что они не сняли своего «Потемкина», – тоталитарные режимы предъявляют к искусству одинаковые требования.

За заказ платили по нормам того времени. К середине двадцатых годов с уравниловкой уже кончали и научились повышать уровень жизни тех, кто верно служил. Еще не с по-

мощью «пакетов», дач и машин, но уже существенно. Эйзенштейн жил в одной комнате со своим другом актером М. Штраухом и его женой актрисой Ю. Глизер: комната разделялась занавеской. Жилком получил команду свыше и вынес решение: «Жилищный комитет, просмотревший картину, постановил: дать Эйзенштейну вторую комнату». Еще существеннее для судьбы режиссера оказалось то, что на него обратил внимание Сталин, с тех пор всегда пристрастно судивший, казнивший или миловавший режиссера. Упорно оттеснявший соперников в борьбе за престол, Сталин использовал для этого все пути, в том числе литературу и искусство, которые подчинял лично себе. Он пригласил Эйзенштейна для беседы в ЦК, и с тех пор тот бывал там часто.

Уже в те годы партийные вельможи начали покровительствовать и «руководили» отдельными деятелями искусства или целыми коллективами – заставляли проводить «линию партии». Бухарин «опекал» театр Мейерхольда; секретарь ВЦИК Енукидзе, заместитель начальника ОГПУ Агранов, а затем Молотов – театр Вахтангова, Ворошилов – Большой театр: ему нравилась не музыка, а балерины. Сталин взял себе ансамбль песни и пляски под руководством Александрова и кино. Ансамбль веселил вождей на кремлевских приемах, а кино Сталин, как и Ленин, ценил за его способность обращаться к массовой аудитории. Сначала он пропагандировал с помощью экрана партийные установки, а потом приказал показывать самого себя – в документальных лентах, а позже в художественных. Ленинская формула «самого массового из искусств» совпала с его собственным вкусом и пришлась ему по душе.

За следующим правительственным заданием Эйзенштейну Сталин следил лично. Он приказал Н. Подвойскому и М. Калининну вызвать его и поручить фильм к десятилетию октябрьского переворота для юбилейной премьеры в Большом театре. Фильм «Октябрь» претендовал на воспроизведение исторических событий, и в нем показывались реальные персонажи – Ленин, Троцкий, Антонов-Овсеенко. Сталина не было. 7 ноября 1927 года в четыре часа дня Сталин неожиданно появился в монтажной «Мосфильма».

- У вас в картине есть Троцкий?
- Да, – ответил режиссер.
- Покажите эти части.

...Эйзенштейн сел рядом. К беседе Сталин расположен не был. Сказал только:

– Картину с Троцким сегодня показывать нельзя...

Немедленно вырезали три эпизода, а еще два, где с помощью ножниц избавиться от Троцкого оказалось невозможно, отложили, и в Большом театре увидели лишь фрагменты картины. Бажанов говорит, что после этого «вся дальнейшая карьера Эйзенштейна проходила в рамках высокого подхалимажа». Возможно, что это спасло ему жизнь. Тогда он об этом задумывался вряд ли.

«Октябрь» канонизирован, и события 25 октября (7 ноября) 1917 года в искусстве и литературе приказано воссоздавать так, как это сделано в «Октябре»: варианты вызывают размышления и потому преследуются. Неважно, что фактически ворота Зимнего дворца не были закрыты и через них не нужно было перелезать, что выстрел «Авроры» вовсе не был сигналом к восстанию, а Временное правительство не имело ничего общего с эйзенштейновской карикатурой*. Чтобы не впасть в ересь, другие режиссеры даже не копируют, а цитируют: вставляют эпизоды «Октября» в свои фильмы как документальные, как хронику, снятую во время событий. С. Юткевич включил в картину «Яков Свердлов» выступление Ленина у Финляндского вокзала; М. Ромм в фильм «Ленин в Октябре» – штурм Зимнего дворца; М. Чиаурели в «Великое зарево» – эпизод расстрела июльской демонстрации; фрагменты из «Октября» попали в картину С. Васильева «В дни Октября», в «Тихий Дон» С. Герасимова...

Но «Октябрь» стал и первым фильмом Эйзенштейна, подвергшимся нападкам. Он художественно интереснее «Броненосца» – средства выражения не столь грубы, киноязык тоньше, символика сложнее. Его ругали за символические линии и «интеллектуализм»: идеологическая чистота уже

* «То, что в учебниках истории называется «Великая Октябрьская Социалистическая революция» на деле было простым переворотом, бескровным, кстати сказать. (...) Красногвардейцы не встретили сопротивления; они изнасиловали половину женского батальона, охранявшего дворец, пограбили по комнатам. При этом двух красногвардейцев пристрелили, а один утонул в винном погребе. Настоящая пальба на Дворцовой площади, когда валились тела и прожекторы скрещивались в небе, имела место гораздо позднее, в постановке Сергея Эйзенштейна». Иосиф Бродский. Ленинград. – В сб. «Часть речи».

перестала спасать, дело шло к «социалистическому реализму» – контролю не только за содержанием, но и формой. Кончался недолгий флирт государства с левым искусством, когда, занятое голодом и войной, оно не обращало внимания на школы, системы, платформы, манифесты и «лаборатории», тем более, что все они поносили старый режим с его искусством. Творческие группы распускались, кинофабрики объединялись, кинематографическая машина становилась полностью централизованной и невероятно бюрократической. В 1927 году, вместе с ликвидацией партийной оппозиции, началось наступление на остатки свобод. В марте 1928 года кинематографистов собрали на первое всесоюзное совещание, где еще раз напомнили страшную ленинскую идею самого массового из искусств и предупредили об опасности формализма – «форма должна быть понятна миллионам». С этого и начался внутренний, не сразу им осознанный конфликт Эйзенштейна с социальным заказчиком: он готов был служить ему верой и правдой, но по-своему, а от него требовали не выделяться, делать «как все».

Еще до «Октября», в конце 1925 года, сразу после премьеры «Броненосца „Потемкина“», Эйзенштейн предложил поставить картину по сценарию С. Третьякова о «борьбе китайского народа с империализмом», долго ходил по инстанциям, пока его не вызвали в ЦК и не дали задание поставить картину о коллективизации в деревне. Изложил его представленный к кинематографу, но ничего в нем не смысливший «старый большевик» К. И. Шутко. Он сказал, что на просмотре в Большом театре Сталин, которому понравился «Броненосец», сказал, что именно Эйзенштейн должен сделать фильм на важнейшую тему – показать крестьянину его будущее. Коллективизация в деревне, сказал Шутко, – это генеральная линия XIV съезда партии. Послушный режиссер тут же придумал название: «Генеральная линия». В ЦК, естественно, одобрили. Кроме всего прочего, это перекликалось с должностью Сталина – генеральный секретарь.

В мае 1926 года началась работа над сценарием, а съемки решили провести с 1 октября по 1 февраля 1927 года, но режиссера перебросили на «Октябрь». К «Генеральной линии» он вернулся только в июне 1928 года и в ноябре ее закончил. Испытанный «классовый» подход остался неизменным: заspanные и жирные «кулаки» и голодные крестьяне. Неизмен-

ной осталась и ложь: голод в деревне, вызванный непосильными сталинскими поборами, представал на экране исключительно наследием царизма. Гнилые избы без крыш – солому с них скормили скоту, полудохлые беспородные лошаденки, убогие коровенки, пахота сохой, страшное запустение – советская деревенская реальность, увиденная кинематографистами в Пензенской и Брянской губерниях, сопровождалась титром, уверяющим зрителей в том, что все это «оставил нам царский строй».

Эйзенштейн деревню не знал, никогда в ней не бывал и увидел ее холодными глазами экспериментатора-иностранца – новый экзотический материал для поисков «золотой середины», «динамических квадратов», формальных, иногда удачных упражнений. Сегодняшний голод он перенес в прошлое, обещанное изобилие – в настоящее. Действие происходит в несуществующей молочной артели, где дикие крестьяне, еще вчера при дележе имущества распиливавшие пополам избу, покупают общий сепаратор и радуются, видя, как быстро превращает он молоко в масло. Но так как ложь была слишком очевидна, режиссер назвал этот эпизод «сном Марфы» по имени главной героини. Сначала она видит тощих коров, тонкие ребра, усохшие вымена; смотря на зрителей печальными глазами, эти коровы встают на колени, и тогда над стадом в блеске солнечных лучей появляется племенной бык. Вымена коров мгновенно набухают, соски не сдерживают напора молока, спины выпрямляются, ребра исчезают. В следующем же эпизоде сон Марфы сбывается: племенной совхоз дарит молочной артели «Власть Советов» бычка. Увитые гирляндами роз, идут на свидание с ним веселые коровы. Стрекот сноповязалок, жирный навоз на коллективно обработанной земле, сусальные экранные подобию венециановской «Жатвы» и состязания косцов из «Анны Карениной», навстречу которым идет трактор. И титр: «Вступайте в артель!»

Эйзенштейн и его помощники Г. Александров и Э. Тиссэ старались как могли, а картину в ЦК не приняли – сочли устаревшей. В декабре 1927 года прошел XV съезд партии, провозгласивший курс не на сельскохозяйственные товарищества, а на «сплошную коллективизацию». Экранными героями становились не молочные сепараторы, а секретари партийных ячеек в деревнях, председатели сельсоветов, лишавшие крестьян собственности и уничтожавшие недовольных «как класс». В

этом заключалась новая «генеральная линия», и, как элегантно выразился киновед Р. Юренев, картина Эйзенштейна «не успевала за бурно развивающимися событиями классово-борьбы в деревне».

Он узнал об этом весной 1928 года, когда в аудиторию киношколы, где он читал лекцию, прибежал бледный дежурный и сказал, что к телефону просят от Сталина. Предложили на завтра быть в здании ЦК на Старой площади. Вместе со Сталиным Эйзенштейна встретили Молотов и Ворошилов. Они «посмотрели» картину и пришли к выводу, что в ней «не удалось масштабно показать размах дел по социалистическому соревнованию в деревне». Сталин приказал переработать сценарий, назвать ленту «Старое и новое» и сделать досье. Их начали в июне, закончили в ноябре, потом продолжили в апреле 1929 года. Теперь группа поехала в более сытую Ростовскую область, где по заграничным руководствам специально для фильма построили образцово-показательный колхоз, молочные фермы и свинарники, каких сегодня нет даже на ВДНХ. Для съемок взяли привезенных из Англии для заповедника Аскания-Нова свиней, американские тракторы «Фордзон», бегавшие в фильме по кругу. И все это выдали за достижения коллективизации. В колхозном хеппи-энде Марфа в шлеме трактористки целуется с трактористом без шлема.

Хотя картину в конце 1929 года выпустили, в ЦК были ею недовольны: в эпоху «ликвидации кулачества как класса» и «головокружения от успехов» от Эйзенштейна ждали лучшего понимания «текущего момента». Но слава создателя революционного кино была еще сильна и смягчила удар; обвиняли не в политических ошибках, а в художественных просчетах: внешность героини непрезентабельна, изобразительный язык чрезмерно сложен и метафоричен, режиссер не нашел «простых, ясных и верных решений, уходит в дебри формальных приемов и индивидуальных экспериментов». За это же и в тех же выражениях ругали снявшего «Землю» Довженко и разъясняли обоим: не «интеллектуальное кино» нужно партии, а экранные олеографии, иллюстрирующие последние постановления ЦК, простые и понятные примеры для прямого подражания. Эйзенштейн попытался схитрить и уверить в своей полезности, написав статью с парадоксальным названием «Эксперимент, понятный миллионам». Симбиоз сочли странным и сомнительным. Метафорический кинематограф,

включая фильмы Козинцева, Трауберга, Пудовкина, Вертова, объявлялся опасным. Тонкость, образность, сложность мысли – вредными. «Каждая картина должна быть полезной, простой и понятной миллионам. Иначе грош ей цена», – поучал Эйзенштейна режиссер П. Петров-Бытов, чутко уловивший партийные требования.

И всё же тогдашние советские вожди недооценили пользу «Старого и нового». Переправляющиеся вплавь стада свиней, поднимающиеся хлеба, экранный пир на весь мир в дрожащей от голода и страха стране открыли еще одно направление, золотую жилу советского кинематографа, разработанную И. Пырьевым («Кубанские казаки», «Шедрое лето»), Г. Александровым («Волга-Волга»), В. Пудовкиным («Возвращение Василия Бортникова»), Ю. Райзманом («Кавалер Золотой Звезды»), С. Герасимовым («Сельский врач», «Поднятая целина») – экранные потемкинские деревни, каких не знало кино. Они делали это проще Эйзенштейна, в «форме, понятной миллионам» и доступной пониманию вождей, и Сталин любил оставлять сотрапезников на просмотры колхозных комедий про свиначок, пастухов, трактористов и богатых невест. В одном из эпизодов солженицынского «Круга первого» вождь смотрит «Кубанских казаков» и замечает, довольный: «А хорошо у нас с сельским хозяйством». (Об этом рассказывал впоследствии и сталинский министр кино И. Большаков.) Такие же ленты наших дней – любимое воскресное развлечение в загородных резиденциях нынешних советских вождей. Сейчас, как и тогда, после таких просмотров печатаются указы о присвоении званий и награждений орденами.

Усердие Эйзенштейна оценили: и ругали, и хвалили его как режиссера придворного. И пока «Старое и новое» тиражировалось, Сталин вызвал его, Александрова и Тиссэ и сообщил, что «во всех инстанциях» согласована их поездка за границу – в моду входила новая форма поощрения. Сталин определил и цель поездки: изучать жизнь и одновременно учиться у нее.

Весной 1929 года группа уехала сначала в Европу, а потом в Америку. Внешне путешествие проходило блистательно: лекции в Сорбонне, участие в международных съездах кинематографистов, встречи с Эйнштейном, Пиранделло, Шоу, Джайсом, Чаплиным, Драйзером... Главными же стали восемь месяцев работы над фильмом «Да здравствует Мексика!»,

деньги на который дал Эптон Синклер – Эйзенштейн познакомился с ним по переписке.

Судить о картине трудно – она не закончена. В сохранившихся фрагментах – история Мексики с доколумбовых времен до наших дней: архитектурные памятники и народные обычаи, недвижимая вечность пирамид и истекающий кровью бык на арене, каменные изваяния древних ацтеков и безудержность барокко в корридах и карнавалах – черепа в касках, цилиндрах, шляпах, сомбреро, матадорских шапочках и епископских митрах, мексиканская история в поэтических образах и видениях художника... Не удалось не только завершить съемки, но даже увидеть отснятый материал. Случилось простейшее: советскому человеку, долго работающему за границей бесконтрольно, перестают доверять. Эйзенштейн не делал ни одного шага без согласования с Совкино и русско-американским акционерным обществом Амкино. Вел себя осторожно: когда позвонил Троцкий, не подошел к телефону. Не помогло. Он чувствовал, что с начала 1931 года отношение к нему изменилось. В далекой киноэкспедиции при тогдашних средствах связи Эйзенштейн не знал, что его считают невозвращенцем. И не понимал, почему Совкино требует бросить работу и вернуться. Понял, когда угрожающую телеграмму за подписью Сталина получил Синклер: «Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который разорвал отношения со своей страной. Я боюсь, что у нас здесь о нем скоро забудут. Как это ни прискорбно, но это факт. Желаю вам здоровья и осуществления вашей мечты побывать в СССР».

Судя по ответу, Синклер за Эйзенштейна испугался: незадолго до этого прошли открытые процессы над представителями старой интеллигенции. 22 ноября 1931 года Синклер телеграфировал: «Что касается ваших формулировок относительно Эйзенштейна, то они являются причиной и моего огорчения, и моего недоумения. Конечно, у меня нет никаких своих источников информации в Москве, но у меня много источников информации здесь, и я могу сообщить вам довольно большое количество фактов, которые не вызывают у меня сомнений. (...) Эйзенштейн, конечно, собирается вернуться в Советский Союз. Во всяком случае, он говорил об этом всем, с кем я обсуждал наши дела, и у меня есть письма от него, в которых он убеждает меня сопровождать его при возвращении (...)»

Перепуганный Эйзенштейн 8 февраля 1932 года публикует в «Известиях» открытое письмо с опровержением слухов «в заграничной прессе» о том, что он арестован, и одновременно просит Совкино разрешить ему закончить работу. Эйзенштейну отказывают, и в апреле 1932 года он возвращается в Москву с надеждой, что Совкино выкупит снятый материал для монтажа. Для этого нужна денежная гарантия, и Совкино ее не дает. Такова история гибели «Мексики» – возможно, самой значительной работы режиссера, душевная рана, которая, по словам знавших режиссера, не заживала никогда. (Для советского киноведения это любимая тема: Синклер не отдал режиссеру материал, а продал его «Парамаунту», где его растащили на ремесленные поделки; буржуазные делеги оборвали великую песню советского режиссера.)

Сталин продолжал гневаться. Об этом знали и не спешили давать новую постановку. Эйзенштейн отсиживался во ВГИКе, где начал преподавать еще в 1928 году. Следующим вышедшим фильмом стал только «Александр Невский». Между «Старым и новым» и «Александром Невским» прошло девять лет. Не разладом с действительностью объяснялись годы молчания Эйзенштейна, а его сложной художественной индивидуальностью, оказавшейся в разладе с требованиями унифицированной массовой продукции.

Эйзенштейна не было в СССР три года. За это время многое изменилось. Сталин добился полного единовластия, и нормой жизни стало единомыслие. Безраздельная победа партии и государства над духовной жизнью народа означала, в частности, и постепенное насильственное насаждение стиля, форм творчества, которые полностью были узаконены в начале 1936 года: в живописи – под передвижников, в поэзии – под Суркова и Жарова, в театре – под бывший императорский Малый и ставший императорским МХАТ, в музыке – под Кабалевского и Дунаевского, в кино, где образцов не было, – под псевдонародный героико-романтический стиль всеобщей захлебывающейся радости. Хохочущие вихрастые парни и курносые девчата, бодрые марши, подвиги и рекорды, тачанки и бурки, кони и кожанки, фронтовые подруги, смелые люди, девушки с характером, веселые ребята, жить стало лучше, жить стало веселее, и если страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Кино предлагало эстетику поголовного счастья, бесконечного восторга, беззаветной

преданности, массового героизма, такую же, что параллельно создавалась в нацистской Германии: военная доблесть, негибаемый дух, великие свершения, славное прошлое, счастливое настоящее, светлое будущее.

Если уровень литературы по сравнению с двадцатыми годами резко упал, то все же в ней происходили художественные взлеты, хотя бы в том, что писалось «в стол»; в кино – ни одного. Эйзенштейн как ведущий кинематографист послереволюционного десятилетия сам подготовил кинематограф тридцатых и последующих годов с его удручающе шаблонной актерской игрой, отсутствием истинных героев и конфликтов времени, воспеванием послушной массы, толпы, с его фальшью и полным отсутствием мысли. К середине тридцатых годов во всем мире появились разнообразные кинематографические стили: шедевры Чаплина «Новые времена» и «Диктатор», ленты Дж. Форда, У. Уайлера, Ф. Капры, К. Видора в США, Р. Клера, Ж. Ренуара, Ж. Фейдера, М. Карне во Франции, А. Корды в Англии. И только в СССР, нацистской Германии и фашистской Италии лживые громогласные фильмы выполняли партийный заказ – разлучали искусство с жизнью. Бездарное время потребовало бесталанного искусства. Призвало тех, у кого ничего нет за душой, кто готов воспевать любые гнусности и преступления режима – лишь бы «с веком наравне», «не упасть с корабля современности», ухватить свой кусок пирога, пока не остался только лагерный паек. Изощрялись в подхалимстве сценаристы от Б. Чирскова и К. Виноградской до Н. Погодина и Е. Габриловича, беспринципные раболепствующие постановщики от М. Чиаурели и Ф. Эрмлера до С. Герасимова и С. Юткевича.

Нравственно Эйзенштейн от них не отличался, но талант его оказался неизмеримо выше, а это не прощалось, как не прощалось все, что поднималось над общим уровнем: художественная самостоятельность приравнивалась к политической независимости. Л. Кулешов, о котором Эйзенштейн сказал: «Мы делаем картины, Кулешов создает кинематографию», – нашел выход: ушел из режиссуры в педагогику. До этого он успешно экспериментировал с кинообразом и монтажом, осваивал кинокультуру Запада. Его обвинили в «грубейших ошибках», «заблуждениях», «переоценке монтажа», «недооценке кадра», «отрицании актера», создании «порочной теории натурщика», «формализме», «американизме» и «низко-

поклонстве». Его режиссерскую судьбу сломали. Возможно, если бы Эйзенштейн тоже бросил режиссуру, для него начался бы тихий и спокойный «профессорский» период – книги, лекции, статьи, пособия, симпозиумы. Создателя революционного кино двадцатых годов, вероятно, посылали бы за границу пускать пыль в глаза, рассказывая о расцвете искусства в первой в мире стране социализма. Но Эйзенштейн этого шага не сделал. И не возражал, когда его имя использовали для того, чтобы «революционным» Эйзенштейном крыть «Круг», «Третью Мещанскую» и «Строгого юношу» А. Роома, эксцентриаду ФЭКС'ов, в которых принимали участие Ю. Тынянов и знаток греческой трагедии Адриан Пиотровский (всех их объявили мрачными, злостными и целеустремленными формалистами), первые работы тех, кто так хорошо начинал и так плохо кончил: С. Герасимова, М. Калатозова, Г. Козинцева и Л. Трауберга, И. Пырьева, М. Чиаурели, Н. Шенгелая. Сегодня уже не все знают, что эти одиозные фигуры тридцатых и последующих годов начинали с «Сердца Соломона», «Соли Сванетии», «Шинели», «Посторонней женщины», «Хаббарды», «Элисо» – свидетельств художественской индивидуальности, немедленно обруганных. Как позже обругали «Машеньку», «Пышку», «Веселые ребята» – лучшие фильмы Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Александрова. Авторы обвиняли в натурализме, эмпиризме, идеализме, мистике, субъективизме, декадентстве, мелкобуржуазности и формализме. В растерянности и отчаянии они били себя в грудь, признавая в ошибках. В попытках спастись, кинорежиссеры нападали друг на друга: Пудовкин – на своего учителя Кулешова, Донской – на Козинцева и Юткевича, и все вместе ругали Эйзенштейна. Таковы были требования и моральный уровень эпохи.

Вернувшись домой, Эйзенштейн, всегда чуткий к настроениям начальства, предложил комедию на современную тему «МММ» с Ю. Глизер и М. Штраухом в главных ролях. Ее приняли к постановке в марте 1933 года и вскоре закрыли: режиссер выбрал эксцентрическую форму, а время эксцентриады уже ушло – жанр вызывал подозрение. (В конце шестидесятых годов положили «на полку» «Последнего жулика» Я. Эбнера и «Интервенцию» Г. Полоки по многократно апробированной и признанной советской классикой пьесе Л. Славина – эксцентрическая манера никак не напоминала «форму, доступную миллионам».)

Сталину нравилась державная столица, и он приказал воспевать ее в книгах, пьесах, фильмах. В июне 1933 года Эйзенштейн стал писать сценарий «Москва», говорил в связи с этой работой о шекспировской традиции, о четырех стихиях – воде, земле, огне и воздухе, о гармонии и дисгармонии вселенной. Сценарий не утвердили. Кинематографистам объяснили: задача экрана воспеть разрушение старой Москвы – Сухаревской башни (первого гражданского учебного заведения в России, где учился Ломоносов), Китай-города, дворянских особняков, памятников, церквей, бульваров и возведение на месте монастырей клубов, а Дворца Советов, высочайшего здания мира, – на месте храма Христа-Спасителя.

Эйзенштейн никак не мог угодить – не потому, что не везло, а потому, что не понял, что его время кончилось: пришли еще более ловкие, веселые, циничные, к тому же не отягощенные эйзенштейновским талантом и эрудицией, и, отталкивая друг друга, предлагали себя режиму. Утраты, неосуществленные намерения, прерванные планы, незаслуженные обвинения – все происходило от того, что, обласканный режимом в двадцатые годы, когда он был ему нужен, Эйзенштейн не замечал, что в его услугах больше не нуждались. Даже тогда, когда ему открыто говорили, что он отстал от советского искусства, уверенно идущего по пути социалистического реализма, что его творчество отравил яд формализма. На всесоюзном кинематографическом совещании в начале января 1935 года автор «Чапаева» С. Васильев упрекал его за постановочные сложности и ненужные теоретизирования вместо создания доступных и понятных фильмов. Эйзенштейн оправдывался и каялся: «Товарищи, мое сердце не разбито, потому что сердце, которое бьется за большевистское дело, разбито быть не может». Перед совещанием раздала орденка к пятнадцатилетию советского кино – Эйзенштейна обошли.

Он решил, что сможет найти себя в новой звуковой кинематографии тридцатых годов, взявшись за предложенную ЦК ВЛКСМ тему – классовая борьба в деревне: история убийства родственниками пионера Павлика Морозова, который будто бы рассказал в сельсовете о действиях отца, продавшего подложные документы беглым кулакам. Этого – истинного или мифического – мальчишку, донесшего на отца, сделали героем хрестоматий, поэм и пьес. Легенда способствовала всеобщему доносительству и стала примером революционной

бдительности. Да и что может быть почетнее для советского мальчика, чем вовремя обнаружить преступную деятельность мамы и папы и сообщить о ней «органам»? Эйзенштейн темой увлекся: эстетическое всегда было для него важнее нравственного.

В марте 1935 года началась работа. Сценаристом стал А. Ржешевский, работавший с Пудовкиным и Шенгеляя. В фильме «Бежин луг» пионера назвали Степок. Из ночных разговоров отца с «кулаками» он узнает о готовящемся поджоге сельсовета и колхозных хлебов и сообщает в правление колхоза. Их арестовывают, но отец расправляется с конвоирами и бежит, находит сына и стреляет в него – мальчик умирает на руках начальника политотдела. Поджигателей находят в бывшей церкви, превращенной в клуб.

Эйзенштейн старался как никогда. Последний раз «учителя» видели на съемках несколько лет назад, и смотреть, как он работает, приезжали Л. Кулешов, А. Мачерет, Ф. Эрмлер, И. Савченко, Б. Барнет, Л. Трауберг, Э. Шуб, С. и Г. Васильевы. Начальство Эйзенштейну не доверяло, и на площадке постоянно находились руководители «Мосфильма» и главного управления кинематографии. Одни эпизоды принимали в репетиции, другие оценивали сразу после съемок, разрозненные куски и незаконченные фрагменты посылали из Харькова, Одессы и Ялты на проверку в Москву. Там нравилась показанная на экране приверженность крестьян новому жизненному укладу, хотя он выглядел не таким радостным, как у Пырьева, но режиссера обвиняли в том, что вместо классовой трактовки событий: кулаки, подкулачники, бедняки, середняки, враги – на первый план вышли библейские ассоциации, конфликт отца с сыном, трагедия отца, страстно любящего сына, но убивающего его. Причем отец – не кулак и не пособник кулаков, а просто духовно отсталый религиозный человек, оправдывающийся библейской заповедью: «Когда Господь Бог наш Всевышний сотворил небо, воду и землю и вот таких людей, как мы с тобой, дорогой сынок, Он сказал: плодитесь и размножайтесь, но если когда родной сын предаст отца своего, убей его, как собаку».

Этого не стерпели: предложили пересмотреть концепцию и, прежде всего, основную коллизию – убийство отцом сына – и начать съемки заново. Приказ по «Мосфильму» от 19 июля 1936 года требовал ввести новые эпизоды, «дающие конкрет-

ную мотивировку перехода отца и других к прямому открытому вредительству», «очистить материал от литературных реминисценций и художественных и философских ассоциаций, засоряющих идейную сущность картины». Эйзенштейн сменил актеров и сценариста – пригласил И. Бабеля, который давно привлекал его тем, что «у Бабеля последовательно проведена тема крови: голоса крови и крови, выплескиваемой лентами из рта». (Отсюда неосуществленные замыслы экранизаций «Карьеры Бени Крика», «Заката» и «Марии».)

И. Бабель написал новый текст диалогов и попытался упростить конфликт. Отец, классовый враг, кулак и вредитель, – основной противник коллективизации. Бдительный мальчик рассказывает любящему его начполиту о причастности отца к поджогу. Вместо разгрома церкви сняли эпизоды подготовки поджога и сам пожар. Добавили зверскую расправу с женщиной – случайной свидетельницей убийства. Отец произносил уже не библейскую заповедь, а слова о предательстве и каре: для него лучше убить сына, чем отдать свое, нажитое – он жертва инстинкта собственности. Эйзенштейн шел на любые переделки, но фильм не спас. В новом варианте осталась философия, абстрактные понятия, идущая от Бабеля символика. Остался пафос извечных страстей и конфликта между отцами и детьми. Борьба за душу Степка шла между его кровным отцом и отцом духовным – начполитом Василием Ивановичем. Отец убивал не потому, что одержим преступной целью: он мстил людям, завладевшим душой его кровного сына. Стеля, он плачет и наедине с умирающим сыном утешает его и наказывает терпеть. А Степок в полубреду зовет отца и целует руки убийцы.

Еще на обсуждении первого варианта Эйзенштейн доказывал авторское право художника на «стиль, идущий от трактовки». Теперь критик Н. Иезуитов вполне в духе партийных требований обвинял режиссера в том, что незавершенный второй вариант построен «на огромном количестве реминисценций художественных, философских, исторических», в нем можно увидеть «и Врубеля, и Коро, и отдельные кадры, снятые под Рериха». Для Эйзенштейна, разумеется, не было новостью, что искусство в СССР выполняет прямую политическую задачу, но он все еще исходил из того, что пригодное для газетного листа экран не терпит. 17 марта 1937 года приказом по главному управлению кинематографии работу над

фильмом приостановили, чтобы больше не возобновлять, и организовали обсуждение неснятой картины. Ее осудили актив кинематографистов, «Мосфильм», ВГИК; материал признали «формалистическим», «зараженным мистицизмом», «примером идейной порочности». Прорабатывали долго, настойчиво. Били наотмашь, в кровь, со всей большевистской прямоотой. Требовали самокритики. Пять лет назад Эйзенштейн еще мог отбиваться. Он писал: «Советское кино так застрашало самого себя ку-клукс-кланом «формализма», что почти ликвидировало само творчество и творческие искания в области формы. Стоило кому-нибудь из кинематографистов призадуматься или поработать над проблемой выразительных средств для воплощения идеи, как на него немедленно падала тень подозрений и обвинений в формализме». Он написал эти слова в газете «Кино» через несколько месяцев после возвращения из Мексики. Теперь за такую речь могли отправить в лагерь. Мейерхольд в последнем выступлении, после которого его арестовали, говорил примерно то же. Теперь полагаюсь каяться.

Госиздат быстро собрал сборник статей «Об ошибках фильма „Бежин луг“». Эйзенштейн первым написал статью «Ошибки „Бежина луга“», обвиняя себя в стихийной революционности там, где должно быть революционное сознание, в стремлении к абстрактным обобщениям вместо конкретных художественных образов. Он писал: «Полею привлечения внимания становится психологическая проблема сыноубийства. И эта обобщенная проблема оттесняет на задний план основную задачу – показ борьбы кулачества против колхозного строя». Даже с учетом всех наших сведений о 1937 годе эта статья вызывает такой стыд за автора, что ее не включили в шеститомное собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Искусство» в шестидесятые годы. Зная Эйзенштейна, в частности М. Ромм, утверждали, что если «Мексика» стоила ему нескольких лет жизни, то история с «Бежиным лугом» не меньше.

Картина не сохранилась. Есть три версии: фильм утратили при эвакуации; картину в начале войны зарыли на Путьлихе (так называли «Мосфильм» по названию деревни, где построили кинофабрику), но в этом месте упала бомба и уничтожила ее; третью рассказал Ромм. Несмонтированный материал второго варианта с неотобранными дублями без ве-

дома Эйзенштейна взяли из монтажной и показали Сталину. На экране без конца катились пылающие бочки – то на зрителя, то от него, то поперек кадра, то крупно, то на общем плане. Несколько минут подряд вылетали голуби. Сталин рассердился, приказал пленку смыть, а режиссера проработать за формализм. Случайно сохранились отдельные кадры, отрезанные от каждого куска пленки, – срезки. Из этих статических изображений, сложенных в определенном порядке, смонтировали для архива небольшой фильм. Он передает содержание многих эпизодов из обоих незавершенных редакций, дает возможность увидеть внешние черты замысла. Чем-чем, но формализмом там и не пахнет – стоп-кадры просты настолько, насколько от Эйзенштейна этого требовали.

Но в 1937 году режиссер боролся не за обреченный «Бежин луг», а за право работать дальше. Клялся в верности, убеждал в том, что еще может пригодиться. Не помогло. Как пишет Р. Юренев, даже «ученикам поверженного автора „Бежина луга“ не спешили давать самостоятельные постановки». Он предлагал фильмы о гражданской войне в Испании, о революции в Гаити, хотел поставить «Мы – русский народ» по В. Вишневскому, экранизировать «Железный поток» А. Серафимовича, писал сценарии картин о Первой Конной армии, о штурме Перекопа («Фрунзе»), утверждал, что в состоянии перенести на экран не только «Капитал» Маркса, но и решить кинематографическим языком темы «Диалектического материализма» и «Тактики большевизма», позже начал сценарий «Дела Бейлиса». Разрешили приступить к «Ферганскому каналу», надеясь, что это будет гимн стройкам пятилеток, но после первых съемок закрыли по той же причине, что и «Бежин луг»: вместо решения злободневной политической задачи режиссер искал столкновения и контрасты эпох, памятники времен Тамерлана, который пришел и разгромил древнейшую культуру, уничтожив систему орошения. У режиссера возникли сотни образов, тысячи ассоциаций, а в приказе о закрытии говорилось: «из-за необходимости серьезной переработки сценария».

Эйзенштейна ругали уже не только за новые грехи, но и за еще недавно считавшийся революционным «Броненосец „Потемкин“» – «за отсутствие индивидуальных характеров», а эйзенштейновское «интеллектуальное кино» вошло во все монографии, учебники и вопросники как пример глубоко по-

рочной, вредоносной идеалистической теории. В вышедшей в 1939 году брошюре В. Вишневого «Эйзенштейн» «Бежин луг» назван его «новой неудачей», в которой виноваты «многие факторы, в том числе и происки врагов, которые привели к неблагоприятному исходу работы». Дальнейшие планы Эйзенштейна, утверждает автор, «расстреляли вредители».

Во вредители тогда мог попасть любой кинематографист, в том числе и Эйзенштейн. Арестовали И. Бабея, начальника главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при Совнаркоме СССР Б. Шумяцкого, возглавлявшего это учреждение с 1930 по январь 1938 года (его объявили врагом народа, германо-японским шпионом и пособником Троцкого), сменившего его С. Дукельского, директора «Мосфильма» Бабицкого, почти всех директоров других студий, операторов В. Нильсена и Ю. Желябужского, актеров К. Эггерта и А. Дикого, сценаристку Т. Златогорову, теоретика кино А. Пиотровского, режиссера Н. Экка – постановщика картины «Путевка в жизнь», десятки вторых режиссеров, ассистентов, директоров картин, администраторов. Меньше других среди арестованных оказалось режиссеров и актеров. Сталин относился к ним как царь к шутам и тех, кто его славил, в общем не трогал, но страх сковал всех. «... страх сковал всю страну, всех людей без исключения», – пишет Н. Мандельштам. Как все, Эйзенштейн прислушивался к тормозящим у подъезда машинам и поднимающемуся лифту, ловил ночные звонки, стук в дверь, шаги на лестнице и остался во власти страха до конца своих дней. «Испытание страхом, – утверждает Н. Мандельштам, – одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут».

Страхом наполнены газетные статьи Эйзенштейна. Он пишет о «тупом, беспринципном, политически вредном подходе бывшего руководства» кинематографией; честит Бухарина; писателя Панаита Истрати, сказавшего об СССР правду, называет «ренегатом и сволочью»; приветствует возвратившихся полярников; скорбит о гибели Чкалова; восторгается сталинской конституцией и решениями XVIII съезда партии; восхваляет самые бездарные кинематографические поделки – «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек с ружьем», «Великий гражданин», «Ошибка инженера Кочина», «Суворов», «Кутузов»... Человек огромной эрудиции, говоривший, читавший и писавший на четырех языках, изу-

чавший механику, лингвистику, живопись, рефлексологию, музыку, архитектуру, литературу, чьи статьи и лекции поражали богатством привлекаемого материала, энциклопедическими знаниями, он стал писать элементарно-плоско, ordinarily, употребляет стертые слова, казенную фразеологию, заимствованные определения и выражает до постыдного бездарные мысли. А на жизнь зарабатывает во ВГИКе: по очереди с Кулешовым заведует кафедрой кинорежиссуры, и они по очереди (так приказывали) обвиняют друг друга в формализме. (После постановления ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» в 1946 году сняли с работы обоих.)

По статьям Эйзенштейна об искусстве (теперь они собраны в его пятитомнике) почти невозможно представить себе реальный кинематографический процесс тех лет. В них присутствуют античные мудрецы от Аристотеля до Сенеки, восточные – от Конфуция до Омара Хайяма, гиганты Ренессанса, священники и атеисты, ученые и художники, искусствоведы всех времен и специальностей, политики, социологи, революционеры, писатели, но только не правда о кинопродукции его времени. Он пишет о «вертикальном монтаже», о «строении вещей», «сюжете в деталях», драматургии кадра, сходстве монтажных представлений с традициями пушкинского письма, создавая иллюзию искусства, которого нет, и даже не приступая к разбору лент, снимающихся на «Мосфильме» и других студиях*.

* В 1947 году Эйзенштейн возглавил созданный тогда сектор кино Института истории искусств Академии Наук СССР. Современное советское киноведение идет по пути, проложенному Эйзенштейном, но только без его эрудиции: если фильмы должны отвлекать от действительности, то кинокритика – уводить от фильмов как от явлений искусства: они остаются «наглядной агитацией». Теперь есть научно-исследовательский институт теории и истории кино, секторы кино при республиканских Академиях наук, кафедры в университетах, киноведением и кинокритикой неплохо кормятся сотни людей. Когда нет искусства, расцветает искусствоведение: бесконечное число докторов, кандидатов, старших и младших научных сотрудников, ссылаясь на фильмы, убеждают зрителей в преимуществах «советского образа жизни». Люди эти, конечно, разные: есть опытные, знающие и талантливые – их почти не печатают, есть профессиональные погромщики, а основная масса – делеги, привычно восхваляющие одобренные фильмы, осуждающие «безыдейные» и более или менее аккуратно описывающие остальные. Впрочем, и описывать разрешают не

Эйзенштейну все чаще кажется, что спасти может только фильм о Сталине. Не ему одному. По свидетельству Н. Мандельштам, и Б. Пастернак «бредил Сталиным», и О. Мандельштам написал «Оду», да было поздно. И М. Булгаков писал пьесу о Сталине. Кто их осудит? «Александром Невским» Эйзенштейн доказал, что понял партийные требования: вождь вернул ему свое расположение. По его заданию в январе 1941 года кинематографическое руководство предложило Эйзенштейну поставить картину об Иване Грозном, и он тут же начал работу над сценарием. Приказ о запуске в производство подписали в январе 1942 года, а съемки начались в Алма-Ате в феврале 1943-го. «И совершенно не случайным кажется, – писал Эйзенштейн, – что на целый ряд лет властителем дум и любимым героем моим становится не кто иной, как сам царь Иван Васильевич Грозный».

Новой картине предстояло продолжить линию «историко-биографических» фильмов, восходящих к стилю «Александра Невского» и романов Загоскина. Эйзенштейна это не смущало – он шел по своей генеральной линии, которая кончилась восхвалением самой зловещей фигуры русской истории. «Пусть осенит нас победоносное знамя наших великих предков», – молитвенно призвал Сталин летом 1941 года, когда Гитлер побеждал. Ему явно хотелось к именам Невского, Пожарского, Минина, Кутузова, Суворова добавить Ивана Грозного, но не решился – все-таки царь. Это сделал Эйзенштейн своим фильмом. Сталин мог бы остановиться и на Петре I, но, во-первых, фильм о нем уже сняли, во-вторых, Грозный не страдал, как Петр, западническими пристрастиями, а нрав у него был еще круче. В советской литературе и искусстве шел процесс, который А. Толстой назвал «восстановлением генети-

всё – десятки положенных и даже не положенных «на полку» лент изъяты из «научной» и критической деятельности. Между тем, единственное серьезное, чем эта критическая армада могла бы заняться, – это показать, как убивают художников, начиная с Эйзенштейна, и как эти художники сами идут навстречу своей гибели. Заняться не несколькими выдающимися картинами, а массовой продукцией, чтобы люди увидели, чем их всю жизнь кормят. Нельзя не изучать ленты, оттого что их противно смотреть, а авторы заслуживают презрения: для науки характерное может быть важнее выдающегося, и именно из характерного складывается реальная история кино, мимо которой проходил и Эйзенштейн.

ческих линий от советского периода к историческому прошлому России». Он оправдывал Сталина Петром, Эйзенштейн – Грозным. А. Толстой внушал, что без жестоких методов петровских преобразований не было бы великого государства. Эйзенштейн продолжил: «Мало кто вникал в суть его великолепной государственной деятельности – до мельчайших черт предвосхитившей то, что победоносно удалось осуществить Петру Великому».

«Иван Грозный» с легкой руки Карамзина всегда считался «извергом» и «тираном». Так трактовался он и в марксистской историографии, где все цари выглядели примерно одинаковыми, и в фильме Ю. Тарича «Крылья холопа», где Ивана Грозного играл великий Л. М. Леонидов. Когда на смену революционной фразеологии пришли славянофильские идеи народной монархии, когда на экране и сцене появились цари, князья и генералиссимусы – спасители государства, то подчеркивались не их деспотизм и садизм, а смелость мысли, любовь к стране и к «простым людям». Таковы роман В. Костылева «Иван Грозный», пьеса-трилогия А. Толстого под тем же названием, трагедия И. Сельвинского «Ливонская война», «Великий государь» Вл. Соловьева, поставленный на сцене ленинградского театра им. Пушкина, где Грозного, как и в фильме Эйзенштейна, играл Н. К. Черкасов. Высочайшие особы, преданные идее государства, перестали быть эксплуататорами, крепостниками, угнетателями и ставленниками своего класса – они, по словам Эйзенштейна, были «исторически прогрессивными и положительными» для своего времени. К их числу, кроме Грозного, он отнес еще несколько изуверов – Филиппа II, Екатерину Медичи, Генриха VIII, Людовика XI.

В первой серии фильма Иван Грозный напоминает Александра Невского, только вместо белых балахонов – парча и меха, но в нем та же определенность, однозначность, прямолинейность, то же величавое спокойствие осанки и взора и чуть шепелявая певучесть черкасовских интонаций – в «Невском»: «За Русь!», «И если кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет!», в «Грозном»: «На Казань!», «И нож сей тех пронзит, кто руку на Москву поднял!» Разница небольшая, хотя в первом фильме герой все же проще, плакатнее – святой без характера и биографии. Во втором он многоплановее и чуть достовернее пластически: там грубая бутафория, картон, фанера – здесь художники и гримеры сработали тоньше, изящнее. Но внут-

ренная связь безусловна – та же линия «историко-биографического фильма», та же парадная торжественность.

Первая серия начинается с черных облаков и поющих голосов (стихи Вл. Луговского):

туча черная
поднимается,
кровью алою
заря умывается.

Сверкают молнии, грохочет гром, и голоса поют:

то измена лихая –
боярская –
с государевой силой
на бой идет.

Пролог – заявка на тему: заговоры и предательства как оправдание жестокости. Несчастный мальчик, на чьих глазах бояре отравили его мать, стал не по своей вине, а по необходимости царем жестоким и мстительным. «Не по злобе. Не по гневу. Не по лютости. За крамолу. За измену делу всенародному...» – шепчут его губы, пока монах читает синодик убиенных. Крест, так сказать, тяжелый, но государственно необходимым и нравственно оправданный. Как могло это не понравиться Сталину: пытки, казни, удушения, насилие – и всё во имя государства и народа. Необузданный тиран превращается в фильме в мудрого царя, народного заступника, патриота и собирателя русских земель; террор выглядит делом справедливым и вполне полезным, опричнина – не варварством, а прогрессивной силой.

«Погубить врагов государевых, отказаться от роду, от племени, позабыть отца, мать родимую, друга верного, брата кровного, – клянется Федор Басманов, – исполнять на Руси волю царскую, истребить на Руси лютых врагов, проливать на Руси кровь повинную, жечь крамолу огнем, сечь измену мечом, ни себя, ни других не жалеючи, ради русского царства великого». (Не из этой ли сцены клятвы родился замысел чиаурелевского фильма «Клятва», где достаточно выпреним языком клянется Сталин: «Уходя от нас, товарищ Ленин, как зеницу ока, завещал нам беречь единство и т. д.» – слова

подлинные.) Певцом жандармской деспотической системы выступает в фильме автор. Злодейства – на благо родины, кровь и жестокость – на пользу стране. «Ой, жги, жги, жги», – весело припеваает опричник. Терпите, люди русские, как бы говорит Эйзенштейн, для вас, для вашего спасения душат, вешают, поднимают на дыбы.

Стремление угодить заставляет режиссера обращаться к типажам или очень красивым, или очень некрасивым. Темные силуэты копошащихся врагов: себялюбивый предатель князь Курбский, казнокрад старик Басманов, собственник Пимен, иностранные дипломаты – интриганы, вербующие «морально неустойчивых». Все они низкие, хитрые, тупые, напоминающие карикатуры Бор. Ефимова и Кукрыниксов на партийных оппозиционеров тридцатых годов. Зато палач и доносчик Малюта Скуратов – красив, опричник Васька Грязной, похожий на сталинских выдвиженцев, вполне «народен», а сам царь – благороден, мудр, прозорлив, его путь к самовластью – сплошной подвиг. Эйзенштейн слишком хорошо знал историю, чтобы перепутать характеры – они его просто не интересуют, он идет на натяжки и фальсификацию сознательно, как потребовал от него секретарь ЦК по идеологии Жданов, объяснивший по поручению Сталина цель картины. Фильм – аналогия, история есть урок, который народ должен уразуметь, все должно быть узнаны, не из глубины веков следует вытаскивать те или иные фигуры, а взять современников и перенести в прошлую эпоху. В таких словах Эйзенштейн передал содержание «указаний» критику Ю. Юзовскому. Это модернизация откровенная, аллюзия неприкрытая: Сталин должен узнать себя в Иване Грозном, а его «соратники» – в опричниках.

В декабре 1944 года Сталин принял первую серию без поправок, и в конце войны она вышла на экраны. Он признал ее эталоном исторического фильма. В феврале 1946 года в Доме кино за государственный счет устроили банкет по случаю награждения сталинскими премиями. Эйзенштейн получил медаль лауреата за первую серию «Ивана Грозного». На банкете он председательствовал, был весел, танцевал, пока не сообщили, что вторую серию «Ивана Грозного» отправили в Кремль на просмотр. Через полчаса режиссера отвезли в больницу с тяжелым инфарктом. Там он узнал о запрещении картины. Она вышла через двенадцать лет, и Эйзенштейн больше ее не увидел.

Почему же вторая серия, названная «Боярский заговор», Сталину не понравилась? Идея ее та же: цель оправдывает средства. Мифологических, библейских и литературных реминисценций в ней больше, но и в первой части их предостаточно. Потому ли, что в ней страшней атмосфера и Сталин счел это невыгодным? Но и в первой серии ужасов хватает. Обдумывая будущую картину, Эйзенштейн 16 ноября 1941 года сделал запись: «Тема единовластия решена в двух аспектах. Один – как единовластный и Один – как одинокий. Первое дает тему государственной власти (прогрессивной на данном историческом этапе) – политическую тему фильма. Второе дает тему личную – психологическую тему фильма». «Един, но один» – формула трагедии власти и одиночества, которую не принял Сталин, увидевший в ней намек. Элементы сомнений и внутренних переживаний содержались и в первой серии картины. «Прав ли я в тяжелой борьбе своей?» – спрашивал Грозный, стоя у гроба Анастасии. К концу второй серии он одинок безисходно – его предали, оставили, обманули все, кроме верного «пса царева» Малюты Скуратова. В «Иване» стал явственно чувствоваться мотив Годунова: «Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе...» Сталина разозлили сомнения Ивана. Сам он, отправляя на гибель миллионы людей, ни угрызений совести, ни колебаний, ни сомнений не ощущал – и признал подобную концепцию опасной.

В постановлении ЦК ВКП(б) по кино от 4 сентября 1946 года Эйзенштейна причислили к тем, кто «легкомысленно и безответственно относится к своим обязанностям, недобросовестно работает над созданием кинофильмов». Но главное обвинение читалось в том, что Сталин назвал «гамлетизмом»: «Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского Ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета»*.

* В конце войны по личному указанию Сталина во МХАТе прекратили репетиции «Гамлета» в переводе Б. Пастернака. Театры не ставили «Макбета» и «Бориса Годунова»: «Изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе» (А. Гладков. «Встречи с Пастернаком»).

В. Шкловский сообщает, что в день выхода постановления Эйзенштейн сказал ему по телефону: «Самое страшное в том, что я это переживу».

Когда через двенадцать лет картина вышла на экраны, она вызвала споры. По одной точке зрения, это просталинская апология Ивана Грозного и царской власти вообще. В «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына два персонажа ведут диалог:

«– Иоанн Грозный – разве это не гениально? Пляска oprичников с личиной! Сцена в соборе!

– Кривлянье! – ложку перед ртом задержав, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции!..

– Но какую трактовку пропустили бы иначе?

– Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов».

Противоположного взгляда придерживался М. И. Ромм: «Когда картина была закончена, группа режиссеров была вызвана в министерство. Нам сказали: посмотрите картину Эйзенштейна. Быть беде!..

Мы посмотрели и ощутили ту же тревогу и то же смутное чувство слишком страшных намеков, которые почувствовали работники министерства. Но Эйзенштейн держался с дерзкой веселостью (...) В блеске его глаз, в его вызывающей скептической улыбке мы почувствовали, что он действует сознательно, что он решил идти напропалую.

Это было страшно».

Итак, для одних фильм аморален, для других – высоко нравственен. Есть третьи. Они утверждают, что произведение Эйзенштейна задумывалось как апофеоз Грозного, но образная система взорвала первоначальный замысел. Эмоциональную окраску фильма составляют казни, опалы, доносы, коварство, измены, покушения, заговоры, грабежи, поджоги, убийства, подлость, злоба, страх, подозрительность, разложение, холопство, одичание, и они остаются в памяти зрителей, а не декларированные цели собирания и укрепления государства. И потому объективно, независимо от авторской воли, фильм звучит как осуждение власти самодержавия и тирании. Эйзен-

штейн остается в рамках официальной концепции и утвержденных трактовок, но сквозь них проступает страшное время, настолько страшное, что схемы, трактовки и концепции летят, остается художник, победивший Эйзенштейна-человека.

Эйзенштейн – богоборец? Эйзенштейн, выражающий сознательный протест? Рациональный, холодный и циничный изобретатель, в котором художнический темперамент вдруг победил рассудочность, осторожность и простой человеческий страх?

Солженицын и Х-123 вряд ли читали запись беседы Эйзенштейна со Сталиным после постановления ЦК, но она не оставляет сомнений в их правоте.

Эйзенштейн написал Сталину письмо, в котором признавал допущенные ошибки и просил помочь их исправить. Показал предварительно текст Черкасову, и договорились подписать вдвоем. Расчет оказался верен: хозяин гневался на режиссера – с актера спрос маленький, а Черкасов ему импонировал*.

Ответ на письмо пришел через несколько месяцев: предлагалось 24 февраля 1947 года быть в Кремле в 11 часов вечера. Эйзенштейн дрожал от страха, Черкасов не волновался: на правительственных приемах, встречах и банкетах он выработал манеру разговора с вождями, умел их забавлять и знал, что актерам позволено больше, чем простым смертным. Беседу он тщательно записывал – это поощрялось, ибо свидетельствовало о готовности выполнять «указания». Еще при жизни Сталина он подготовил книгу «Записки советского актёра», где эта беседа приводится вкратце. В 1976 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Черкасов», где запись беседы у Сталина приведена подробнее, но все же не целиком. Здесь она впервые печатается полностью по самиздатской копии с черкасовского оригинала.

* Начиная в Мариинском театре как статист в операх с участием Шаляпина, Черкасов приобрел известность в качестве мима и исполнителя характерных танцев, а затем участника эстрадного трио «Пат, Паташон и Чарли Чаплин» с Б. Чирковым и П. Берёзовым. В театре играл роли, где требовалось эксцентрическое мастерство, броская, заостренная, гротесковая манера игры. Кончил воплощением державного духа в ролях Петра I, Горького, Ивана Грозного, Маяковского, Мичурина и других персонажей советской драматургии, за что получал должности, ордена, звания, избирался в Верховный Совет и т. д.

Сталин устроил нечто вроде совещания за длинным столом кабинета, сам занял председательское место, справа посадил Молотова и Жданова, а слева Эйзенштейна и Черкасова. Его присутствие явно сыграло роль громоотвода: Сталин обращался не к Эйзенштейну, а к нему. Начал строго и поделовому:

– Я получил ваше письмо, получил еще в ноябре, но в силу занятости откладывал встречу. Правда, можно было бы ответить письменно, но я решил, что будет лучше переговорить лично. Так что вы думаете делать с картиной?..

Эйзенштейн ответил, что видит свою ошибку в том, что растянул и искусственно разделил еще на две картины вторую серию, из-за чего основные для всего фильма события: разгром ливонских рыцарей и победоносный выход России к морю – то, ради чего он ставился, – не вошли во вторую серию. Возникла диспропорция, и оказались подчеркнутыми такие эпизоды, которые должны быть проходными.

...От волнения он не мог говорить, и продолжил Черкасов:

– Исправить картину, как нам кажется, можно, но для этого нужно резко сократить отснятый материал и доснять сцены Ливонского похода.

Сталин спросил:

– Вы историю изучали?

– Более-менее, – осторожно ответил Эйзенштейн.

– Более-менее? – грозно переспросил Сталин. – Я тоже немножко знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любое время сворачивать свои знамена и уходить с войны, образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как Ку-клукс-клан. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения... Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнивать с Людовиком XI – вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV? – то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая свою страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком на-

правлении были допущены отклонения и неправильности. Петр I тоже великий государь, но он слишком... раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну. Еще больше допустила это Екатерина II. И дальше. Разве двор Александра I был русским двором! Разве двор Николая I был русским двором? Нет, это были немецкие дворы... Замечательным мероприятием Грозного было то, что он первым ввел монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин – второй.

Жданов: Эйзенштейновский Иван Грозный получился неврастеником.

Молотов: Вообще сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание внутренних психологических противоречий и личных переживаний.

Сталин: Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии неверно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось.

Молотов: Вторая серия очень зажата сводами, подвалами, нет свежего воздуха, нет шири Москвы, нет показа народа. Можно показывать заговоры, но не только это.

Сталин: Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показывать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами. Если бы он это сделал, то на Руси не было бы смутного времени... Тут ему помешал Бог. Иван Грозный казнил себя и молился потом целый год, замаливая «грех», тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее...

Сталин устал, и в его речи начали возникать паузы. Черкасов сказал убежденно:

– Критика помогает. Пудовкин тоже после критики сделал хороший фильм «Нахимов». Мы уверены в том, что делаем не хуже, ибо я, работая над образом Ивана Грозного не только в кино, но и в театре, полюбил этот образ и считаю, что наша переделка сценария может оказаться правильной и правдивой...

Сталин обратился к Молотову и Жданову:

– Ну что ж, попробуем?..

Черкасов стал горячо заверять, что переделка удастся.

– Давай Бог каждый день новый год, – ответил поговоркой Сталин и засмеялся. Эйзенштейн приободрился и спросил, не будет ли еще каких-либо специальных указаний в отношении картины. Сталин ответил с неприязнью:

– Я даю вам не указания, а высказываю замечания зрителя... Нужно правдиво и сильно показывать исторические образы. Вот Александр Невский – прекрасно получился. Режиссер может отступить от истории. Он не должен списывать, он должен работать над своим воображением, но оставаться в пределах стиля.

Жданов: Эйзенштейн увлекается тенями и бородой Ивана Грозного. Черкасов слишком часто поднимает голову, чтобы было видно бороду.

Эйзенштейн: Бороду укорочу, обещаю!

Сталин: В первой серии Курбский великолепен. Очень хорош Старицкий. Будущий царь, а ловит руками мух! Такие детали нужны. Они вскрывают сущность человека. Для актера самое главное качество – умение перевоплощаться. Вот в фильме «Глинка» (режиссера Л. Арнштама. – С. Ч.). Разве это Глинка? Это же Максим. Чирков не умеет перевоплощаться. Вот вы, Черкасов, умеете.

...Черкасов еще больше разрядил обстановку, попросив у Сталина разрешения закурить. Тот разыграл удивление: «Запрещения вроде бы не было. Может, проголосуем?» И предложил свои папиросы «Герцеговина Флор». Черкасов как мог превращал перекур в приятную для всех беседу. На Спасской башне куранты пробили полночь, и Сталин обратился к Молотову и Жданову:

– Ну что ж, вопрос решили? Как вы считаете? Дать доделывать. Передайте об этом Большакову (министр кино при Сталине. – С. Ч.).

...Закрепляя успех, Черкасов уточнял детали:

– Облик царя менять?

Сталин: Облик правильный. Менять не надо. Хорош внешний облик.

Черкасов: Сцену убийства Старицкого можно оставить?

Сталин: Можно оставить. Убийства бывали...

Черкасов: А удушение Малютой Филиппа?

Сталин: Оставьте. Это будет исторически правильно.

Молотов: Репрессии нужно показывать, но объяснять, зачем они проводились.

Эйзенштейн: Я соединю лучшее из второй и третьей серии в одну.

Сталин: Чем закончится фильм?

Черкасов: Малюта умрет на берегу моря. Грозный произнесет: «На морях стоим и стоять будем».

Сталин: Так оно и получилось, даже немного больше.

Черкасов: Политбюро будет утверждать новый сценарий?

Сталин: Разберитесь сами. По сценарию трудно судить. Может, Молотов хочет?

Молотов: Нет, у меня другая специальность. Пусть читает Большаков.

Эйзенштейн: Не торопить бы...

Сталин: Ни в коем случае не торопитесь. И вообще – поспешные картины будем закрывать и не выпускать. Пусть будет меньше картин, но более высокого качества. Зритель наш вырос, и мы должны показывать ему хорошую продукцию. Репин работал двенадцать лет над «Запорожцами»...

Молотов: Девять.

Сталин: Нет, одиннадцать...

Черкасов рассмешил всех, сказав, что второй серии не видел. Эйзенштейн тоже сказал, что он в окончательном варианте картину не смотрел, и это вызвало большое оживление. Сталин поднялся с места со словами: «Помогай Бог!», – протянул руку Черкасову, потом Эйзенштейну.

Через день, 26 февраля, газеты вышли с указом о присвоении Черкасову звания народного артиста СССР. Эйзенштейна не наградили, но он получил право продолжить работу, однако оказался не в состоянии к ней приступить – плохо себя чувствовал. Картину он так и не видел и меньше, чем через год, 11 февраля 1948 года, не дожив до пятидесяти лет, умер. Приступ начался ночью после того, как по радио передали постановление ЦК, обвиняющее в формализме С. С. Прокофьева.

Этой беседой закончился путь Эйзенштейна в кинематографе – работать после нее он уже не смог, хотя не впервые получал в кремлевских кабинетах указания и докладывал об исполнении: в положение подручного партии и лично товарища Сталина поставил себя с самого начала. Не возражал никогда – даже когда спорить дозволялось. Сам определил свое положение при кремлевском дворе: согласился сделать фильм, оправдывающий террор, прославляющий единолич-

ную тиранию и попутно выступающий против «западных влияний» – уже готовилась кампания против «безродных космополитов».

Эйзенштейн принимал все, вплоть до указаний о длине бороды персонажа и длительности поцелуя. Б. Бажанов пишет о его последнем произведении: «Венец подхалимского падения был в „Иоанне Грозном“ (...) эйзенштейновский „Иоанн Грозный“ сделан, чтобы восхвалить и оправдать сталинский террор. (...) Единственное оправдание всей этой гнусности: Эйзенштейн спасал (и действительно спас) свою шкуру».

Спас тяжелой ценой: убивая себя как художника шаг за шагом и фильм за фильмом иссушая свой дар. За его «открытиями» и «новациями» – холодная пустота (по определению Н. Мандельштам, «холодная роскошь деталей и нищета мысли»). Что осталось от них сегодня? Любопытные комбинированные съемки в «Старом и новом». Виртуозно разработанные сцены развода моста и июльской демонстрации в «Октябре». Черная людская лента на белом снегу – крестный ход к Александровской слободе в «Иване Грозном». Для нового поколения, которое не обязательно угадывает в Малюте Скуратове полузабытого Берюю, это лишь скучное старомодное «историческое» зрелище в оперном стиле. Ни одной картины, которую хотелось бы смотреть целиком. В каждой только набор приемов – плакатная выразительность отдельных кадров, удачные композиции, остроумные детали, неожиданные образы, удачные сопоставления, формотворчество без мысли, стиль без чувства, технические эксперименты без души. И за многие годы преподавания во ВГИКе – ни одного ученика, ставшего мастером. Да и чему мог научить Эйзенштейн? Технологии? Приемам? Учителем с большой буквы он быть не мог.

Советский кинематограф нуждается в своем классике. Требования: крупное имя, преданность режиму, международная известность. Для этого Эйзенштейна реабилитировали и, если бы не подозрительное звучание фамилии, восхваляли бы еще больше. У советской власти хвала и хула изменчивы – в зависимости от потребности на сегодняшний день. В 1946 году всю редакцию журнала «Искусство кино» во главе с И. Пырьевым разогнали за намерение напечатать статью Эйзенштейна о режиссуре. В 1962 году помощник Хрущева В. Лебедев объезжал центральные редакции со списком

«соображений и замечаний» – запрещалось, в частности, высмеивать фильм «Броненосец „Потемкин“». Как правило, советская власть преследует талантливых людей при жизни и приспособливает к своим нуждам после смерти, объявляя своими верными слугами.

Эйзенштейн забыт не только зрителями. Для сегодняшнего молодого поколения кинематографистов он тоже мало интересен, разве только как фигура, чьи первые фильмы, объявленные эталоном, задержали развитие киноискусства. О нем размышляют в другом ракурсе – художника и власти, поэта и царя. Спорят о нем персонажи «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына: может ли значительное в эстетическом отношении произведение искусства быть создано последователем фальшивой идеи? В этом смысле жизнь и судьба Эйзенштейна поучительны. Может быть, это самый важный урок, который он оставил искусству. Лучше всего говорят об Эйзенштейне его ленты – о редкой изобретательности и слабости духа, творческой фантазии и садистской жестокости, художественной смелости и обычной трусости, необычайной наблюдательности и душевном холоде, о маленьком человеке, убившем большого художника.

Один раз мне довелось видеть Эйзенштейна – в 1946 году в московском Доме литераторов на встрече с кинематографистами. (Это было еще до постановления ЦК, которое он предчувствовал. Написал: «Начало сорок шестого снимает плоды. Это, вероятно, самая страшная осень в моей жизни. Если не считать двух катастроф: гибели „Мексики“ и трагедии „Бежина луга“».) Эйзенштейн рассказывал писателям о том, что исследует тему «Пушкин и кино» и переводит с французского его письма. Потрясал эрудицией, широтой познаний, памятью. Мелькали эпохи, мировоззрения, технические термины, примеры из живописи, естествознания, архитектуры, литературы, имена Бехтерева, Скрябина, Гоголя, актеров японского театра «Кабуки». Неожиданные соединения разнородного материала, парадоксальные выводы, остроумные замечания, но без объединяющей темы, без одухотворенности, страсти, сердца, без точной ведущей мысли, без обыкновенного человеческого обаяния. Ощущение такое же, как от фильмов: интереснейшие частности, а в целом скучно – ни о чем.

И уж совсем невозможно себе представить, что человек такой культуры и знаний мог стать «своим» у партийных не-

учей. Певец и слуга режима, Эйзенштейн оказался и его жертвой. Теперь из него сделали экспортный товар – вроде альбомов Эрмитажа, бычков в томатном соусе и стихов Вознесенского. Нынешние вожди вряд ли знают имя режиссера, а прижизненные хозяева не смогли оценить его непохожий на других талант, художественный дар, который он разменял на «революционные» поделки и псевдоисторические боевики. Они требовали от фильмов не только правильной идеологии, но и ясной, аккуратной, гладкой фактуры – стиль Эйзенштейна их раздражал. (Куда ближе были им немудрящие Г. Александров и И. Пырьев, как нынешним Ю. Озеров и Л. Гайдай понятнее С. Параджанова и М. Хуциева.) Все его усилия заставить их полюбить себя и свое искусство потерпели крах: за угодливость ему не простили утонченность, за заискивания – знания, а за послушание – парадоксальность. Он оставался чужим и умер отвергнутым. В 1951 году Сталин приказал М. Ромму заново снять «Александра Невского», а И. Пырьеву – «Ивана Грозного».

* * *

Режиссер всегда боялся партийных чиновников и шел на все, лишь бы их задобрить. И только раз преодолел страх. Как и другие художники его времени, масштаба и направления – Мейерхольд, Маяковский, Вертов, – он больше всего любил Искусство: для всех них оно было религией. Поняв, что искусству нет места в государстве, которое он воспевал, Маяковский ушел из жизни. Мейерхольд в безумном последнем крике призвал власти спасти искусство от убийц и был убит сам. Вертов молчал и не ставил фильмы – делал мелкую поденщину, лишь бы не умереть с голоду. Эйзенштейн на все это оказался неспособен. Когда в 1938 году закрыли театр его учителя Мейерхольда, актеры, чтобы не разбежаться по разным трупам, попытались создать новый и художественным руководителем пригласили Эйзенштейна. Он долго колебался, но оказаться преемником арестованного Мейерхольда не решился. Театр распался. Когда началась война и бомбежки, падчерица Мейерхольда Т. Е. Есенина попросила Эйзенштейна спасти спрятанный на даче архив Мейерхольда. Эйзенштейн взял гру-

зовик и перевез все материалы с ее подмосковной дачи в Горенках на свою в Кратово и сохранил их на дне заброшенного высохшего колодца. Благодаря ему они и остались. Сегодняшний читатель, может быть, не знает, что это могло стоить жизни и было подвигом.

* *
*

В 1958 г. Бюро киноискусства Брюссельской всемирной выставки поставило «Броненосца „Потемкина“» на первое место в списке 12 лучших фильмов мира. В 1982 г. на подобном опросе «Броненосец „Потемкин“» оказался на шестом месте, а Эйзенштейн вообще не попал в число лучших режиссеров мира. Об этом – тоже с возмущением – написал директор советского научно-исследовательского института теории и истории кино В. Баскаков в №8 журнала «Искусство кино» за этот год, считая новое решение происками идеологических врагов.

GALERIE MARIE – THÉRÈSE

Art Russe Independent

**Картины, акварели, рисунки, скульптуры
и литографии**

Оскар Рабин – Париж
Михаил Шемякин – Нью-Йорк
Владимир Григорович – Нью-Йорк
Леонид Пинчевский – Нью-Йорк
Виталий Длугий – Нью-Йорк
Валентина Кропивницкая – Париж
Александр Рабин – Париж
Владимир Немухин – Москва
Владимир Овчинников – Ленинград
Леонид Лерман – Нью-Йорк

73, Quai de Tornelle, 75005 – Paris, tel.: 325 34 37
Галерея открыта с вторника по пятницу
с 14.00 до 19.00

Литература и время

Наум К о р ж а в и н

ГАРМОНИЯ И УТОПИЯ

То, что когда-то поэту казалось пророчеством и откровением – чем-то противопоставленным среднеинтеллигентской пошлости, сегодня стало подножным кормом этой пошлости. Оказалось, что эстетическое презрение к здравому смыслу – вовсе не такая безусловная духовная добродетель, как принято было думать в недавние времена. Это связано с самыми глубинными соблазнами в культурном развитии нашего века. В каком-то смысле я уже писал о них и тоже в связи с Блоком («Игра с дьяволом», «Грани» № 95). Но не в связи с темой «утопии»...

Это не удивительно. В принципе слово «утопия» не очень применимо к поэзии. Хотя бы потому, что в основе всякой поэзии лежит нечто, напоминающее утопию, – высокое («поэтическое») отношение, даже требование к жизни, ее идеальный («поэтический») образ. Все это в той или иной мере свойственно всякому человеку, но просто поэты ощущают это острее и отчетливее. Этим образом, соответствием или несоответствием ему всего происходящего, как бы испытывается жизнь и все реакции на нее. А. Блок называл это «испытанием сердец гармонией». Все это правда, и все это было всегда – во всяком случае, во всем живом, дошедшем до нас.

Гармония – отнюдь не утопия. Она – напоминание человеку о полноте, которой он лишен и потребность в которой и делает его человеком, личностью. Утопией это становится только тогда, когда превращается в «конечную цель», в реальную программу. Это и произошло с Блоком в начале революции, хотя и выразилось больше в статьях, дневниках и письмах, чем в поэзии. Поэзией он только расплатился за это: больше двух лет – от патетических «Скифов» до покаянного «Пушкинскому дому» – он не написал ни одного стихотворения, в котором можно было бы видеть результат серьезного творчества.

Но в каком-то смысле впадение Блока в утопию было естественным следствием развития эстетических представлений «Серебряного века» и вообще той эпохи (во Франции она так и называлась – «Belle époque»), когда могло показаться, что все вопросы бытия решены – так сказать, переложены на плечи абсолютно механически обеспеченного прогресса – и творческой личности остается только или потребительски пробавляться смакованием тонкостей бытия, находя в этом основания и для самоутверждения, и для смысла жизни; или – по тем же причинам – бунтовать против такой абсолютной упорядоченности. Стремление к «революции от скуки» родилось намного раньше, чем превратилось в лозунг. И раньше, чем это было отнесено к «политике».

Нечто подобное происходило, прежде всего, в «эстетике». В начале этого века (или в конце прошлого) попытались это высокое отношение («требование») к жизни, ее идеальный образ перенести из подтекста, где он всегда находился (без чего произведение вообще не может быть ни поэтическим, ни художественным) в текст – предельно обнажить поэтичность, чуть ли не вынеся ее в сюжет. И в то же время перенести в подтекст – это почему-то воспринималось как высшая степень утонченности – как раз «прозаическую» сторону произведения. После такого перенесения поэзии в текст – попытка воплотить гармонию вообще в жизнь выглядит следствием совершенно естественным.

Разумеется, когда речь идет о таких сложных и высоких людях, как Александр Блок, их поведение не может быть объяснено одними этими факторами, но Блок жил в атмосфере, создаваемой ими, и они тоже влияли на формирование его отношения к событиям. И стремление воплотить гармонию в жизнь, отрицание всех достижений жизни ввиду невозможности превратить жизнь в гармонию – свойственно ему было в 1918 году в высшей степени. Вот что он говорит об этом и о месте поэта в революции в своей поразившей многих статье «Интеллигенция и революция»:

«Не дело художника – смотреть за тем, как исполняется задуманное (историей, роком, «духом музыки» – псевдонимов много. – Н. К.), печься о том, исполнится оно или нет. У художника – все бытовое, житейское, быстро сменяющееся – найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не «не изменит с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых

духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».

Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“.

При первом взгляде на этот отрывок, он может показаться даже бесспорным – особенно если вспомнить, что весь он как бы развитие процитированных Блоком знаменитых тютчевских строк: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Правда, если взглядеться, можно несколько удивиться тому, с какой готовностью поэт соглашается пережить (и чтоб другие пережили) все эти бури и ураганы. Даже оторопь берет. Как от строк, когда-то обращенных к России: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет...» Но когда Блок писал эти стихи, он все же не понимал, что это значит на деле. А теперь? И все это только ведь для того, чтоб когда-нибудь кто-нибудь оказался «властителем неисчислимых духовных сокровищ»! Это странная и странно сформулированная цель: духовные ценности измеряются не числом, да и непонятно, кто и зачем может стремиться стать их «властителем»? С духовными ценностями люди – и, прежде всего, люди высокого духа – обычно находятся в других отношениях. По-видимому, эти слова внушены Блоку не тем, что Пушкин называл вдохновением («расположение души к живому приятию впечатлений, а следовательно, и к соображению оных»), что всегда – так сказать, по определению – связано с точным словоупотреблением, а тем, что он же называл восторгом и вдохновению противопоставлял. Восторг в XX веке многим помог приспособиться к тому, к чему приспособиться без него было бы невозможно. Ни в коем случае не отношу эти слова к самому Блоку. Он сам ни к чему не приспособивался и дорого потом заплатил за свой восторг. Тем не менее, многим другим он этим открыл или облегчил дорогу к приспособлению. Но речь сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, что кое-что в приведенном отрывке может удивить – при всей его внешней бесспорности.

Однако поскольку пока читателя, поэтов и всех вообще призывают только видеть и слышать, пока этим удивлением и ограничимся. Ибо видеть и слышать – первейшая обязанность художника – спорить вроде не с чем. Но не надо забывать, что,

по Блоку, видеть и слышать надо не всё вообще, а прежде всего и только «то, что задумано».

«Что же задумано?»

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Итак, надо переделать все и привести жизнь к катарсису. В принципе, это под силу только Богу – кстати, иных властителей духовных сокровищ не бывает. Это было бы Его катарсисом (если б Он в катарсисах нуждался). Но речь не о Боге – Блок употребляет это слово во множественном числе. Видимо, речь о художниках. Но не до уточнений: экспрессия восторга властно нарастает. Требования растут:

«Когда *такие* замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, – это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется *революцией*.

Она сродни природе».

Конечно, можно было бы тут спросить – пусть несколько «по-мещански»: «Ну и что? Не все ли равно, как этот ужас называется?» Но воздержимся. Только опять удивимся. Конечно, существовали в России круги, для которых само слово «революция» было окружено ореолом святости и чистоты и само по себе воспринималось как доказательство. Все, что революция, – хорошо, все, что не революция, – плохо. Но Блок ведь к таким кругам не принадлежал. Более того, считал такое умонастроение пошлостью. Еще недавно Блок относился к будущему со страхом: «О, если б знали, дети, вы / Холод и мрак грядущих дней...», – а теперь, когда это будущее пришло, он расценивает «поток предчувствий, шумевший над иными из нас между двух революций (1905 и 1917 гг. – Н. К.)», – совершенно иначе. Сейчас ему кажется, что «поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме» и теперь вырвавшийся на волю, и был смыслом этих предчувствий, что он долгожданен и желателен: «вот он опять шумит, и в шуме его – новая музыка».

Слово «новая» тоже существенно здесь. Но оно вообще относится к духу времени, входя составной частью в идеал радикальных течений как революционной, так и эстетической

интеллигенции (что сближает их и обнажает общую духовную природу). Слово же «музыка» – одна из излюбленных метафор именно блоковских рассуждений. Она очень уместна, когда имеется в виду проникновение в «дух музыки», т. е. художественное постижение общего облика той или иной эпохи, живое и цельное ощущение истории. Но когда она превращается в нечто произвольное, но изысканное, главное назначение чего быть недоступным непосвященным, тем более, когда она связывается с утопией и степень посвященности начинает определять право человека на существование и элементарное уважение, – тогда это слово «музыка» начинает явно пахнуть серой. И всё становится с ног на голову, хоть это подчас не сразу заметно:

«Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их действительно любили, а не только щекотали свои нервы в модном театральном зале после обеда, – мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это – о том же, все о том же».

Выглядит эта цитата вполне невинно. И впрямь эти различения были бы вполне уместны, если бы представляли собой призыв быть впредь осторожней с такого рода любовью и диссонансами. Но содержат они другое – призыв идти до конца и продолжать любить мечту, исполнение которой теперь ужасает. А тех, кто не согласен или не может внять его призыву, он просто отлучает – от духа, культуры и т. д. – и вообще как бы ставит вне закона:

«Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка – игрушка, – и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!»

Надо сказать, что такое отлучение «властью поэта», такое низведение всех отлученных до статуса «твари дрожащей», да еще дрожащей над «своим добром», – не было тогда безобидным. Потом такие мысли многим, как уже говорилось, облегчили капитуляцию, помогли представить ее в собственных глазах даже высоким парением духа, но и тогда они должны были пусть не убедить, но смутить многих. Станным образом это смыкается с пропагандным чучелом интеллигенции, созданным подстрекательской агитацией большевиков. Обвинение русской интеллигенции в грязной и низменной корыстности было обвинением в том, чего она более всего

чуралась. А тогда «добром», над которым приходилось «дрожать», могли оказаться и постельное белье, и привычное жилье, и даже последний кусок хлеба для ребенка. И человек, особенно молодой, действительно мог заподозрить себя в том, что низменная корысть мешает ему видеть в происходящем великое (а русский интеллигент всегда был ориентирован на то, чтоб не пропустить великое – особенно в революции*). Эстетическое презрение невольно дополняло «продовольственную диктатуру» Ленина, которая голодом должна была сломить саботаж интеллигенции.

И дело было ведь совсем не в том, что Блок чего-либо не понимал или не видел. Видел – и прекрасно. Но в том-то и дело, что «видеть» и «слышать» на его тогдашнем языке означало прежде всего игнорировать все, что непосредственно видишь и слышишь. Ибо

«Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но – это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда – о великом».

Итак – всегда о великом: что бы ни происходило (т. е. что бы ни видел наяву), это не меняет общего направления потока. Да если б и меняло – неважно. Читатель об этом преду-прежден:

«Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были».

Так что пусть хоть с души рвет, слушай гул и считай его музыкой. И не перечь. В «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского комиссарша (ее прообразом была Лариса Рейснер) в ответ на упоминание одним из офицеров о своей семье, расстрелянной недавно матросиками, «с милой непосредственностью», иронически одергивает его чем-то вроде: «Ну и что? Никак простить не можете?» Дескать, что за мелочность и мешанство думать о таких пустяках, когда свер-

* Д. И. Фурманов (автор «Чапаева»), как явствует из его дневников (реферат М. О. Чудаковой в одном из выпусков отдела рукописей ГПЛ), в период от февраля до октября только этого и боялся – оказаться позади революционной волны, – что естественно привело его к большевикам.

шается небывалое. И что за люди, не видящие ничего дальше своего носа! Тварь, дрожащая над своим пусть не «добром», так конурой или гнездышком. А думать надо было о другом:

«Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет – гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны – теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ; увлажит спаленные солнцем степи юга – прохладным северным дождем.

«Мир и братство народов» – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать».

Итак – неважно, что будет, неважно, сбудется ли, важно, что циклон по замыслу должен нести в заметенные снегом страны запах апельсиновых рощ – иными словами, «мир и братство между народами». Это и надлежит видеть и слышать.

Впрочем, такая любовь к вихрям и циклонам обусловлена была у Блока, как и у некоторых других представителей «мировой интеллигенции», не только модернистской традицией, но и реакцией на мировую войну, которая собственно и привела к русской революции.

«Что такое война?

Болота, болота, болота; поросшие травой, или занесенные снегом; на западе – унылый немецкий прожектор – шарит – из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки; белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы – нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда – на кладбище, иногда – на стадо скотов, иногда – на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это – тысячи народных рублей в болоте.

Люди глазенут на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда успели переташить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».

Люди – крошечные, земля – громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет

трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога.

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та пошлятина; имя обоим – «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей» или как еще? Нет, под этим знаком – никого не освободишь.

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности – российские патриоты».

Прошу прощения за столь длинную цитату. Но она очень важна. Здесь впервые, может быть, так ясно и выразительно сформулирован тот кризис культуры, крайним выражением которого была Первая мировая война, и Блок – не единственный представитель культуры, который «нашел» противоядие этому кризису культуры и духа в коммунизме. Очень многие западные интеллигенты (конечно, независимо от Блока) пошли потом этим путем. И очень мало кто вернулся назад (как сделал Блок) – дьявол легко не отпускает. Этот кризис культуры, породивший войну и усиленный ею, Блок переживал остро и искренне. Правда, и он сам когда-то отдал ему некоторую дань: в начале войны и ему самому «казалось минутой», что война не только не обернется торжеством хамства, но, наоборот, даже «очистит воздух». Я упоминаю об этом признании Блока вовсе не для того, чтоб поставить ему в счет эту минуточку, а потому, что он упустил из виду, что такая готовность очищать воздух катаклизмами, получившая потом иное приложение, – тоже часть этого кризиса.

Сильно влияло на отношение Блока к событиям и острое ощущение того, что часто называют «дворянским грехом» (сам он этого выражения не употреблял).

Опять-таки проблема была существенная, укоренившаяся в русской истории, – и имела она отношение не только к социальной, но и к культурной жизни. Ни для кого не секрет, что начало современной русской культуры положено дворянством и даже в период крепостного права, т. е. в какой-то степени она создавалась за счет труда крепостных, остававшихся, тем не менее, в массе своей вне культурного процесса, отличавшихся от своих господ не только знаниями, но и бытом (пресловутые «два народа», о которых говорили славянофилы). Проблема трагическая, но постепенно разрешавшаяся –

за счет постепенного проникновения образования в толщу народа и все расширяющегося встречного движения к нему (гимназии открывались уже и казачьими станичными обществами), но, конечно, проблема «двух народов» все еще продолжала быть острой. Блока она волновала в высшей степени – притом очень лично:

«Несчастный Федот изгадил, опоганил мои духовные ценности, о которых я *демонически* же плачу по ночам. Но кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот*, если бы даже он вступил во владение тем, чем не умеет пользоваться (да ведь не вступил, никому не досталось, потому что все, вероятно, грабили, а грабить там – в Шахматово – мало что ценного). Для Федота – двугривенный и керенка то, что для меня – источник не оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез.

Так, значит, я – сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, «превращать в бриллианты крапиву», потом – писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду».

В этих словах искренняя боль, да, пожалуй, и правда. И собственно здесь разговаривать было бы нечего. То, что А. Блок не ненавидит, а старается понять и оправдать «несчастливого Федота» и, допустим, хочет защитить его от слепой и раздраженной ненависти «образованных слоев» (это только в эмиграции родилась легенда о полной непричастности русского народа к революции – Блоку очень часто приходилось слышать слова о русском народе в иной тональности), – вызывает только сочувствие.

Но этим строкам, к сожалению, предшествуют другие: «Всякая культура – научная ли, художественная ли – демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее, – кается он, и дальше: – Но демонизм есть сила. А сила – это победить слабость, *обидеть слабого*».

Под вопросом уже сама культура. Она нечто опасное и демоническое даже в самых высоких своих проявлениях. Она уже не благо, добытое неправедным путем, а может быть, даже и не благо вовсе – просто некое образование, в самом

* Скоро оказалось, что Федот умер. (Прим. А. Блока.)

существо которого заключена несправедность, – нечто такое, о чем и жалеть грех, когда оно гибнет под напором хамства. Но в чем же ее демоничность? Ведь речь идет не о снобистской псевдокультуре, а о подлинной научности и художественности – ведь именно об этом говорится, что чем этого больше, тем хуже. В чем же дело? А вот в чем:

«Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я – «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, – я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы ёкнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии, – и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червотчины – отсюда? – Н. К.), а, напротив, – раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень...»

Культура ко всему этому имеет только косвенное отношение – она относится только к чувствам «необыкновенных людей», присутствует в них, дает им «новое содержание». Остальное – даже если считать это грехом, к чему я совсем не склонен, – относится больше к социальным отношениям, к социальному неравенству, к той же проблеме «двух народов», но только не к культуре. Юноша, легкомысленно гарцевавший перед бедными мужиками и смазливими бабенками, мог и не быть дворянином и уж, конечно, мог не иметь никакого отношения к культуре. И пересматривать в этой связи можно было что угодно, только не отношение к культуре. И реакция крестьян, которую он чувствовал и помнил, относилась не к культуре, могла быть только о ш и б о ч н о перенесена на нее по темноте:

«Все это *знала* беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин – молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба – господа. А господам, – приятные они или нет, – постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают».

Что показали – верно (в первую очередь, самим себе, но об этом Блок мог еще и не знать); что поэт не отказывается от

своего народа и в момент, когда бушуют страсти, что чувствует во всем происходящем вину и свою, и всех, кого он любит, кто ему близок, – достойно. Но то, что при этом он готов благословить и погром культуры, в которой, в конечном счете (ведь это общее достояние), нуждаются и сами громящие, – мягко говоря, немудро. А восторг покаяния набирает силу, окончательно побеждает восприятие:

«И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, Господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько «заслуженного» перед революцией писателя, как А. Блок, то *не смею я судить*. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, пострадавших глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза – но такие же. И посмеиваются глаза – как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин – за нас? Ой, за нас ли барин?

Демон – барин.

Барин – выкрутится. И барином останется. А мы – «хоть час, да наш».

Так-то вот».

Восторг покаяния оборачивается защитой произвола. Причем защита произвола народного постепенно переходит в защиту произвола бюрократического, начатков бюрократического управления культуры, с которым он столкнулся. И который изо всех сил старается принять за крайнее выражение народного. Всё это крайние проявления отталкивания от «буржуйства». А к «буржуйству» Блок относится с отвращением. Хоть толкует это слово чрезвычайно широко:

«Буржуйем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных».

Так иногда для Блока обстояло дело с ценностями. Кстати, многое здесь и фактически неверно. Далеко не всегда (если речь о людях, а не об обществе в целом) накоплению духовных ценностей предшествовало накопление материальных – были люди, приобщавшиеся к этим ценностям на медные гроши. Но дело даже не в этом. Если какой-то человек действительно «накопил» духовные ценности (а не косметическую мишуру), то его досуг, с общественной точки зрения, вполне оправдан, окупился. Такой человек своим существованием (не говоря уж о деятельности) действует на окружающее и как-то

изменяет его. Для того, чтоб люди тянулись к культуре, нужно, чтоб было к чему тянуться, чтоб кто-то ее создал и хранил. А то, что она создана на счет народа (пускай даже без его ведома), никак не должно располагать к ее уничтожению – наоборот, к тому, чтобы открыть к ней дорогу всем, кому она была несправедливо преграждена. Мало кто сегодня одобрит методы, которыми Петр строил Петербург, но ведь вряд ли кто-нибудь считал бы возможным разрушить построенный такими методами замечательный город. Ибо разрушить его – значило бы отнять его у народа и вовсе обесмыслить страдания погребенных под его роскошными ансамблями.

А ведь государство подбиралось тогда уже не только (да и не столько) к горлу культуры, но и к горлу самого крестьянства. До коллективизации и раскулачивания было еще сравнительно далеко, но продрозверстка и продотряды уже вводились, а «мешочники» расстреливались в порядке соблюдения уже упомянутой «продовольственной диктатуры» Ленина – чтобы не снабжали продовольствием Москву и Питер, чтоб население получало средства для выживания только из рук правительства и, как собака, привыкало к хозяину. Ничего не скажешь – материалисты.

Но страдающего народа Блок еще не видел – а страдания интеллигенции он считал долгом игнорировать. Он даже нагнетал иногда в себе ненависть к ней. Вот запись от 19 июня 1917 года – за несколько месяцев до Октября, за две недели до первой попытки большевистского переворота:

«Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *оберегается ВСЕМ* революционным народом.

Какое *право* имеем мы (мозг страны) нашим дрянным, буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если *нас* перережут во имя *ПОРЯДКА*».

Вот, оказывается, как обстояло дело в 17-м году – действовал народ во имя *ПОРЯДКА*, а интеллигенция этому мешала. Конечно, Блок был поэт, а не политик, и он не был обязан верно оценивать политическую ситуацию. Но ведь оценивал. И еще клеймил всех, кто с его оценкой не соглашался. Впрочем, если говорить лично о Блоке, то это была ошибка не

политическая, а именно поэтическая – хотя речь пока не идет о стихах. Ибо все его оценки носят эстетический характер: интеллигенции не хватало того застилающего глаза восторга, который Блок принимал за вдохновение. Эстетически оценивать политические явления Блок продолжал и после большевистской победы. Вот запись от 7 января 1918 года:

«Для художника идея народного представительства, как всякое «отвлечение», может быть интересна только по внезапному капризу, а по существу – ненавистна».

Непонятно, почему (при таком отношении к художеству) какая-либо идея, касающаяся общественного устройства, вообще может быть интересна художнику, тем более, его волновать. А тут – какая-то из этих форм даже ненавистна. Вроде не дело художника (когда он выступает как художник) выбирать системы правления. С чего же такая вспышка темперамента? В чем дело?

А именно в том, что художник и в этом случае распространяет свое творческое отношение на саму жизнь. Поэтому и формы правления он начинает оценивать эстетически – в данном случае, капризно и брезгливо. Да и действительно: что в этих парламентах эстетического? – бюрократия, говорильня, политиканство, вообще пошлая мечта интеллигенции, не имеющая ничего общего с полнотой бытия. Сезама она явно не отворяет. Но существенные – хотя и приземленные – стороны жизни, в том числе и жизни поэтов, от способа правления зависели. И каприз, вполне иногда уместный в художественном творчестве (ибо через него может выразиться откровение), – здесь неуместен. Ибо там художник рискует только удачей собственного произведения, а здесь – гораздо большим. При всем несовершенстве представительных учреждений, при них всем (в том числе и поэтам) жить было бы существенно лучше и легче, чем при Политбюро ЦК РКП(б), Совнарком, ЧК и ежедневном насилии – при всем, чему Блок был свидетелем и что, по его мнению, в благородных ушах должно было заглушаться пресловутой «музыкой революции».

Всех, кто не поднимался до такой высоты, Блок безоговорочно относил к «буржуям», а к этому классу людей (для него биологическому) Блок относился еще более непримиримо, чем «пролетарские» трибуналы. Вот запись от 26 февраля 1918 года:

«Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, занятия и пр. – лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыл всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распорядится, и пр. Везде он.

Господи Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, внятно мне, отойди, сатана».

Этой записи предшествует другая, сделанная за полтора месяца до этой, 3 января того же года, где уже поминается та же злополучная барышня:

«В голосе этой барышни за стеной – какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет.

Ожеребится эта – другая падаль поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца».

Обе эти записи страшные, бесчеловечные. «Отыди, сатана!» – говорится ведь не по поводу душевной ненависти, а по поводу ее объекта, о котором, в сущности, Блок ничего не знает. Так же, как ничего не знает он по поводу «барышни», терзающей рояль. Вряд ли ее игра оскорбляла музыкальный слух поэта, ибо, как известно, никаким особым музыкальным слухом в музыке (в отличие от поэзии или, допустим, – иносказательно – в истории) Блок не отличался. Эта барышня, вероятно, действительно, досаждала Блоку своей игрой, мешала ему работать – так что неудивительно, что раздражала его. Но уж слишком на высокую эстетически-принципиальную высоту поднято здесь это раздражение. И почему такая ненависть? Даже если она действительно духовно не очень богата, если действительно, томясь за роялем, думает о замужестве – что ж тут страшного и низкого? Ведь и душа Татьяны Лариной (не говоря уже об Ольгиной) «ждала кого-нибудь» – не исходил же Пушкин из-за этого презрением и ненавистью к ним. Отношение Ленина к «насекомым», его весьма действенное презрение к политическому обывателю (тоже, в общем, опирающееся

на романтическую традицию) здесь дополняется и оправдывается эстетически. Этим людям, оказавшимся под мечом истории, отказано во всем человеческом. Таких и перестрелять не жалко. И уж, конечно, не стоит вступать из-за них в безвыходный конфликт с «очистительной грозой революции».

Не утверждаю, что Блок симпатизировал таким людям раньше, но сейчас накал ненависти к ним безусловно усиливался стремлением как можно больше соответствовать упомянутой «музыке» – которая, кроме всего прочего, должна была заглушить в его душе все неприятные впечатления от происходящего.

Кстати, стремление «заглушить» вовсе не означало у Блока стремление что-либо замолчать или приукрасить. Такое просто не могло прийти ему в голову. Да и зачем это ему было бы нужно? Наоборот, то, что он видел и слышал (в самом банальном смысле этих слов), следовало поднять со дна, выпятить, показать всему миру и самому себе и только тогда – заглушить тем, что, по его мнению, надлежало слышать (на этот раз – метафизически), заглушить, прежде всего, в самом себе. Кстати говоря, в том же тогда нуждались и большевики – им нужны были не приукрашивание и замалчивание того, что было у всех на виду (скрывать это научились быстро, но еще не тогда), а только поддержка и оправдание. Блок никогда не прислуживал большевикам и даже не служил им, он только сотрудничал с ними на равных, исходя из своих собственных соображений и представлений. В заглушении шумов реальности прежде всего нуждался он сам.

Этот метод, метод заглушения внутренних противоречий «музыкой» – не нов для Блока. В уже упоминавшейся статье о нем («Игра с дьяволом»), в какой-то мере предваряющей данную работу, я уже пытался понять, как это происходит, на материале стихотворения «К музе» («Есть в напевах твоих сокровенных...»). Но заглушалось в нем иное и – соответственно – по-иному и иным. В стихотворении «К музе» – противоборствуют на равных два достаточно абстрактных начала: одно в семантике, другое в звучании – и так и не примиряются до конца. Между тем, теперь идет речь о вещах, гораздо более конкретных, непосредственно затрагивающих основы бытия многих, самых разных людей и всего общества. С этим нельзя не считаться. В поэзии все это относится прежде всего к «Двенадцати».

К «Скифам» это относится в меньшей мере. В этой поэме как бы есть центр, вокруг которого все вертится. Этот центр – постыдная мировая война, из которой пока вышла только одна Россия. От ее имени поэт и зовет весь цивилизованный мир «на общий братский пир» – правда, в противном случае угрожая перестать «держаться щит» «меж двух враждебных рас – Монголов и Европы», т. е. дать азиатскому нашествию погубить Европу и ее культуру, «вмятнуть» и дорогую и «нам» самим. Если даже отвлечься от геополитических концепций, то и здесь проявляется та же готовность обречь на гибель то, что самому дорого, – для искупления трагической вины, видимо. Все это не свидетельствует о цельности мироощущения. Но у этой поэмы – хотя она, как я думаю, во многом уступает «Двенадцати», – несмотря на все заключенные в ней филиппики, есть то, что я бы назвал цельностью авторского монолога, что, с моей точки зрения, необходимо каждому поэтическому произведению. Просто по условиям его восприятия. При любой сложности оно всегда песня, вырвавшаяся из глубин души и опыта, цельный организм, где авторский замысел чувствуется с первой строки и в любой строчке, почему оно и внутренне поется – переживается как факт собственной жизни, а не со-переживается, как прозаическое повествование. Вероятно, здесь это удалось Блоку, потому что «Скифы» в большой степени плод непосредственной и прямой* (хоть, может быть, и чуть форсированной) реакции на происходящее (выход России из постыдной войны, разрушающей и компрометирующей культуру), а не реакции, обусловленной необходимостью услышать нечто с к о з ь происходящее.

В «Двенадцати» же этой цельности авторского монолога нет и в помине – даже в замысле. И, наоборот, авторское стремление восхититься тем, что его ужасало, присутствует наиболее отчетливо. Это очень странная поэма – в ней автор старается как бы вообще ступать, отойти в сторону – предоставить голос происходящему. «Это эпос, – могут мне сказать. – Тут ничего такого и не требуется». «Но это и не проза, – могу ответить я. – А нелирической поэзии не бывает».

* Речь идет не о том, следует ли обязательно писать «прямо», т. е. в лоб, речь вообще не о проблемах исполнения, а только о непосредственности реакций.

Кстати говоря, наиболее эпическая из поэм Блока, «Возмездие», поэма «с сюжетом и характерами», которую он писал много лет, но по разным внутренним причинам так и не кончил (я думаю, что поэма захлебнулась из-за неточного выбора героя, который «тянул» поэму от общего «музыкального» замысла, отвлекая ее от эпоса на подробности, не соответствующие заданному размаху и интонации), – все равно живет присутствием автора, его естественного голоса, сконцентрирована в нем. «Двенадцать» до такого уровня а в т о р с к о г о обобщения не поднимается никогда. Не путать с обобщенностью картины – обобщенную картину происходящего автор создает, но разве дело поэзии рисовать картины? Обобщенным должно быть отношение автора, эту картину рисующего, – именно этим мы и проникаемся, читая даже самые «сюжетные» куски «Евгения Онегина» – приобретаешь к рассказывающему голосу и идентифицируешь себя с ним. Ибо, о чем бы ни говорилось в поэме, как бы ни была она «эпична», смысл даже не рассказа, а самого процесса р а с с к а з ы в а н и я, смысл, ощутимый в каждой строчке, – в другом, в общем поэтическом отношении к жизни. В том и трудность поэмы как жанра, что сюжет в ней движется стихом, а не стих сюжетом.

Безусловно, Блок это понимал ничуть не хуже меня. И не собираюсь я поражать читателя парадоксальными утверждениями, что «Двенадцать» – это проза в стихах, что стих в этой поэме движется сюжетом. Нет, это не так. Но все же нечто от прозы в строении этого произведения есть. Ибо по-настоящему авторский замысел раскрывается (или должен раскрываться) – только общей картиной, что больше характерно для прозы. Поэтически же каждый кусок работает сам на себя. Стихия, бунтующая почти в каждом из них, достаточно ужасающая – так автор ее и воспринимает. Надежда его в том, что все вместе они будут говорить другое и перекричат каким-то образом этот ужас, подтвердят его «общую поэзию» вопреки частностям восприятия. Даже то, что революция приняла на вооружение, превратив в лозунги: «Революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг» или «Мы на гóре всем буржуйам / Мировой пожар раздуем», – в поэме вовсе лишено какой бы то ни было боевой бравурности. В контексте это скорее ужасает, чем вдохновляет. Это вопли испуга, отчаяния, темной ненависти. Ведь «раздуем»-то мы не просто «мировой

пожар», а «мировой пожар в крови» (нуждаемся и в таком уточнении), да еще просим – то ли ерничая, то ли всерьез: «Господи, благослови!» Стремясь перекричать этот ужас, забывая его темпераментом, Блок игнорирует порой и смысл слов. «Черная злоба... Святая злоба...», – говорит он о том, чем обуреваемы воспеваемые им красногвардейцы, – вступая в спор с семантикой. Ведь «черная» здесь не эпитет, определяющий специфическое или специфически воспринятое качество данной злобы. «Черная» – это оценка, означающая, кроме всего прочего, что никакого намека на святость в ней не проглядывается. Нельзя оценить злобу одновременно как черную и святую. А ларчик открывается просто: черной автор ее видит, а насчет святости – надеется, что она потом такой окажется. Это одно из немногих мест в поэме, где автор показывается на поверхности. Происходит это с ним еще и в конце, когда он смотрит на красногвардейцев, идущих «вдаль державным шагом», и где апофеозом, квинт-эссенцией смысла происходящего должна завершиться поэма, конгломерат поэтически написанных эпизодов должен сойтись в одну волю, один образ. И оказывается, что этими двенадцатью несчастными и несущими несчастье людьми предводительствует... Христос. Почему? Впрочем, понятно, почему. Он им навязан нагнетением восторга и экспрессии, Он должен возникнуть из выюги, частью которой видятся красногвардейцы, и давать ей смысл. Но – не дает. Блок и сам чувствовал здесь некое несоответствие, но объяснял его несколько странно. Вот две записи начала 1918 года:

«18 февраля

(...) Что Христос идет перед ними – несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого –?»

Оказывается, во всем этом страшно только то, что «опять Христос». Блоку надо было бы, чтоб вместо него был Другой – с большой буквы. В следующей записи, от 20 февраля, эта тоска по Другому выражена еще отчетливей:

«Религия – грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы „не достойны“ Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой».

Итак, этот блоковский Христос – не просто предтеча тех «Христов с автоматами», которые появлялись и, может, еще теперь появляются на левых партизанских плакатах в Латинской Америке, а вообще – паллиатив. Ибо нужен не Он, а кто-то Другой по отношению к Нему, и тоже с большой буквы. Ну, как тут не вспомнить и «вдруг» загорающийся над музой «тот неяркий, пурпурово-серый» круг (сияние, которое изображалось вокруг дьявольских ликов) – из уже упоминавшегося стихотворения «К Музе».

Вряд ли это поэма. Ее больше тянет исполнять. Она мало приспособлена для интимного чтения самому себе, к которому обычно располагает произведение поэзии. Мы слишком заняты тем, что происходит с героями, и не слишком – тем, что в нас самих, по их поводу. По-моему, это недостаток. Но, видимо, иначе и быть не могло – не могли тогдашние переживания так быстро отлиться в законченную поэтическую форму. Поэмой это произведение, по-моему, не было. Но уникальным художественным откликом на грандиозные события, сквозь который, как ни у кого, ясно просвечивают сами события – оно безусловно стало.

Но замечание о «Другом» – тоже не случайно. И пурпурово-серый круг – тоже. Только тут уже возникает нечто такое, что имеет мало отношения и к «дворянскому греху, и к долгу перед народом, и к попранной справедливости. Оказывается, что превращение гармонии в цель практических действий означает не только желание побыстрее осчастливить «малых сих» (ведь момент их счастья может быть как угодно отдаленным и все время отдаляться), но и, на этой почве (не только на этой такое случается, но не о том речь), стремление уже сейчас ощущать небывалую концентрированность и полноту собственного бытия, прорыв из повседневности в то, что может показаться поэзией. Я говорю «показаться» потому, что для меня ценность поэзии не в любом экстастическом состоянии (это только «количество» чувства, а оно, вопреки законам диалектики, отнюдь не всегда переходит в «качество»), а только в таком, которое связано с Откровением, с «качеством» чувства.

Такое стремление к концентратам и приводит к панэстетизму, что означает вовсе не снобистское эстетство (вот чему Блок всегда был чужд!), а стремление внедрять гармонию в повседневную жизнь при естественном презрении ко всем,

кто такими концентратами не питается. Это означает обращение с живой жизнью как с материалом для собственного творчества. Вероятно, в этом гораздо больше демонизма, чем в невинном гарцевании на коне и любом накоплении ценностей – как материальных, так и духовных.

А выглядит все романтично и красиво: «Зачем жить тому народу или человеку, который втайне разуверился во всем?» Весьма поэтическое высказывание. Правда, вспомнив, когда и где это сказано, стоит прозаически вспомнить, что поэты и провидцы даны вовсе не для того, чтобы решать, кто достоин жизни, а кто нет – ведь в те времена эти вопросы понимались буквально и решались быстро. А вот что означало тогда по Блоку быть разуверившимся:

«...думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждая друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...»

Конечно, нам легко судить. Мы прожили больше шестидесяти лет после смерти Блока, испытали последствия такого бескомпромиссного максимализма. Мы слишком хорошо знаем, что несовершенство жизни – отнюдь не основание для ее отрицания. Но, кроме того, мы вспомнили, что только в этой несовершенной жизни, пожалуй, и имеет смысл заниматься искусством – напоминая людям о гармонии и хотя бы через возвышающую тоску по ней давать им возможность к ней приобщиться. Это ведь тоже оказывает влияние на жизнь – если не на ее развитие, то на течение, и хоть как-то облагораживает людей. В то время как попытки утвердить гармонию силой превращают их в чудовищ. Мы сегодня это знаем. Блок в начале революции об этом забывал.

«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь *отдаст* нам это, ибо она – *прекрасна*».

К сожалению, относятся эти слова не только к поэзии, что было бы уместно. Но, впрочем, и так все правда: жизнь – Божий подарок, и потому при всех несовершенствах она прекрасна. А в чем же дело? А вот в чем: именно потому, что она подарок, она ничего никому не должна и никогда ничего ни-

кому не о т д а с т – кроме того немало, что уже д а е т. Блок страстно выдает вексель, который никогда не будет оплачен. Восторг – недостаточная гарантия для этого. Даже если он очень хочет быть не восторгом, а вдохновением.

«Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли (...)».

Что ж, как будто вполне нормальное отношение к жизни – конечно, применительно к любому нормально трагическому времени. Но ведь на дворе 1918 год, время, трагизм которого отнюдь не нормален. Впрочем, оказывается, эти утренние мысли при всей своей умытости обладают одним странным качеством, в связи с которым делается вдруг один весьма существенный, хотя и импрессионистически высказываемый вывод: «...среди бела дня они могут показаться *дурацкими*, эти мысли. Лжет белый день».

Так вот в чем высшая мудрость панэстетизма: «лжет белый день»! Это квинтэссенция тогдашнего блоковского отношения к революции. И многих – через годы и десятилетия после нее. Такое умонастроение способствует тому, чтоб мириться с тем, что ужасает, или чтобы злобу, воспринятую как «черная», одновременно считать и святой. И чтоб отлучать от духа и света всех, кто верит своим глазам. Какие тут могут быть глаза, если белый день лжет?

Как уже говорилось, эстафета такого отношения к жизни была подхвачена – и особенно, по иронии судьбы, – п о с л е мученической смерти Блока. Подхвачена, хотя сам он, в конце концов, как бы очнувшись, жестоко разочаровался в этом и поверил тому, что увидел при свете дня.

Процесс этот был сложный. Следы отрезвления есть уже в письме к Маяковскому, написанному (во всяком случае, занесенном в записную книжку) 30 декабря 1918 года. Вот оно:

«В. МАЯКОВСКОМУ

Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же *традиционно*, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик – все еще только крик боли, а не радости. Разрушая, мы всё те же еще рабы старого мира: нарушение традиций – та же традиция. Над нами – большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все

будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение».

Это несколько странное отрезвление. Зачем приобщаться к ненавидящим Зимний дворец, а тем более музеи? Разве строительство состоит в «глядении» на него? Разве разрушение было бы оправдано, если бы стало делом менее скучным (да ведь и бывает оно нескучным), и разве беда в том, что оно т р а д и ц и о н н о?

Но во всяком случае – пусть и на языке условных кружковых ценностей того времени – здесь уже отчетливо выражено недоверие к очистительной силе катаклизмов. Впрочем, то бессмысленное опустошение, к которому они вели, Блок со свойственной ему зоркостью (которая не покидала его ни при каком восторге, хоть часто ничему не препятствовала) заметил довольно рано. Правда, объяснение этому – потом это назвали «разрухой» – он дает (запись от 11 июня 1919 года) почти марксистское:

«Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем – как грабёж и картеж?»

Выражение «работали из-под палки», строго говоря, даже не марксистское – оно еще «левей». Можно было бы еще сказать, что если дело в том, что люди просто не умеют иначе работать (это, по-моему, не так), то и это говорит о том, что «грандиозные планы» следовало бы составлять осторожней. Но, во всяком случае, ясно одно, что предполагаемого рая пока не получилось и очищением воздуха тоже не пахнет. Самое время задуматься о том, что, вероятно, и «буржуи» свой хлеб ели не зря. Впрочем, насчет «буржуев» Блок еще держится – пусть несколько комично, но хранит «чистоту риз». Вот запись, сделанная только за месяц до только что процитированной:

«12 мая

(...) С 10 вечера до 1 часу ночи ломал дурака в воротах. Разговоры и милые люди. Дурацкое положение и с буржуями сблизит. (...)».

Впрочем, тут уже не прежнее жёсткое отчуждение от «буржуев» (милые люди и т. п.), а странное стремление ее вопреки всему сохранить, как ускользающую духовную ценность. Хоть только с десяти вечера до часа ночи, но всё еще –

«лжет (верней, должен лгать) белый день!». Но, видимо, верить в это не очень ему удастся, а иначе бы незадолго до этого не прорвалась бы в записные книжки фраза «СКУКА существования не имеет предела». А она прорвалась. И она только отчасти передает то отвращение ко всему, которое постепенно овладевало Блоком – по мере разочарования в революции. После всех упоений и филиппик – СКУКА.

Только перед самой смертью, в уже упоминавшемся стихотворении «Пушкинскому дому» и в знаменитой, «пушкинской» же, речи «О назначении поэта» Блок возвращается к традиционным культурным и человеческим ценностям, которые все теперь для него связаны с именем Пушкина. Пушкин – нечто вроде пароля, которым люди будут аукаться, переключаться в наступающей мгле. А ведь еще недавно в восторге борьбы с интеллигентской пошлостью договаривался до того, что Пушкин у нас не прижился, ибо слишком «француз», а нам ближе германская традиция... Впрочем, речь эта достаточно известна, чтобы о ней тут говорить подробно. Тем более, что она лежит за границами нашей темы – ведь речь у нас не обо всем жизненном и творческом пути великого русского поэта, а только о его впадении в утопию.

Что делать! Этот поэт жил сначала в очень сложное, потом в очень страшное время, и, хотя в конце концов он всегда возвращался к истинности и подлинности, многие соблазны его времени его не миновали. Вероятно, иначе и быть не могло. Важно, что он их преодолевал. Преодолевал он и опустошающее воздействие утопии, но он слишком много отдал ей, и сил у него потом хватило только на то, чтоб осознать и сформулировать это. Сил, чтобы всё начать сначала, уже не хватило. Но он предостерег от этого других, хотя его предупреждения не были достаточно быстро усвоены современниками – особенно теми, кто шел за ним. Впрочем, это не его вина – слишком много было желающих соблазниться таким образом, т. е. тем, что соблазнило его. Блок не причина их соблазна, а только поддержка их в этом.

То, что для него было трагедией, то, за что он поплатился жизнью, для многих «соблазнившихся» стало удобным выходом. Поэма «Двенадцать» при всей своей подлинности действительно начала собой советскую литературу, особенно литературу двадцатых годов, когда при всей межеумочности она всё-таки была еще литературой. Метод воспевания ужас-

ного на том основании, что за ним обязательно когда-нибудь откроется прекрасный смысл, был ею вполне усвоен. Вполне была усвоена – и не только литературой – и традиция подавления в себе нормальных человеческих реакций на том основании, что они не существенны («лжет белый день!»), а также боязнь сблизиться с теми, в чьи паруса не дуют ветры истории (этого нет в стихах Блока, но есть в его высказываниях), и многое другое. Когда все качается, поэт начинает играть роль маяка или звезды – хочет он этого или не хочет – причем не только своим творчеством, но и жизнью, в том числе и высказываниями. Ведь часто людям во мраке не на что больше ориентироваться. И страшно, когда в такие годы третируется – как мешанство и бескрылость – здравый смысл. Страшно – в широком плане, но в личном – это очень даже может быть удобно. Хотя воспользовался этими удобствами отнюдь не сам Блок.

Было бы упрощением считать, что в поведении сегодняшней «левой» западной интеллигенции на Западе проявляется влияние Блока. Но никто с такой силой, как Блок, – особенно в своих высказываниях – не выразил сущности этого явления. Он прожил в этом состоянии всего несколько лет (зато каких!), но прошел путь этого интеллигента – в отличие от многих других – до конца. Поэтому путь его особенно поучителен.

Это придает нашей теме дополнительную актуальность. Так что с еще большим основанием, чем в «Игре с дьяволом», я могу сегодня сказать: «В опыте больших поэтов поучительно все».

Меня могут упрекнуть в том, что происходившее с поэтом я анализирую слишком логически. Да ведь – за исключением «Двенадцати» и отчасти «Скифов» – я и говорю не о его стихах. Да и вообще рассматриваю-то я тот период, когда он большей частью стихов писать не мог. Собственно я и пытаюсь здесь объяснить себе и другим, почему и как это происходило. Ибо убежден, что причины этого касаются проблем и ценностей, гораздо более важных, чем творчество даже такого громадного (с моей точки зрения, едва ли не самого крупного в XX веке) поэта, как Александр Блок, а может быть, и тем поэзии вообще. Ибо речь идет о жизни на земле: снявши голову, по волосам не плачут.

Колонка редактора

СТАЛИНИЗМ С БЕЗУСУСЫМ ЛИЦОМ

Новому советскому Генсеку 54 года. Возраст, к которому Ленин, считавшийся в то время стариком, успел уже умереть. И все же, как в СССР, так и на Западе Михаил Горбачев единодушно признан молодым. Что ж, все на свете относительно. К примеру, по сравнению с ныне здравствующим Молотовым даже 84-летний Кузнецов выглядит молокососом. Непонятно другое: почему, по каким серьезным признакам этот очередной вождь провозглашен «динамичным реформатором либерального толка», способным коренным образом изменить существующую в стране систему и повести ее по пути мирного экономического развития? Не стучит ботинком по столу во время переговоров с западными партнерами и не блюет на стол в разгар званных обедов? Но ведь и Ленин со Сталиным этим не отличались. Прилично одевается? Но при наличии денег (по себе знаю!) и знающих консультантов это не такая уж хитрая наука. Сносно говорит? Но даже Хрущев, не говоря уже о том же Сталине, говорил гораздо образнее и живее. Тогда все-таки почему же?

Свет на это проливает интервью, данное им недавно американскому журналу «Тайм». И не столько само интервью, сколько предпосланный к этому интервью редакционный комментарий. По постыдной лъстивости тона комментариев этот далеко превосходит все, что писала в последнее время о Горбачеве даже газета «Правда». Чтобы позволить себе такую холуйскую лесть надо обладать поистине абсолютным отсутствием чувства собственного достоинства или какого-либо стыда.

Следовательно, дело не в том, что общественное мнение Запада в очередной (и в который уже!) раз хотят обмануть, а в том, что оно страстно жаждет быть обманутым, ради сиюминутных политических выгод, а также связанного с ними душевного комфорта.

А ведь не надо обладать особым политологическим чутьем, чтобы прочесть в этом интервью четкую и откровенную программу возрождения сталинизма во всех сферах советской

внешней и внутренней политики: жесткий централизм (от которого, кстати сказать, пусть вяло и непоследовательно, но пытались избавиться системе послесталинские предшественники Горбачева), железная дисциплина в обществе и политика с позиции силы по отношению к Западу.

Да это и неудивительно. Новый Генсек, в отличие от своих предшественников, которые так и не сумели до конца своих дней изжить в себе памяти о том времени, когда жизнь каждого из них, вне зависимости от степени их лояльности, ежедневно и ежечасно висела на волоске, принадлежит к поколению, свободному от этого страха. Для него и его сподвижников Сталин – это уже не персонификация страха, а миф и желанная модель общества. К сожалению, для многих на Западе сталинизм исчерпывается трагедией ГУЛага, но это далеко не так. ГУЛаг был лишь одной и не самой характерной частью сталинской эпохи. ГУЛаг только следствие, а не причина сталинизма. Но и в этом смысле, с первых же шагов Горбачев пытается наверстать упущенное. Репрессии против инакомыслящих, о которых при Брежневке даже не вспоминали, приняли тотальный характер. В тюрьмы пошли религиозные мыслители, неомарксисты, неформальные сторонники мира и так далее и так далее. Всем ранее осужденным и уже отбывшим наказание политзаключенным в спешном порядке «намазываются» новые сроки. Кто теперь гарантирует, что выпущенный из бутылки дух репрессии удержится в заданных ему рамках и не выйдет из-под контроля? Не следует забывать, что Горбачев не только выученик «прагматика» Андропова, но и соратник по управлению комсомолом таких убежденных сталинистов, как Шелепин и Семичастный, у которых в столе в свое время уже лежали проскрипционные списки на всю советскую либеральную интеллигенцию, включая нынешних конформистов вроде Евтушенки и Рождественского.

Мне надежда видится в другом: в полном провале новоявленного сталинизма, ибо для его успешного возрождения необходима не только жестокость, которой господа горбачевы обладают в полной мере, но еще ум, воля, знание массовой психологии, глобальный уровень мышления, наконец, чего (к счастью!) эти минитираны лишены от природы. Нельзя же всерьез считать признаком «политической динамичности» смехотворную, превратившуюся уже в свою карикатуру антиалкогольную кампанию, клишированные закли-

нения о дисциплине, хождение в народ (прием, украденный у Хрущева), ссылки на Бога (тоже краденное, только у Брежнева: вспомните Вену!) и ужесточение агрессии в Афганистане.

Вольно «Тайму» умиляться голосом нового советского Генсека, будто он оперный певец. Журнал этот, кстати сказать, умилялся всем подряд советским вождям, начиная от Ленина, но нам не следует забывать, в какую цену уже обошлось это умиление человечеству за шестьдесят восемь лет существования всепожирающей системы советского тоталитаризма.

Сталинизм с безусым лицом может оказаться куда более опасным и беспощадным не только для своего народа, но и для окружающего его мира, чем его знаменитый предтеча в портретном исполнении Пабло Пикассо.

Читайте в следующем номере «Континента»

Стихи:

**Ю. Иваск, Н. Коржавин,
И. Лиснянская**

Проза:

**А. Зиновьев, А. Копейкин,
Ю. Мамлеев**

Публицистика:

**П. Вайль и А. Генис,
М. Джилас, К. Стерлинг**

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Наша почта

Глубокоуважаемый г-н редактор!

В свое время (№ 37) редакция Вашего журнала бросила упрек выдающемуся публицисту Д. Штурман в «удручающе однозначном» восприятии периода коллективизации в интерпретации А. Зиновьева в статье «Нашей юности полет».

Тогда уже было очевидно, что немного читателей согласятся с тенденциозным анализом А. Зиновьева и много больше согласятся с мнением Д. Штурман. С тех пор прошло много времени, и до сих пор остается неясным, какую глубину исторического анализа этого периода редакция усмотрела и почему этот анализ показался редакции таким значительным: оставаясь при этом по сложности недоступным для многих. Нам, грешным рядовым читателям, пришлось признать свою интеллектуальную недостаточность и, задав себе естественный вопрос – на какую же аудиторию рассчитывал А. Зиновьев – навсегда забыть об историко-социологических экскурсах этого автора.

Но вот пришел долгожданный 44-й номер, и на этот раз примечание редакции о спорности некоторых аспектов статьи «Не все мы диссиденты» А. Зиновьева и желательности обсуждения.

После блестящей по стилю, языку и эмоциональной насыщенности, но, главное, глубоко убедительной статьи Льва Тимофеева «Последняя надежда выжить» (журнал «Время и мы», №№ 73, 74) в сущности на ту же тему, где с такой ясностью подтверждается реальность неосознанно-активной оппозиции существующему режиму, статья А. Зиновьева кажется излишне академичной, сухой и неубедительной. В отличие от Л. Тимофеева, который так необычно показал фронтальную экономическую оппозицию со стороны широких слоев общества как реальную силу, способную привести к изменениям, А. Зиновьев эту силу приписывает технической интеллигенции, неудовлетворенной своим социальным положением. Этот слой общества вне зависимости от национальных побуждений, по его словам, настроен так, что «в круг их проблем... не входит идея разрушения общественного строя и замена другим». И далее: «Но удовлетворение этих претензий... будет

целой эпохой ожесточенной борьбы». Никак не скажешь, что все ясно, что природа этих сил в состоянии привести к кардинальным изменениям строя.

Однако не эта необубедительность анализа оставляет горький привкус, а настойчивые упоминания о выработанной исторической концепции закономерности существования советского строя, его права на существование и отсутствия какой-либо исторической аберрации в его появлении и пророчестве существования этого рейха на неопределенно долгий срок. Всё, по А. Зиновьеву, закономерно происходит от «солидной истории», и структура власти не может быть названа режимом. Это читать нелегко. Частые упоминания о консерватизме общества в Сов. Союзе, о его согласии с существующей формой власти и проистекающей отсюда устойчивости общества несовместимы с искренним признанием Л. Тимофеева о том достойном сожаления «нешироком кругозоре советского человека», который «позанавешен широким занавесом лжи». Ведь если бы знали больше, то не было бы консервативности и согласия. Это читать не легче, но остается надежда, а вот у А. Зиновьева после прочтения прогнозов на тысячелетний рейх и надежды не остается. При всей бесспорности существования подобщества в Сов. Союзе в виде слоя оппозиционно мыслящих технократов-пролетариев невозможно поверить в него как в активную силу.

А. Зиновьеву следовало бы всегда помнить, что, помимо логики, в мире людей существуют еще и эмоции и эти-то эмоции не позволяют множеству людей с их доминантно-логической природой мышления оценивать его анализ так, как ему хотелось бы. Не упрекнешь его в неакадемичности, да только в такие мрачные прогнозы и выворачивающие душу оценки сталинизма верить не хочется и читать не хочется. И при этом остаешься в убеждении, что А. Зиновьев – талантливейший человек, блестящий критик марксизма, ученый и, как стало известно, художник.

Возвращаясь в начало моего письма, я признаю полное право Д. Штурман на ее оценку коллективизации от имени бесконечных ее жертв.

Было бы очень желательно узнать, в чем редакция журнала усмотрела спорность положений в статье.

С глубоким уважением и благодарностью

Рудольф Яковлевич Левинсон

ОТ РЕДАКЦИИ:

Хотим сразу оговориться, что нечасто в наш адрес приходят столь достойно сформулированные и умные письма. Постараемся ответить нашему корреспонденту взаимностью.

В отличие от в высшей степени уважаемой нами Доры Штурман, мы считаем, что в своей статье «Нашей юности полет» Александр Зиновьев рассматривает проблему коллективизации не на уровне дилеммы «хорошо или плохо», а в гораздо более глубинном плане. Автор, на наш взгляд, первым среди исследователей этого трагического периода советской истории задается довольно болезненным для всех нас вопросом: а не соответствовала ли коллективизация психологическому состоянию советского общества в те годы? Нам не следует забывать, что многие из ее современных критиков сами участвовали в ней или являются детьми этих участников. Легко свалить все беды нашего недавнего прошлого на некоего злонамеренного злодея с тараканьими усами, гораздо труднее признать свою собственную, хотя бы косвенную причастность к его злодеяниям. Ведь даже такой беспощадный критик марксизма, как А. Солженицын, признал, что в свое время, пусть в совсем короткий период, но увлекался этим лжеучением, а следовательно, не мог не принимать вытекающих из этого учения закономерностей. Для нас не составило бы труда назвать многих непосредственных проводников и апологетов коллективизации, которые сегодня, находясь в безопасной эмиграции, возмущенно машут кулаками в сторону далекой теперь для них усатой тени (кстати сказать, некоторые из них и сами, не стесняясь, написали об этом в своих многочисленных «воспоминаниях»), но мы предпочитаем оставить их запоздалые разоблачения на их собственной совести. Пусть, как говорится, мервые хоронят своих мертвецов.

Моральные эмоции, хотя бы и запоздалые, – конечно же, явление в нашей среде позитивное, свидетельствующее о пробуждении в нас чувства исторической ответственности, но, к сожалению, кроме эмоций, существует еще объективная реальность исторических фактов, которые не могут быть опровергнуты эмоционально. А ведь Александр Зиновьев – прежде всего историк, во всяком случае в данной статье.

Что же касается спорности статьи Александра Зиновьева, опубликованной в № 44 «Континента», то автор письма, по нашему мнению, уже начал обсуждение этого вопроса. Надеемся, что эта дискуссия будет продолжена.

Дорогой сэр,

В 44-м номере «Континента» была опубликована глава из моей недавно вышедшей книги «Выжить недостаточно». Она относится к коррупции в коммунистической партии Советского Союза. В конце этой статьи вместо краткой биографической справки автора, как вы обыкновенно делаете с новыми сотрудниками, вы решили преподать мне урок русской истории. Вы отвергаете мое утверждение, что в царской России чиновник не мог быть предан суду без разрешения его начальника, определяя это как ошибку автора, который якобы не может избежать «легкого соблазна провести параллель между дореволюционной Россией и советским обществом». Вы сообщаете вашим читателям, что, «как известно любому первокурснику», в 1864 году все российские граждане были объявлены равноправными перед законом. В качестве доказательства моей «ошибки» вы приводите заявление Николая II, осуждающего убийство Распутина, и выражаете уверенность, что если бы не Февральская революция, то Вел. князь Дмитрий, князь Юсупов и Пуришкевич были бы судимы за соучастие в этом убийстве.

Для меня, после 35-летней карьеры как публициста во всевозможных журналах, совершенно ново, чтобы издатель лично «поправлял» автора. На практике все издатели, если они не согласны с автором, сообщают ему об этом лично. Но я понимаю, что этот способ практикуется в Советском Союзе, где авторов поправляют в печати авторитетные партийные инстанции.

Мне тем более трудно понять, отчего вы решили предать гласности вашу неосведомленность в знании истории. Если уж вы взялись оспаривать профессионального историка по некоторым фактам, то вам следовало бы сделать самое необходимое, чтобы быть уверенным в своей информации. Хотя бы заглянуть в стандартный Энциклопедический словарь Брок-

гауза и Эфрона, в котором в главе «Государственная служба» написано следующее:

«Для предания суду самих должностных лиц по преступлениям должности установлен особый порядок, и самое предание суду зависит не от судебных органов, а от начальства служащего» (том XXX, стр. 441-442).

Если бы вы были более добросовестны, вы бы посмотрели в дореволюционных учебниках русского права, как, например, Коркунова, где нашли бы более детальное объяснение, которое сводится к тому, что: «Наше законодательство устанавливает действительно, что должностные лица могут быть предаваемы суду только их начальством, от которого зависит утверждение их в должности» (Н. М. Коркунов. Русское Государственное Право. Том II, С-Пб, 1897 г., стр. 552).

Если бы вы ознакомились с этими образцами, вы бы убедились, что ваши «доказательства» неуместны: заявление царя не судебное решение, тем более, что ни Вел. князь Димитрий, ни князь Юсупов, ни Пуришкевич не подпадали под законы, которые я указываю выше, т. к. они не являлись чиновниками. (Между прочим, вы исказили заявление Николая в этом случае: не «В России никому не дано убивать без суда», что является абсурдом, а «Никому не дано право заниматься убийством».)

Каждый «первокурсник» действительно может об этом думать как вы. Но, очевидно, чтобы говорить о сложных исторических вопросах нужно иметь образование более обширное, чем у студентов-первокурсников.

Ричард Пайпс

ОТ РЕДАКЦИИ:

Довольно странно, что господин Пайпс, несомненно считающий себя серьезным ученым, в своем письме в редакцию ссылается прежде всего не на фундаментальные источники, а на популярные издания вроде Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, одним из активных авторов которого, кстати сказать, был такой объективный мыслитель, как В. Ленин. Что ж, мы вынуждены отвечать автору, так сказать, взаимностью.

Сначала мы позволим себе освежить в памяти читателя цитированный нами в редакционном примечании авторский пассаж: «подобно видным чиновникам императорской России, члены партии стоят *над законом* (подчеркнуто нами!)

в том смысле, что их нельзя судить, пока они занимают свои посты».

А теперь приведем место из вышеупомянутой Энциклопедии, рекомендованное нам господином Пайпсом в качестве свидетельства нашего научного невежества:

«Для предания суду самих должностных лиц *по преступлениям должности* (подчеркнуто нами!) установлен особый порядок, и самое предание суду зависит не от судебных органов, а от начальства служащего».

Согласись, дорогой читатель, что между утверждением автора о неподсудности царских чиновников *вообще* «пока они занимают свои посты» и ссылкой на их служебный иммунитет только «по преступлениям должности» разница огромная.

В этом смысле даже в современном демократическом законодательстве существуют известные ограничения. К примеру, нельзя привлечь к суду выборное лицо «по преступлению должности» до тех пор, пока это лицо не лишено депутатской неприкосновенности, то есть, выражаясь языком девятнадцатого века, без разрешения начальства, в данном случае – выборного органа. Мало того, в свободном мире, как правило, не привлекаются к суду и должностные лица «по преступлениям должности» прежде их ухода в отставку. И за примерами ходить тоже недалеко: возьмите хотя бы недавнее дело министра труда США Реймона Данована или министра экономики ФРГ Людвиг Ламсдорфа.

Несостоятельно также и обвинение нас в недобросовестности только потому, что мы не имели возможности познакомиться с «Русским государственным правом» Н. Коркунова. В данном случае речь может идти лишь *о неведении*, а недобросовестность здесь не при чем.

Что же касается неточности в воспроизведении нами резолюции Николая Второго об убийстве Распутина (каемся, цитировали по памяти!), то, если бы автор достаточно хорошо знал русский язык, он мог бы убедиться, что и в нашей интерпретации этой резолюции никакого «абсурда» нет.

К сожалению, тридцатипятилетний стаж научной и публицистической работы еще не гарантирует ученого от предвзятости и заблуждений.

В стабильном мире, каким представляется нам он, этот мир, до Октябрьского переворота, параллель между старой Россией со всеми ее пороками и Советским Союзом выглядела

бы обычной научной гипотезой, имеющей право на существование наравне со всеми другими. Но в эпоху, когда речь идет уже о судьбе демократической цивилизации вообще, подобного рода параллель становится поистине смертельноопасной, ибо вольно или невольно помогает советской дезинформации обманывать Запад, представляя коммунистическую агрессию, поставившую перед собой целью завоевание мирового господства, всего лишь одной из форм борьбы за сферы влияния в современном мире или традиционной империалистической экспансией. В современной исторической науке, как и в современной физике, к сожалению, ошибочный вывод может окончиться для человечества самыми роковыми последствиями.

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Разделяю Вашу тревогу относительно того, что лубяночные мастера провокаций очень удачно проводят операции по разжиганию межнациональной вражды как в СССР, так и за рубежом. Сочетание интернационалистической демагогии и шовинистической имперской практики «разделяй и властвуй» – крупнейшее достижение советского империализма.

Увы, прошлое оставило во всех нациях такое количество шовинистических мифов и контрмифов, столько накопило боли и обид в душах людей, что совсем немного нужно, чтобы вызвать в любой удобный Кремлю момент вспышку страстей.

В 60-70-е годы украинская диаспора приложила большие усилия, чтобы преодолеть накопленные столетиями взаимные предубеждения евреев и украинцев.

В свою очередь, наши еврейские друзья сделали все, что в их силах, чтобы побороть украинофобию в Израиле.

Результатом было создание Общества еврейско-украинских связей в Израиле и аналогичного Общества в Северной Америке.

Параллельно возникли общества польско-украинские. Русско-украинские контакты развивались менее эффективно, но всё же развивались. Вы сами участвовали в них.

Подчеркну, что в позитивных русско-украинских контактах принимали участие в основном те же украинские полити-

ческие круги, которые стремятся наладить позитивные связи украинской диаспоры с евреями и поляками...

Еврейско-украинские общества за пять лет добились целого ряда успехов в борьбе с антисемитизмом и украинофобией.

Я не исключаю возможности, что среди сотен членов Общества еврейско-украинских связей есть русофобы. Но не они определяют деятельность Обществ. Большинство членов Общества в Израиле – узники Сиона, участники правозащитного движения.

Пишу обо всем этом в связи с тем, что, сами того не желая, Вы в своей заметке «Внимание: провокация!» («Континент» № 45) нанесли удар Обществу еврейско-украинских связей, его друзьям и его благородной деятельности. Свою правильную в целом мысль Вы проиллюстрировали неправильным примером.

«К примеру, некие самозванные представители еврейского и украинского народов воздвигли в Израиле памятник «украинским жертвам нацистов и русских». Это уже попахивает не только преступной глупостью, но и просто провокацией в духе нашей незабываемой Лубянки, ибо ни еврейский, ни украинский народы, уверяю вас, не имеют к этой гнусной затее ровно никакого отношения».

В этом абзаце почти всё неверно.

Мне лично неверной кажется сама постановка вопроса о «самозванных представителях» народа. Представлять можно организации, партию, государство, даже церковь. Никто не является «званным», полномочным представителем народа.

Затея не была гнусной.

Украинский рабочий из Канады Юрий Дыба затеял этот памятник, исходя из уважения к стране Израиль, к памяти 10 млн. украинцев – жертв большевистского геноцида, 3 млн. украинцев и 1,5 млн. украинских евреев – жертв нацистов (точные цифры ведомы разве что Лубянке...), во имя борьбы с будущими геноцидами, других народов.

Юрий Дыба вложил в дело установления этого памятника свою энергию, время и личные сбережения (он – не миллионер...)

Общество Е.-У. С. помогло Ю. Дыбе преодолеть все препятствия, опираясь на устав Музея Катастрофы, в котором

указано, что память о еврейской Катастрофе подразумевает также и память о геноциде других народов.

С украинской стороны в открытии памятника 13 мая 1985 г. участвовали представители украинских общин США, Канады, Германии и Франции. Среди них, трое украинцев – Праведников мира.

Северо-Американское Общество Е.-У. С. представлял Е. Стахив. Украинскую Хельсинкскую Группу и Центральный Общественный Комитет Украинцев Франции представлял я.

Из Германии на открытие памятника прибыла представительница Антифашистского Комитета госпожа Гельмтруд Шмит.

Общество Е.-У. С. представляли его Председатель Яков Сусленский, члены Правления Общества Е. Майданык и М. Фрумкин.

Памятник освящал украинский католический священник о. Я. Свыщук.

Музей Катастрофы представлял д-р Шломо Вайсман, член Совета Музея.

Мэр города Иерусалима Тедди Колэк передал присутствующим приветствие, хотя и не решился участвовать в церемонии открытия памятника...

Уже после освящения памятника обнаружилось несколько «накладок». Например, не совпадали надписи на украинском, английском и других языках. Чувствовалась спешка...

И самая главная ошибка (и даже «глупость») – надпись на иврите, о которой Вы пишете. Как только члены Общества (Голда Елина, Я. Сусленский, Е. Майданык и др.) сообщили нам о чудовищно-неверном переводе на иврит, Ю. Дыба, Е. Стахив, и я вместе с членами Общества приняли решение закрыть надписи, пока надпись на иврите не будет приведена в соответствие с украинским и английским текстом. Надписи закрыли.

Первая наша реакция была подобна Вашей: «провокация». Насколько мне известно сегодня, это неверно.

Вы знаете сами, что на Западе постоянно путают слова и понятия «советский» и «русский». Эта путаница вредит и русским, и другим народам, т. к. прячет имперскую сущность СССР.

Эта путаница усиливает русофобию. Увы, большинство русских диссидентов тоже совершает эту ошибку...

Как бы там ни было, но ни памятник, ни надписи не были провокацией. Тем более – лубяночной. Не стоит разбрасываться этим словом – глупость и нечестность человеческая делает за Лубянку большую часть ее работы...

Вы уже знаете, что группа вандалов при попустительстве полиции разрушила наш памятник 26 сентября, т. е. тогда, когда мы с Вами и нашими еврейскими друзьями готовились к встрече Горбачева в Париже.

Разрушители памятника сделали самому антисемитскому в мире режиму подарок.

И все же я не решусь утверждать, что эти вандалы – коммунисты или чекисты, пока полиция или Общество не расследует их преступление.

Шовинизм родился раньше КГБ. Сегодня они – сознательные и бессознательные союзники.

Своей поспешностью Вы нечаянно подыграли этому союзу – из хорошего побуждения борьбы с ним. Наше единственное оружие в этой борьбе – истина. Поэтому не следует нам использовать в борьбе недостаточно проверенные данные. О памятнике Вы всегда могли получить от меня или других украинцев необходимую информацию.

Р. С. Т. к. я принадлежу к «так называемым» «угнетенным народам» («К.», № 45, стр. 422), «плюралистам», «образованцам» (хоть и не «обрезанцам»), и в то же время сочувствую борьбе членов редакции «Континента» с шовинизмом, то хочу воспользоваться случаем, чтобы высказать ряд своих давних претензий к стилю публицистики журнала.

Подчеркиваю – с позиций дружественных и сочувственных «Континенту».

«Континент» существенно плюралистичнее и объективнее, чем, скажем, Солженицын, «Вестник РХД» или «Синтаксис».

Однако распределение примечаний редакции к спорным статьям искажает объективизм позиции редакции.

Мне хотелось бы отметить ряд постоянных недостатков публицистики «Континента», которые подрывают авторитет журнала.

Среди них – постоянные ссылки на Лубянку (к тому же «намекающие», а не прямые), терпимость к псевдоединомышленникам и нетерпимость к идеологическим противникам.

Почему редакция так беспощадна, например, в «внуке наркома», и так терпима к неосталинистским высказываниям А. Зиновьева, который в советизме уже превзошел даже братьев Медведевых и других «хрущевцев»?

Редакция в полемике с С. Маркишем отмечает, что среди русских третьей волны «нет ни одного марксиста»... Медведевы – русские или нет? По какому признаку определяется «русскость»? Для меня, например, Ж. Медведев, да и Р. Медведев – типичный русский националист-империалист на хрущевской подкладке.

Насколько я знаю, «внук наркома» отнюдь не марксист и таковым не был. По самоощущению он скорее русский, чем «представитель так называемых угнетенных народов». Напомню, что очень многие представители русского национализма – русские не по крови, а по самоопределению.

Стоит ли также заниматься уточнениями социального происхождения оппонентов? Светлана Сталина достойна презрения не за отца, а за свое личное поведение...

Историю с «Унита» не знаю, но в нее не верю, зная «внука наркома» как лично, так и по его работам.

Приведу еще один пример неверной расстановки акцентов в журнале.

Примечание редакции к более чем странной статье Б. Хайнмана о Сомосе и его режиме, на первый взгляд, вполне удовлетворительно: «Не разделяя апологетическую точку зрения автора рецензии, мы» «считаем, что наш читатель вправе знать альтернативный взгляд на положение в Никарагуа и вынести из противоположной информации самостоятельное суждение». Увы, не советский читатель. Для суждения о заметке В. Львова или взглядах С. Маркиша у него больше информации, чем о Сомосе.

Проблема Сомосы, Пиночета, шаха иранского и т. д. – одна из важнейших проблем современной истории. Конечно же, режимы, их сменяющие, существенно хуже. Это почти историческая закономерность. Но не они ли сами подготавливают свои народы к впадению в коммунистический соблазн?

Это центральная проблема международной политики Запада – кого и как поддерживать в отсталых и даже диких странах, чтобы они не прыгнули в объятия Лубянки.

История – не Невский проспект протоколов лубяночных мудрецов.

Коммунизм – летальный исход некоммунистических заболеланий. Лучший тип борьбы с Лубянкой – исцеление от феодальных и капиталистических болезней.

Леонид Плющ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция искренно сожалеет об акте вандализма и надругательства над памятником еврейско-украинской дружбы. На наш взгляд, любые памятники, даже с той надписью, о которой упоминалось в предыдущей «Колонке редактора» нашего журнала, имеют право на существование, но, тем не менее, отношение «Континента» к более чем омерзительному содержанию этой надписи остается неизменным.

Здесь, в Токио, мне показали журнал «Континент», в котором напечатано интервью Любимова. И в этом интервью Любимов много говорит обо мне. Мне захотелось что-то ответить ему, но, разумеется, не входя в какой-то спор, т. к. я в достаточной степени уважаю его. Просто есть некоторые неточности в его интервью, которые меня покоробили, и я подумал, что о них все же надо сказать.

Я хорошо понимаю состояние Любимова, его боль из-за утраты своего театра, которым он руководил 20 лет. Я представляю себе, что он лишен достаточной информации, она поступает к нему случайно, и есть люди, которые передают ему эту информацию однобоко, субъективно. И в его воображении – сегодняшний Театр на Таганке представляется ему не таким, какой он есть.

Прежде всего один сложный вопрос: должен ли был продолжать существовать Театр на Таганке после ухода его руководителя. Или же люди должны были разойтись, а театр – погибнуть. Я хорошо знаком с таким мнением, когда люди считали, что театр во что бы то ни стало должен умереть, потому что без Любимова театр покатится вниз и потеряет свои замечательные свойства, столь важные всем. Я понимаю Любимова, который думает так: – меня нет, театр должен перестать существовать. И ему при этом кажется, что так считают и все

актеры и вообще все люди, которые окружали его, когда он работал в Москве. На самом деле, это совсем не так. В театре сто актеров. Все они, за очень малым исключением, хотели продолжать работать и сохранить в театре то лучшее, что было, а может быть, сделать и еще что-то новое, ведь жизнь их не кончилась, им по сорок – сорок пять лет, много, кроме того, молодежи. Люди хотят работать, что-то в искусстве существенное сделать. Им вовсе не хотелось расходиться по разным театрам, чтобы Таганка перестала существовать. То же самое можно сказать и о друзьях Любимова, о его друзьях вне стен театра. Конечно, я не могу ручаться за всех, но люди близкие к старой Таганке продолжают приходить в театр и теперь, считают, что лучше для всех, если этот театр будет жить. И действительно, то, что Таганка работает – большое дело. Зрители по-прежнему толпятся у входа, стремятся попасть на спектакли старой Таганки, и на его новые работы. Публика жарко принимает спектакли, бурно реагирует, а что было бы, если бы тут образовалось пустое место, впрочем, пустого места не было бы, возник бы другой театр, не соответствующий авторитету старой Таганки. Пришли бы совсем новые люди, которые не были бы знакомы с прежними устремлениями. Конечно, они сделали бы что-то иное, но старый театр был настолько силен, что трудно было бы пере плюнуть его, когда же в нем остались старые работники, сильные своими традициями, – гораздо легче сделать театр вровень с прежней Таганкой, не хуже ее, может быть, даже в чем-то и лучше. Во всяком случае, с такой мыслью мы начинали работать и продолжаем. Я проработал там уже больше года и вижу, с каким рвением люди работают, сколько сил отдают новым спектаклям.

Желающих того, чтобы театр умер, может быть, было из ста – ну 2 или 3 человека. Но мотивы, наверно, этих людей очень сложные и очень разные, не у всех эти мотивы, так сказать, общественного порядка. Несколько учеников Любимова восприняло меня осторожно, может быть, даже враждебно, потому что им казалось, что я пришел разрушать. Они с уважением относились ко мне, как режиссеру, хорошо знали мои прежние работы, да я и на Таганке ставил когда-то, но они думали, что я хочу смести старое и сделать свое, без учета их индивидуальностей. Кроме того, они были очень верны Любимову, он их учитель. И они говорили так: должен пройти ка-

кой-то срок, чтобы начать новую жизнь. Но я был уверен, что если какой-то период пройдет без художественного руководства, то театр развалится, его потом не поднять, не собрать. Теперь, мне кажется, с этим согласны все. Когда люди увидели, что я пришел не со злом, они быстро повернулись ко мне. Повторяю, что, может быть, только 2 или 3 человека оставались на прежних позициях. Я, может быть, и уважал бы эти позиции, если бы там не смешалось в одну кучу что-то хорошее со всякой ерундой, о которой сейчас говорить не уместно. Одним словом, очень многие думали, что театра не будет. Но сейчас, я уверен, люди рады, что есть театр и что можно в него пойти.

Еще один вопрос. Любимов привык, привязался к своим актерам и теперь, в отдалении от них, они видятся ему в несчастном положении. Ему даже каким-то образом внушили, что существует тайное решение не позволять актерам уходить из этого театра, тайное решение не брать их в другие театры, закабалить их. Он говорит в своем интервью об этом как о «крепостном праве». Актер хочет уйти, ему неприятно работать в новом театре, но его не отпускают или в другом месте не берут. Это тоже существенная неточность. Мне кажется, что очень опасно опираться на слухи. Раньше был слух, что людей разгоняют, выбрасывают на улицу, теперь – что людей, напротив, не выпускают, заставляют работать в театре, который они ненавидят. Дело в том, что с самого начала всем было объявлено: любой из желающих может уйти. Ушли четыре человека из 100. Трое поступило в театр «Современник», четвертый – работает, кажется, на эстраде. Мотивировки уходов тоже совсем не однозначны. И, как я уже сказал, часто совершенно не общественны. Один ушел, потому что побоялся, что в него теперь творчески не поверят. Другой – работать разучился, много пил. Пил уже давно, до всяких событий. Ну; а третий, может быть, ушел из принципа. А четвертый решил предпочесть кино. Я сожалею обо всех уходах. Мне бы хотелось переубедить, но люди устроены сложно и не всегда получается диалог.

Оставшиеся актеры не подавали никаких заявлений об уходе, не заявляли об этом и устно. Напротив, люди просят занимать их в новых работах и не из-за ущемленности, не потому что, как пишет Любимов, – из-за возраста приходится мириться с чем-то. Нет, ведущие актеры очень сильны и воз-

раст их как раз такой, когда можно в искусстве сделать. Их с удовольствием взяли бы и в другие театры, если бы они того захотели. Они снимаются в кино, работают на телевидении. Иногда просто трудно собрать спектакль, так много заняты актеры в других местах, какая уж тут закабаленность!

Мне кажется, что Любимова как-то не так информируют. Ну да, он решил поступить так, а не иначе. Но при этом все же надо знать дальнейшее, реальное положение дел. Разве можно обходиться без этого? И многие читатели не знают, как на самом деле происходит все, и вот им кажется, что людей заперли в стенах театра и насильно держат там. Это не так, как я уже сказал.

Еще одна, как будто бы второстепенная тема. Но для Любимова она важная, не раз возвращается к ней, делает обобщения. Суть в том, что стены его кабинета испещрены автографами знаменитых людей, поклонников Таганки. Тот, кто заходил сюда, долго разглядывал многочисленные надписи. Теперь же кто-то распустил слух, что все это закрасили, замазали. Любимов, подогретый этим слухом, говорит – вот, мол, варвары! Но все подписи целы. Помимо того, что они целы, их еще на всякий случай тщательно сфотографировали для музея – ведь это не только для театра*.

Для меня эта комната тоже связана с тем временем, когда я приходил, чтобы выразить восхищение очередной премьерой.

Но, конечно, жить одними воспоминаниями невозможно. Воспоминания – воспоминаниями, а жизнь себе идет и работа идет.

А. Эфрос

* Поскольку этот упрек автора письма следует отнести лишь к интервьюеру, позволю себе объяснить. О том, что стены, в конечном счете, не забелили, я узнала, когда номер журнала уже вышел и исправлять ошибку было поздно, – увы, связь с Москвой у нас проходит через ряд помех. Однако мне еще раз подтвердили – и думаю, что А. В. это прекрасно знает, – что решение забелить принято было: вот тогда-то стены «на всякий случай тщательно сфотографировали». Потом их удалось отстоять. Заодно еще раз подтвержу, что, по самым достоверным сведениям из Москвы, «крепостное право» для артистов Театра на Таганке действительно в течение первых месяцев существовало. – *Н. Горбаневская.*

ОТ РЕДАКЦИИ: Вместо ответа мы воспроизводим текст заявления представителей русской культуры за рубежом, приуроченное к 20-летию Театра на Таганке. На наш взгляд, оно остается актуальным по сей день, ибо дело не в том, сколько актеров ушло из труппы, а сколько осталось, а в том, согласуется ли поступок А. Эфроса с высокими принципами профессиональной и моральной этики, издавна принятыми в среде русской интеллигенции?

УКРАДЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

Театру на Таганке ровно двадцать лет. К сожалению, славный этот юбилей труппа театра отмечает без своего основателя и главного режиссера Юрия Любимова, находящегося сейчас на Западе, в больничном отпуске. И хотя отпуск этот официально разрешен, власти не постеснялись в отсутствие руководителя снять его с должности и назначить вместо него Анатолия Эфроса – постановщика диаметрально противоположного стиля и профессиональной методологии, обрекая тем самым театр на эстетическую, а в конечном счете и на организационную гибель.

Нас удивляет произвол политических держиморд вроде Демичева и Зимянина, заправляющих сегодня судьбами отечественной культуры. В стране «победившего социализма», где судьбою лучших из лучших почти всегда была насильственная смерть, тюрьма, лагерь, ссылка или эмиграция, где писателей, отказывающихся следовать указаниям свыше (вспомните Миколу Руденко, Анатолия Марченко, Виктора Некипелова, Леонида Бородина, Ирину Ратушинскую и многих других), держат за семью замками, где гордость страны и человечества – Андрей Сахаров – надежно упрятан в бессудную ссылку, иных последствий и нельзя было ожидать.

Нас удивляет позиция, занятая в этой драматической ситуации Анатолием Эфросом, который согласился в данном случае по указанию властей послушно сыграть позорную роль профессионального мародера и цехового штрейкбрехера. Сыграть, кстати, при гробовом, а частью и одобрительном молчании нашей так называемой либеральной интеллигенции.

К сожалению, печальная эволюция Анатолия Эфроса началась не сегодня и не вчера. Его медленное, но уверенное

сползание по наклонной плоскости этического оппортунизма можно проследить со дня постановки им в Театре на Малой Бронной сталинистского «Платона Кречета» Корнейчука до его недавнего заявления в Америке о полной свободе творчества в Советском Союзе. Вероятно, под этим Эфрос имел в виду, прежде всего, свободу творчества для себя. Что ж, может быть. Но мы вправе спросить у некогда уважаемого режиссера: какой ценой и за чей счет?

К чести труппы, она небезропотно приняла нового руководителя. На первой же встрече с ним Юрий Медведев, театральный мим, выражая почти единодушное мнение артистов, впервые в жизни выразил свое моральное негодование не пластически, а в очень весомых и резких словах. В результате, только что назначенный маэстро, действуя в лучших традициях советских погромщиков от культуры, уже на следующий день уволил смельчака из театра.

Для москвичей, да и не только для одних москвичей, Таганка – место историческое. В стародавние времена здесь изготавливались знаменитые московские таганки, откуда и потянулось за этим местом его сегодняшнее название. В недавнем прошлом неподалеку размещалась (ныне частично снесенная) печально известная Таганская тюрьма. В сознании же современников эта площадь, прежде всего, ассоциируется с существованием театра, основанного и в течение почти двадцати лет руководимого большим русским художником Юрием Любимовым. Неужели же имя Таганской площади будет отныне связано еще и с трагическим фактом, выражаясь словами Аркадия Белинкова, сдечи и гибели очередного советского интеллигента?

Ответа на этот вопрос мы ждем не только от самого Анатолия Эфроса, но и от той части советской интеллигенции, продуктом и детищем которой он остается. Сегодня, как никогда, мы, вкладывая в горьковские слова вполне злободневное содержание, вправе спросить у нее – этой интеллигенции:

– С кем же вы все-таки, мастера культуры? С жертвами или с палачами?

Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Галина Вишневская, Георгий Владимов, Лев Круглый, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Мстислав Ростропович

Многоуважаемый Владимир Максимов!

Только что прочитал 45-й номер Вашего журнала, в котором Вы задаете мне «несколько вопросов» в связи с рецензией на иерусалимский журнал «Земля и народ», напечатанной в том же номере. «Земля и народ» опубликовали отрывки из моего очерка о Василии Гроссмани, которые вызвали у Вашего рецензента «резко отрицательное отношение». Он полагает, что я, возможно, искажил Гроссмана, излагая его размышления о российской истории, приводит из этого изложения две фразы («Мыслители и пророки России, ее сильнейшие умы и сердца воспевали русскую душу и предрекали ей великое будущее, но они не видели того, что русская душа – тысячелетняя раба. Именно поэтому избранником ее стал Ленин») и квалифицирует их как «весьма модную среди западных расистов концепцию». Вы, в своем комментарии «От редакции», отбрасываете любые «возможно» и устраиваете мне грубейший разнос за «откровенно расистское заявление» и за то, что «замечательному русскому писателю Василию Гроссману» я, в числе «иных сообразительных сочинителей», приписываю «свои собственные, глубоко оскорбительные для его памяти идеи».

Я хотел бы ответить на Ваши вопросы, и это – несмотря на непристойную грубость Вашего тона, мало располагающую к диалогу, на непонятный мне смысл, который Вы вкладываете в понятие «расизм», и на полное отсутствие смысла в Вашем последнем, 4-м вопросе, насчет партийного билета в кармане Гроссмана (кстати, позвольте Вас, уж не знаю, обрадовать или разочаровать: Василий Гроссман никогда в партии не был, в чем Вы легко убедитесь, если заглянете в «Краткую литературную энциклопедию», где принадлежность писателя к партии отмечается неукоснительно).

Хотел бы, но не могу, поскольку вопросы Ваши заданы не по адресу.

Ваш рецензент В. Б. (едва ли за этими инициалами скрывается новый Виссарион Белинский, скорее – старый Василий Бетаки) не выполнил своего элементарного профессионального долга. Если он сомневался, «мыслил ли Гроссман так, как говорит Маркиш, или не совсем так», то обязан был пользоваться моим примечанием, отсылающим читателя к оригиналу – 22-й главе повести «Все течет...», – и проверить, кому принадлежат возмутившие его две фразы. Не проверил – и

ввел в заблуждение Вас, человека, по-видимому, слишком доверчивого, публициста, слишком вспылчивого. Но если уж Вы обманулись, то что говорить о «непредвзятом читателе» (это формулировка Вашего Б.)? Конечно, всего лучше было бы, если бы Вы перепечатали, в виде приложения к моему письму, всю указанную мною главу, но я на такую щедрость не рассчитываю, и потому процитирую – по возможности экономно (все страницы указаны по второму изданию: Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973):

«Русский двадцатый век любит повторять те предсказания, что сделали о нем мыслители и пророки России в веке девятнадцатом – Гоголь, Чаадаев. Белинский, Достоевский» (стр. 174)...

...Наряду с подавлением человека князем, помещиком, государем и государством, пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, Христову силу души русского человека... Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены не свободой, что русская душа – тысячелетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть и ставшая всемогущей?» (стр. 174 – 175)...

«И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, свершилась русская революция» (там же)...

«Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров партий, пророчеств, программ... Жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты» (стр. 176)...

«Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее...

Он стал избранником ее, потому что он избрал ее, и потому что она избрала его.

Она пошла за ним – он обещал ей золотые горы и реки полные вина, и она шла за ним сперва охотно, веря ему, по веселой хмельной дороге, освещенной горящими помещичьими усадьбами, потом оступаясь, оглядываясь, ужасаясь пути, открывшемуся ей, но все крепче и крепче чувствуя железную руку, что вела ее.

И он шел, полный апостольской веры, вел за собой Россию, не понимая чудного наваждения, творившегося с ним. В ее послушной поступи, в ее новой после свержения царя покор-

ности, в ее податливости, сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось все, что он принес России из свободолюбивого, революционного Запада» (стр. 176 – 177)...

«Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, крепло в русской душе крепостное, рабское начало...

Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства» (стр. 177)...

«... Чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада... тем больше росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства.

История человечества есть история его свободы... Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы.

Русское развитие обнаружило странное существо свое – оно стало развитием несвободы» (стр. 177 – 178)...

«В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина...

И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим, привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатической души...

Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был, наконец, решен – русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо» (стр. 179 – 180)...

«Что ж. По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет.

Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве?

Что же это, действительно именно русский и только русский закон развития? Неужели русской душе, и только ей, определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства?..

Нет, нет, конечно.

Закон этот определен теми параметрами... в которых шла история России.

Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией,

в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане – закон истории стал бы тем же, каким был закон русского движения...

Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души...

Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души» (стр. 181 – 183).

Достаточно ли Вам этого? Убедились ли Вы, что «откровенно расистское заявление» принадлежит не мне, а «замечательному русскому писателю Василию Гроссману»?

Заметьте, многоуважаемый Владимир Максимов, я не вступаю с Вами в полемику, не требую от Вас «срам имати» (как Вы – от меня) и не надеюсь Вас образумить. Конечно, если бы Вы опомнились и перестали выискивать повсюду «русофобов», «литературоведов в штатском, осевших на Западе по предварительному соглашению с Лубянкой», и иные плоды Вашего непомерно горячего воображения, это была бы радостная новость, и не только для меня. Но, как я Вам говорил когда-то, много лет назад, я себя к русским эмигрантам не причисляю и в русских спорах участвовать категорически отказываюсь. Если я пишу Вам, в «Континент», это письмо, то лишь потому, что Вы с Вашим Б. меня обогали. Надеюсь – неумышленно. Хотя – скажу Вам откровенно – не уверен.

В особенности же надеюсь, что Ваше приглашение объясниться – не риторическая фигура и что Вы напечатаете этот текст полностью, не цензуруя.

*Шимон Маркиш
Женева, 6 ноября 1985*

Многоуважаемый Шимон Маркиш!

Несмотря на Ваши уверения в том, что Вы «не вступаете в полемику» и, не причисляя себя к русским эмигрантам, в русских спорах не участвуете, письмо Ваше, тем не менее, далеко от послания бесстрастного олимпийца или, если хотите, академически объективного ученого, каким, вероятно, Вы хотели бы себя видеть. И это Ваше заявление (как и, к примеру, весьма плоский и дешевый сарказм по поводу «нового Виссариона Белинского – старого Василия Бетаки») самой неубедительностью и горячностью своей Вас причисляет – хотите Вы того или нет – не к «русской эмиграции» или «русским спорам»,

а к тому, что много крупнее, много болезненнее, много безвыходнее – к попытке объединить историю государства и народа (государств и народов) с самоидентификацией человеческой личности, найти прямые и обратные связи в этом единстве, определить вес и значимость каждой из составляющих. Вы, человек культуры (и, стало быть, глубокой боли – это синонимы), отрицать свою принадлежность к спору можете только в запальчивости и эксцессах спора же, к сожалению, часто неизбежных – от той самой боли, которую Вы понимаете и ощущаете превосходно. И ни малейшего значения не имеет при этом. вступаете ли Вы в спор *физически* (то есть отвечая оппоненту или вызывая его на ответ): Вы оказываетесь в самом сердце спора, как только касаетесь болезненных вопросов.

В статье (или очерке, как Вы сами ее называете), напечатанном в журнале «Земля и народ» под названием «Пример Василия Гроссмана», некоторые места которой вызвали у нас неприятные ощущения, Вы столь же малообъективны подчас, как и в возмущенном письме, претендующем быть спокойным. Поймите правильно: никто не пытается вменить Вам в вину необъективность как таковую, ибо абсолютной объективности вообще не существует, и мы впали бы в пошлость чисто советского образа мышления, утверждай мы обратное. Но отдавая себе в этом отчет, естественно было бы ожидать, что Ваши симпатии и антипатии, Ваша позиция определенным креном своим может вызвать раздражение.

Фраза из обзора журнала «Земля и народ», подписанного В. Б., которая вызвала в Вас бурю негодования и необходимость закидать нас цитатами из Гроссмана («Далее это утверждение критика [...]» до «судить по ним [...] нелегко»), означает отнюдь не сомнение в том, приписали ли Вы Василию Гроссману несуществующие у него слова и выражения, а в том, что историософская концепция, излагаемая Вами, является не столько концепцией Гроссмана, сколько Вашей собственной. Не потому, что у Гроссмана ее нет (она возникает в определенных, Вами указанных местах его произведений), но потому, что в его произведениях – произведениях литературно-художественных – она не имеет той философской определенности, той постулятивной резкости страницы учебника, какую она приобретает при извлечении из контекста и аккумуляции в коротких и рваных цитатах. У Гроссмана она смягчена напряженностью страдания, самой тканью прозы, не только

не тяготеющей к объективности, но ей диаметрально противоположной, ибо по определению призванной воплощать интимнейшие движения человеческой души.

В Вашем литературоведческом анализе, требующем (закон жанра!) если не малодостижимой объективности, то, во всяком случае, известного спокойствия, *эмоционально-поэтические ощущения* писателя превращаются в *историсофскую концепцию*, которой у Гроссмана попросту нет. Убедиться в этом можно с легкостью, если забыть о *форме*, в которой выражена называемая Вами концепция, и обратиться к чистому *смыслу*.

«История человечества есть история его свободы», – пишет Василий Гроссман. Можете ли Вы, Шимон Маркиш, живущий сегодня в мире, открытом любой информации, утверждать, что история человечества действительно есть история его свободы, в то время, как половина планеты (да куда половина! – три четверти!) видит ее разве что во сне? После Гитлера и гитлеров, дьявольской, чудовищной метой отличивших XX век – в том числе и в тех странах, культура и цивилизация которых насчитывает тысячелетия?

И о какой, собственно, свободе говорит Василий Гроссман? Это понятие употребляется в самых разных смыслах: есть свобода как категория политическая, социальная, психологическая и, наконец, духовная. О каком из этих понятий идет речь? «Эволюция жизни есть эволюция свободы» – положение, к которому Гроссман в качестве органического элемента привязывает понятие «прогресс», есть не более чем красивая формула, чем дефиниция поэтического ощущения, ибо как философская величина она не выдерживает никакой критики, она путанна, туманна, обманчива, да еще явно волочит за собой шлейф марксистского видения.

Свобода духовная не эволюционирует и не может эволюционировать, она есть данность, цельность, не имеющая иной цели, кроме себя самой. Как жизнь. Что вовсе не противоречит биологической эволюции жизни: это непересекающиеся аспекты проблемы. Напротив, категории свободы политической или свободы социальной включают в себя понятия цели, но они отнюдь не соответствуют поступательному движению технического прогресса.

Василий Гроссман отнюдь не принимает свои размышления за постулат. Доказательство – Вами приводимая цитата:

«В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертной по обе стороны лагерной проволоки».

Можно ли после этого всерьез говорить об «историософской позиции» Гроссмана, согласно которой русская душа – тысячелетняя раба? Он противоречив и непоследователен, как каждый художник. Как может быть каждый художник. И его противоречия были бы шиты белыми нитками, не будь они шиты белыми нервами. Он не утверждает, – он заклинает и вопрошает. Он не менторствует – он кричит. Потому в словах его и нет ничего русофобского.

Лишенные этого звучания «над пропастью», превращенные в концепцию, они становятся таковыми.

Вам непонятен смысл, который в данном случае (в обзоре В. Б.) был вложен в понятие «расизм»? Вы правы, выражение это весьма неточно, ибо клишировано, в последнее время употребляется напропалую. Но дело ведь не в слове, правда? Хотите – придумайте иное определение для выражения оккультной неприязни к народу как таковому, вне зависимости от всех возможных грехов его или заслуг. К одному имени этого народа.

Уверены ли Вы, дорогой господин Маркиш, что Василий Гроссман, отчаянно воевавший за выброшенную цензором страничку о евреях, не переставая быть при этом русским писателем (вывод, сделанный Вами), Василий Гроссман, писавший об армянах так, как он писал, оправдал бы эту скользящую в Вашей работе неприязнь к русским, которую Вы позволяете себе обнаружить только потому, что это легко, дозволено, безнаказанно? И полагаете ли Вы всерьез, что это достойно интеллигента и литератора? Ибо поверьте, что если бы речь шла о менее уважаемой фигуре, мы не потрудились бы этого даже заметить.

Двойственность, раздвоенность – не новость, она – удел всех, кто утратил корни. Будь то корни национальные, или социальные, или культурно-исторические. Острота раздвоенности – до степени и кровоточивости раны – сопровождает любого человека, которого волею обстоятельств или людей, или универсального Зла превращают в мишень. «В сем хрис-

тианнейшем из миров поэты – жида», – сказала Марина Цветаева, и видит Бог, она имела на это право.

Поиски себя превращаются в пытку тогда, когда человека толкают на невысказанный, «безвыборный» выбор; в себе самом чертить границу, в себе – искать себя и не себя. Человек на этом распят обреченно и безнадежно, пока не откажется от этого «выбора» раз и навсегда, пока не соединится сам с собой в духе своем, в Духе просто: там «несть ни эллина, ни иудея».

Упаси Бог забыть о шести миллионах. Упаси Бог отнять право на память и на поиски причин и высшего смысла у кого бы то ни было. Но провозгласив задачу философскую, Вы решаете ее в плане литературоведческом – и мельчите.

Василий Гроссман – писатель еврейской судьбы, как следует из Вашей статьи, отнюдь не натурального призыва. Он стал им тогда, когда черная волна антисемитизма забивала легкие. А если бы ее не было? Если бы не было шести миллионов, борьбы с космополитами, угрозы депортации – если народ не сделали бы мишенью? Согласно Вашей же логике, Гроссман не стал бы писателем еврейской судьбы. Стало быть, еврейская судьба («еврейское счастье», по распространенной невеселой шутке) – судьба мишени, изгойство. Так это ведь очевидно и без анализов, это не требует никаких доказательств. И термин ни к чему придумывать – их уже без числа: вот хоть – «инвалиды пятой группы».

Но Вам это представляется необходимым, и именно поэтому Вы полагаете важным для своего анализа изложение того, что Вы назвали «историософской концепцией» Гроссмана. Надо заметить также, что, относясь к писателю со страстным восхищением, которого Вы, собственно, и не скрываете – вернее, Вам его скрыть не удается, ибо Вам бесстрастие и ровность чужды, Вы подвергаете внимательному рассмотрению только те произведения (или части произведений) писателя, которые это восхищение оправдывают или хотя бы просто совпадают с Вашими собственными вкусами и взглядами. Так, упоминая о слабых вещах или слабых сторонах в крупных произведениях Гроссмана, Вы их не анализируете, на них не останавливаетесь, не ищете причин их слабости. Вы выносите за скобки Гроссмана – советского писателя, не подвергая его анализу. Нет ни одного примера подобной попытки на протяжении всего Вашего очерка. Зато Вы обильно цитируете то,

что затронуло Вас как человека или как литератора. То, что Вам близко. Например, «историософская концепция».

В последнем разделе Вашей статьи Вы пишете (по другому поводу) следующее: «Литературные достоинства, а равно и пороки ощутимы непосредственно, объяснимы весьма условно и относительно, но недоказуемы, и тут слова традиционные (...) так же неубедительны и необязательны, как новомодные (...)». Позвольте адресовать Вам это весьма справедливое, на наш взгляд (как, впрочем, и очень многое другое в этой Вашей работе), соображение. Ибо помимо приведенных здесь «вещественных доказательств» Вашего *крена*, есть еще атмосфера, привкус, запах определенного посыла.

Вы попросту не устояли от соблазна «цветы поставить в изголовье их северной страны». Жаль. Это, поверьте, не делает Вам чести.

Что же касается нашей оговорки о партийной принадлежности Василия Гроссмана, то, принося за это свои глубочайшие извинения читателям, мы предлагаем Вам тот же вопрос в несколько иной редакции: «Чем же объяснить тогда „историософскую концепцию“ самого Василия Гроссмана, если он в начале своего творческого пути тоже „выбрал Ленина“, написав и опубликовав такие откровенно конформистские вещи, как „Глюкауф“, „В городе Бердичеве“, „Степан Кольчугин“?» Не кажется ли все-таки уважаемому автору письма в редакцию, что проблема «выбора Ленина» гораздо сложнее удобной схемы, в которую он пытается втиснуть свою собственную историософскую концепцию?

Критика и библиография

ЛЕВ ЛОСЕВ, ПОЭТ

Лев Лосев начал сочинять стихи довольно поздно, 37 лет от роду. И на то, вероятно, были свои резоны. В годы его молодости, в 60-е, такая поэзия, как у него (если она была бы тогда возможна) – безусловно, не выглядела бы. Он не соиздатель новых идей; он консерватор и ретроспективист; наконец, он – писатель-филолог, то есть человек, постоянно держащий в уме разные там культурно-исторические реалии и вряд ли способный их позабыть.

То, что мы называем лирикой, почти отсутствует у Лосева; среди адресатов его «лирического героя» кто угодно, только не женщина, обычный предмет лирического. Отсутствуют и другие лирические темы. И в этом смысле ему трудно подыскать аналог в русской поэзии. Поскольку лирика мало кому там была чужда.

В поэтическом смысле Лев Лосев, похоже, исповедует такое размытое в философском смысле понятие, как скептицизм. Именно это качество заставляло его воздерживаться от поэзии большую на данный момент часть его жизни, но именно оно-то теперь и накладывает печать на его стихи. «Одно время серьезно болел, – пишет он во вступлении к книге. – Появилась возможность внимательно прислушаться к себе, что поначалу я делал с большим недоверием».

«Не прислушаться, а приглядеться», – поправляется он парой строк ниже, и действительно, момент лицемерия, зрительный аспект у Лосева чуть не самый важный и пронизывает все. Стихи своих предшественников он тоже в и д и т. Свои стихотворения он тоже хочет сделать видимыми. И перекличка – цитатная, прочая ли – с другими поэтами лежит именно в зрительном пласте. Цитаты, которые использует Лосев для своих стихотворений – настолько очевидны, часто хрестоматийны, что выглядят зачастую некоей цеховой местью собратьям-литературоведам. В самом деле, что нового

Лев Лосев. Чудесный десант. «Эрмитаж», 1985.

могут открыть любители изысканий «чужих слов» поэтических в текстах, читая такие строчки:

Земную жизнь пройдя до середины,
я был доставлен в длинный коридор.
В нелепом платье бледные мужчины
вели какой-то смутный разговор.

Что ж, можно натужиться и сказать: это не только Данте-Лозинский, но, вот, еще, взгляните, Симонов: «От женских ласк отвыкшие мужчины...»

Я приведу еще один пример, чтобы яснее выявилась вся неблагодарность таких занятий применительно к Лосеву.

Вымерли гунны, латиняне, тюрки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не помереть. Кто не померет.
«Умер» зудит, обезумев, как «immer»,
в долгой зевоте «jamais».

Похоже выражался про киевского богача Бродского Тевье-молочник у Шолом-Алейхема. Но если оставить переклички с посредственной прозой, то надо вспомнить о поэте Бродском, авторе, кстати, «Римских элегий», живущем в Нью-Йорке, а также последнее издыхание А. П. Чехова и последнее, сорвавшееся у него с губ: «Ich sterbe», что некоторые склонны толковать как «стерва» (в адрес жены). Поэтому мы не будем оговаривать все такие вещи при дальнейшем цитировании материала.

Границы, в которых поэт располагает то или иное действие, определены, никогда не размыты, даже наоборот, зачастую обведены жирной линией, зримы и слышимы, отдаются эхом подтекстов, вторых смыслов и, может, мистификаций. Поэт берется в данном случае описывать воображаемый иронический герб («Инструкция рисовальщику гербов»); в другом месте – пару натюрмортов и бытовую сцену впридачу («Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем голубоватый свет зеленый. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира») – это стихотворение записано как прозаический абзац и обведено типографской рамкой, жаль. без вензелей.

Темы и образы Льва Лосева – всего лишь постояльцы в его стихотворных единицах, хотя бы и циркулирующие и возвра-

щающиеся; он любит встречаться с ними, ангажировать на время, но делать их неотторжимо-своими – ему незачем. В этом смысле стихи, привезенные им из европейской поездки весны-лета 84 года, лучше всего укладываются в такое толкование его творчества.

На руках у дамы умер веер.
У кавалера умолкла лютня.
Тут и подкрался к ним Вермеер,
Тихая сапа, старая плутня.

Стихотворение называется «В амстердамской галерее»; место действия в нем очерчивается в следующих параметрах: Европа, Голландия, Амстердам, галерея, наконец, картина в галерее, на ней изображена карта Европы. Лосев, будучи поэтом-филологом, знает, вероятно, что такое писать непонятные стихи, и, видимо, поэтому, наоборот, старается в любом стихотворении дать хотя бы один исчерпывающе ясный план, слой, уровень, на котором стихотворение может быть воспринято каждым желающим, без того чтобы заглядывать в справочники, энциклопедии и антологии. Этот уровень – предметный, зрительный, в нем Лосев обычно не допускает недомолвок, хотя иногда сознательно допускает неточности (в этом стихотворении их две: предполагается из текста, что на одной картине изображена дама с веером и кавалер, а такой картины в коллекции Рийксмузеума в Амстердаме нет; вторая неточность, тоже намеренная, – «старая плутня»: Вермеер умер 50 с лишком лет; картины его датированы слабо; и даже если это поздняя вещь – навряд ли он тогда сходил за старика).

Но иногда неточность оборачивается другой, малопрощаемой, особенно поэту, вещью – небрежностью. К языку. Например, что значит название «Памяти водки»? «Памяти Москвы»? «Памяти Литвы»? «Памяти» – это ведь чему-то ушедшему должно быть посвящено, не так ли? Или же получается, что у водки, Литвы и Москвы есть память? Кто бы объяснил.

Что делать. Лосев принадлежит, видимо, к той группе поэтов, у которых встречаются *недостатки*. В этой группе найдем Богдановича, Языкова, Цветаеву – оставя вопрос о вкладе каждого из них в литературу, заметим, что личность и текст у них иногда досадно расходились. Напротив, все видные акмеисты – поэты «без недостатков», органические творцы,

наследники эллинской традиции, в которой, по словам Мандельштама, «язык стал именно звучащей и говорящей плотью».

В этом смысле Лев Лосев – явление также болезненное в русской поэзии. Тот же Мандельштам считал, что историю поэзии можно рассматривать как историю приобретений, но можно и как цепь утрат. (Т. е., скажем, Пушкин периода «Бориса Годунова» не смог бы уже написать лицейских стихов.)

В поэзии Льва Лосева тоже можно не досчитаться нескольких привычных компонентов: например, у него в понятии нет «лирического героя» – тот, от кого ведется речь, чаще всего резонер, реже – наблюдательный циник.

На Аничков я вышел мост,
увидел лошадиный хвост
и человеческий зад;
промеж чугунных ног – шалишь! –
не признак мужества, а лишь
две складочки висят.

.....

Я обезврежен, я пуст,
я слышу оболочки хруст и т. п.

– можно пересказать содержание этого стихотворения прозой – изменится ли что? Кто вышел? Холодно, и неудобно, и как-то нехарактерно для русской поэзии.

Есть у поэта и приобретения. Их больше, и они наглядны тогда, когда поэт воздерживается от оценочных суждений и говорит просто и по делу:

Что я вспомню из этих дней и трудов –
с колоколен Кёльна воскресную тишь,
некоторое количество немецких городов,
высокое качество остроконечных крыш,
.....
превращение Америки в слово «домой»,
воркотню Би-Би-Си с новостями дня,
отсутствие океана между мной
и местом, где нет меня.

И, конечно, самое большое приобретение читателей – это сам поэт Лев Лосев...

Анатолий Копейкин

ДАЛЬНИЙ БРЕГ ПАЛИСАНДРА

При чтении прозы Саши Соколова чувствуешь, что проходишь сквозь колючую проволоку, причем процесс доставляет наслаждение, и царапины остаются надолго. Чтение книг Саши Соколова требует такого же усилия, как усилие жить. Оно дает пищу уму, с его книгами поначалу борешься – как это происходило, когда в концертных залах впервые разразился Шостакович, с его непривычной огромностью, казавшейся громоздкой. Ухо тогда отказывалось слушать-служить, и приказывал мозг.

Охочий до разгадывания загадок и чтения меж строк, досужий автор рецензии полагает, что нашел слово, от которого пошел есть быть роман Саши Соколова «Палисандрия». Слово это «брусчатка». Ценное слово – одно из тех, кои первыми отчуждаются на чужбине за ненадобностью – в нынешних ненаших широтах литератур...

Вначале было отчужденное слово «брусчатка». И вот от слова к слову повело автора в сюжет. Слово родило вдохновение. Найденное, тяжелоатомное, слово должно было вместить целое. В слове «брусчатка» – грохот танков по правительственной площади, в нем – бой времени. С него пошел палисандрийский верлибр. Порочный амфир совбарокко, громоздкий как сундук, полный имен, городов и примет, – наполняет это повествование о полураспаде понятий.

Имя, за которым скрывается множество лиц и личин, главное имя в книге – Палисандр Дальберг. И тут же хочется скинуть раздражающую маску анонима, расшифровать псевдоним: Даль-Берг – Дальний Берг.

О чем эта книга псевдомемуариста?

Начало, подсказывая, предсказывает: о прыжке из Времени. Временщик Лаврентий бросается в Небытие, накинув сырмятную петлю на шею, с кремлевских башенных часов. Лаврентий Берия – в романе занят несуществующим изумительным делом: он Служитель Хроноса. Хранитель Времени – от Времени и погибнет. Так предупреждает роман Палисандра.

Фантастическая история гибели Служителя Хроноса описана крайне реально – и так же выпукло описаны макеты

Саша Соколов. Палисандрия. «Ардис», Анн-Арбор, Мичиган, 1985.

Эмска (Москвы на палисандрийском) – города, который в последние минуты земного времени видим сквозь запотелое бериевское пенсне:

«Продутый умеренными ветрами, Эмск возник перед дядей своей юго-западной панорамой – дохнул на него городской распутицей, неуютом складских помещений, жилищ, больничной карболкой, строительными работами, хлебной гарью, квашениями и солениями, ворванью и рогожами, бьющимся на веревках бельем, пищевыми отбросами, дегтем, свалкой, патокой и пенькой – заторчал фабричными трубами – трубами механических мастерских и пекарен – котелен – слесарен – ржавыми шпильями и крестами – куполами и башнями – и весь преломился он в лужах – в сточных канавах – в сочащейся изпод горизонта тягучей, времяобразной, как жизнь, реке цвета сукровицы и разбавленного спекулянтами кваса».

Книга «Палисандрия» – рассказ об антиэпохе в проекции из зазеркалья нашего зарубежья. Состоит «Палисандрия» из нескольких книг: «Книга Изгнания», «Книга Дерзания», «Книга Отмщения», «Книга Послания». Все это на самом деле – книги Соблазна. Книги Издевки. Соблазн уже в самих их названиях, издавающихся над строкой: «Мы не в изгнаныи, мы в посланыи», горечь – от невозможности осознать смысл и того, и другого.

Ото всего этого Палисандр Дальберг, «боярское дитя» нового и старого времени, потомок Гришки Распутина, внучатый племянник Лаврентия Павловича, погружен во времясмстительное кровосмешенье. Он – баловень Истории и ее насильник. История – старуха, порой приходит в облик смерти, порой – в виде супруги правителя, Леонида Ильича Брежнева, порой – в виде прочих старух. История носит имя «победы» – Виктория Пиотровна. «...дебелая, расфуфыренная, напоминающая продавщицу разбавленного квасу». Мертвую куклу пользует расслабленный кремлевский барчонок, которого с почетом препроводили в тюрьму-усадьбу после его выстрела в Брежнева у Боровицких ворот (вождя своевременно заменили куклой).

Весь этот роман наполняют натуралистические постельные схватки с этими старухами, временными местоблюстительницами. Любовью к старости опыляет свой мозг Палисандр. Это, невзирая на мерзость, – сцены подлинного реализма, когда автор насилует самое время, содрогаясь во всех падежах, сопрягаясь в спряжениях:

«Откинув ее через низкую спинку на сетку кровати, словно лапшу на дуршлаг, я умело и долго лелеял и нежил желе ее благодатных прелестей, и руки мои утопали в них по запястья...»

«Желая сделать мне местный массаж, графиня стала наощупь, под грязью, изыскивать доступ к моим святыням, но пальцы ее заблудились в петлях и пуговицах пижамо и безвольно повисли какими-то щупальцами».

«Передо мною возник испещренный краплениями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы – заблудшей дочери истамбульского истаблишмента».

Траченный лик Истории перетекает с тулова на тулово. Сей желеобразный паноптикум есть Пантеон, где пустоты одеты в примечательные саваны – Берии, дяди Иосифа, Андропова, Берды Кербабаяева, амазонки Фаины Каплан, учительши в стрельбище...

На первый взгляд, автор пошел проторенной тропой притчи, изрядно искушающей русских литераторов, изображающих в различнейших рамках и ракурсах железных кремлевских мечтателей. Но лишь единственная по-настоящему соотносима с притчей Палисандра – притча Орвелла о распылителях истории, пошедшей прахом, когда само время оказалось распятым вверх ногами.

В романе Саши Соколова насилье над временем – постоянно и порочно. Ибо время насилуемо не только имперской идеей – автор сам глумится над государственными часами. Часам дается решительный бой:

«Я – хроникер текущего времени (...) Хронограф. И дабы запротоколировать его, не пренебрегаю никакими условиями...»

Автор в себе несет имперское сознание, и это бремя рождает ощущение боли, которое и есть по сути лейтмотив всех книг под сенью «Палисандрии». Эта боль рядится в жеманные одежды изящной вычурности несуществующей России XVIII века. От боли – шутовство, жонглерство немислимыми именами; от нее же – реальные до стереоскопичности пейзажи несуществующего ни в одном измерении некоего звездного мира, усеянного созвездиями смешного:

«„Оттого, сударь мой“, возразил полковник, картинно откидываясь в лонгшезе, „оттого, что, что девичья фамилия особы, которая скоро увнучит вас, в чем я нимало не сомнева-

юсь, поелику келейные переговоры с нею по поводу вас, нашей первоочередной креатуры, прошли отменно, фамилия эта, сударь, имеет основательное касательство к оставленному российскому трону“». (Так говорит у Саши Соколова Юрий Андропов.)

В этой прозе, скользящей по поверхности литературного бытия, возвращены жизнь и право на существование многим словам, ставшим от неупотребления хрупкими. Ибо автор – поэт, испещряющий листы своих сочинений сочетаньями слов, колющих, как лучи, заточенных соцветиями колючей проволоки. В его длительных, как бесконечный кадр, пассажах-картинах – ни единого лишнего слова:

«Брезжущий день по-троянски загадочен и чреват неведомым содержанием, что, как правило, не замедливает предстать. Но отдельные дни обманывают даже самые скромные ожидания, ибо не таят в себе ничего. Вот и сегодняшний день оказался пуст. Пуст до гулкости, сер, правда, весь в созревших яблоках здешнего сада. День-конь».

Подсматривая в лабораторию этой прозы-поэзии, замечаешь любовь к щебечущим и шепчущим шипящим. Сложнейшая эта книга – «Исканья, Дерзанья, Послання» – наполнена силой, возникающей от самого движенья, поющего внутри языка.

В новой книге Саши Соколова, в сравнении с прежними его книгами, – большее внимание уделено наполнению формы. И, видимо, потратив больший, чем обычно, потенциал на наполнение, автор оставил стенки формы-сосуда более хрупкими; от этого там то и дело трещины и проломы: тяжеловесность смысла бьет форму изнутри. Налицо перегруженность.

Скажут – тяжеловесность была у Джойса; скажут – сложным был для первых читателей Пруст. Но Пруст своими книгами открыл в человеке новое измерение, а Саша Соколов всего лишь открывает пока новое измерение в литературе. И время от времени, отрывая от «Палисандрии» отяжелевшую голову, спрашиваем сами себя: «О чем?».

О чем? О собственной ли судьбе автора? О его жизни, которая и впрямь причалила к дальнему берегу?

О России? С ее Новодевичьим, со Спасскими часами, с керосином ее и ее палисадниками, с больничными скверами и кладбищами? О России, похороненной в сердце автора?

О чужбине? О том, что в безумье отчуждения вряд ли можно вылечить душу с помощью марсианского пейзажа, сквозящего в сочетаниях слов и понятий?

Пожалуй, все это так. Но, кроме того, роман Саши Соколова представляет собою особый творческий эксперимент разговора на вечном языке о времени и о себе.

И в холодном совершенстве завершающих пассажей «Палисандрии» – мелодия внеполости, изначальной для всякого творца, для всякого художника. Тут автобиограф выворачивает свою жизнь наизнанку, говоря о себе в среднем роде:

«Я знаменито. Я знамение своего времени. Я его знаменосец. И неопалимо пылая огнем гуманизма, – горю, озаряя заблудившим овнам народов путь в ночи бытия. Но родина, – бредило я порою, рея в этом неверном свете, – где моя родина? шарило я в этом мраке руками ветвей и ветвями дланей. И внутренним голосом возражало: про Рек – забудьте, Ваше отечество – Хаос».

Роман «Палисандрия» – достоверное подробное доказательство того, что главная, первостепенная задача для художника – участие в битве Хроноса с Логосом, на стороне последнего:

«И вращая стрелки вселенских часов – часов на миллионах небесных брильянтах в миллиарды карат – прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетья».

Кира Сапгир

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО «ЗАПОВЕДНИКУ»

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты или не рад –
Не спросит он... Вперед, вперед!

Тютчев

При первом прочтении повести С. Довлатова «Заповедник» текст ее может показаться состоящим из ряда разрозненных эпизодов, хронологической записью событий из жизни автора в течение одного лета. Разговоры, портреты, зарисов-

С. Довлатов. Заповедник.

ки. Герой повести – видимо, сам автор, который рассказывает о себе все, как было, не отбирая фактов, не усматривая в них связи. Но потом читатель начинает понимать, что перед ним лишь выработанная художественная манера, которая характерна для целого течения в нашей современной литературе. Это свойственный многим нашим писателям стиль «рассказов о себе». Эти «рассказы о себе» должны подтвердить правдоподобие преподносимых читателю немислимых историй, вычур нашей современной жизни. Герой таких повестей и рассказов – на самом деле «псевдоавтор»: для правдоподобия писатель нередко называет его своим собственным именем, придает ему свои черты и свою биографию (впрочем, довольно сомнительную).

Поездка Автора в заповедник – это попытка как-то пристроиться к общему укладу, жить, как все люди живут. Быть может, здесь, в заповеднике, гнет системы не будет столь ощутим.

Микромир заповедника – это капля воды, в которой отразился большой мир советской действительности. Заповедник живет двойной жизнью, лицемерной и ханжеской, как это присуще советской жизни вообще. Все, кто побывал здесь, знают, как используются эти «лучшие в свете места». Величайшее культурное сокровище – Пушкин; его прибрали к рукам власти предрержащие; заповедную обитель превратили в обитель пропаганды. Сюда приезжают толпы экскурсантов, туристов, по путевкам месткомов. В общем-то, они к поэзии равнодушны, но знают: Пушкин – символ культуры. Поэтому «для них важно одно: ощущение – я здесь был». Экскурсоводы должны приспосабливаться к вопиющему невежеству туристов, вести экскурсии на самом «постыдном уровне». Здесь говорят заученным языком советской пропаганды: предписана даже любовь к Пушкину, которая должна выражаться словами «методичек» – методических руководств. При поступлении на должность экскурсовода Автору устроили экзамен, где ему был задан вопрос: «За что вы любите Пушкина?» Оказывается, отвечать надо было: «Пушкин – наша гордость, он не только великий поэт, но и великий гражданин». Экскурсоводы не должны выходить за рамки предписаний, и напрасно было бы надеяться на какую-то возможность уйти от советской рутины. В результате – формализм и привычка к пустой фразе. Галина-экскурсовод говорит: «С каждым летом наплыв

туристов увеличивается... Исполнилось пророчество: „Не зарастет священная тропа!“» и тут же: «По утрам здесь жуткий бардак». Автора это, видимо, раздражает. Когда Галина говорит с чувством: «Здесь все живет и дышит Пушкиным... Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...», – Автор со злорадством отмечает: «Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач». Сопоставление почти символическое.

В паноптикум «Заповедника» входит подробное описание знакомства Автора с местными жителями и, прежде всего, с Михалом Иванычем, у которого Автор снимает комнату. Местная среда занимает большое место в его повести. Автор поселился в деревне, неподалеку от «турбазы», но, видимо, это не настоящая деревня, не колхоз, а скорее поселок, где живут рабочие, служащие, обслуживающий персонал как турбазы, так и окрестных предприятий – конюхи леспромхоза, санитары больницы. У них свои домики и кое-какое хозяйство на приусадебных участках. Хозяин Автора работает на бензопиле в лесничестве, его жена – сестрой-хозяйкой на турбазе. Михал Иваныч – законченный пропойца: «Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда». Деньги на пьянство он добывал, например, поставляя «налево», соседям, дрова изпод своей бензопилы. Если же соседи пьют меньше, чем он, то не от недостатка желанья, а от недостатка денег и от невозможности бросить хозяйство.

Автор пытается устоять против инерции общего образа жизни, от которого он бежал на работу в заповедник, но который подстерегает его и здесь. Он водит экскурсии, воздерживается от выпивок, старается поменьше «реагировать на крашенных блондинок» (к чему имеет склонность). «Я очень боялся нарушить это зыбкое равновесие. Грубил, если звали выпить. Раздражался, если со мной заговаривали девушки в экскурсионном бюро». Но «нельзя уйти от жизненных проблем... Если живешь неправильно, рано или поздно что-то случится»... А его жизнь – неправильная... Столько лет он пытался жить по-своему, и теперь не может примириться с принуждением. Даже временная работа в заповеднике – уже неправильна.

Автор, видимо, находился под неусыпным надзором КГБ еще до поездки в Пушкинский заповедник. «Впоследствии мне

рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка... Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне». Знакомые обсуждали местопребывание Автора. Высказывались различные версии. «Чекист... коротко высказался: – Есть данные – собирается в Пушкинские Горы».

Разумеется, каждый шаг Автора в заповеднике был известен местным кагебистам. В конце загула Автора с Марковым ему сообщают: «Вас разыскивает майор Беляев... с МВД». Автор отвечает: «...Скажите, что я уехал в Псков и заболел». – «Он знает». – «Что он знает?» – «Что вы который день болеете... Он и про телеграмму знает (об отъезде жены. – Е. Т.)... Сказал: Как выспится, пускай пойдет...»

Свидание Автора с этим майором КГБ – эпизод примечательный. Майор излучает доброжелательность и проводит с Автором воспитательную беседу (недаром над головой у майора повешен портрет Макаренко!). Он источает доброжелательство, сочувствует заблудшей овце. Он сам – почти диссидент! Конечно, он тоже угрожает, но делает это под видом добрых пожеланий. Он, дескать, не при чем, но «органы... воспитывают, воспитывают, но могут сдуру и покарать... А досье у тебя посильнее, чем «Фауст» Гёте. Материала хватит лет на сорок... Уголовное дело шьется в пять минут. Раз, и ты уже на стройках коммунизма. Так что, веди себя потише...»

Но главное майор приберегает к концу. Отпуская своего посетителя, «уже в дверях он шепотом прибавил: „И еще, как говорится – не для протокола. Я бы на твоём месте рванул отсюда, пока выпускают... Советую. Подумай“».

Это и было целью вызова. В то время, как видно, старались избегать излишнего шума (как говорит Автор, «теперь за литературу не арестовывают»). Лучше заставить слишком заметного, но неудобного человека эмигрировать подобру-поздорову («У тебя жена на Западе. К тому же опусы в белогвардейской прессе. Выступлений – целое досье...»).

Полным завершением сюжета звучит последний разговор по телефону – звонок Тани из Вены. Автор спрашивает: – Мы еще встретимся? – Да, если ты нас любишь. – При чем тут любовь?.. Тут уже не любовь, а судьба...

Е. Тудоровская

СОТВОРЕНИЕ УНИВЕРСУМА

Сейчас вскрываются объективные закономерности в построении вещей, и это находит поддержку в психологических изысканиях познавательной деятельности... Идет сравнительное изучение знаковых систем, от сигналов до естественных языков и формализованных языков науки. Единство слов, звуков, света, цвета, форм подтверждено исследованиями. Находят тождество между стихотворным размером и организацией кристаллических структур...

Э. Неизвестный. О синтезе в искусстве

Первая обстоятельная монография о творчестве Эрнста Неизвестного написана, к стыду нашему, не русским искусствоведом. Автор этой роскошно изданной книги – норвежец Эрик Эгеланд, известный художник-портретист и книжный иллюстратор, искусствовед и культурный обозреватель газеты «Моргенбладет». Книга Эгеланда вышла одновременно по-норвежски (в издательстве «Аventura») и по-английски в издательстве «Мозаик». Если спорят о роли варягов в русской истории, то в данном случае спорить не приходится...

Книга написана не только в результате глубокого изучения работ скульптора, но и в результате долгих разговоров обоих художников на темы искусства и философии. Не оставил Эгеланд в стороне и четкие формулировки самого скульптора, его собственное понимание философии искусства, изложенное в статье «О синтезе в искусстве» (вышла отдельным изданием в 1982 году в издательстве «Эрмитаж», иллюстрирована множеством графических работ Неизвестного из цикла «Древо жизни» – замысел монумента – и серией рисунков к «Преступлению и наказанию»). Чувствуется в моно-

Erik Egeland. Ernst Neizvestny. Life and work. Mosaic press, Oakville, New-York, London, 1984.

Эрнст Неизвестный. Говорит Неизвестный. «Посев», Франкфурт, 1984.

Эрнст Неизвестный. О синтезе в искусстве. «Эрмитаж», Мичиган, 1982.

графии и постоянная переключка с материалами из книги скульптора «Говорит Неизвестный» (Франкфурт, 1984).

Одно из главных достоинств книги Э. Эгеланда в том, что он не только подробно рассказывает мировому читателю о творчестве скульптора, но и уделяет основное место его философии. Потому что работы Неизвестного – не только синтез в искусстве и даже не только синтез искусств, но и философские произведения, говорящие языком камня и бронзы... По количеству иллюстраций, репродукций графики и фотографий скульптур книга Эгеланда – самый полный альбом работ скульптора.

(Книга Н. Новикова – издана вообще без иллюстраций, а книга англичанина Джона Бергера «Искусство и революция» тоже не удовлетворяет тех, кто хотел бы не только читать о Неизвестном, но и видеть сами работы.)

В монографии, после главы о «Древе Жизни» и краткого интервью со скульптором, весь его творческий путь прослеживается хронологически.

Творчество рассматривается все время параллельно фактам внешней биографии, из которых главное место занимает ставшее уже почти легендой противостояние Неизвестного Хрущеву. Вот как, следуя за воспоминаниями самого скульптора (в книжке «Говорит Неизвестный»), излагает события Э. Эгеланд: «Хрущев, едва поставил ногу на ступеньку, сразу заорал: „Дерьмо собачье, позорище! Кто тут ответственный? Кто руководитель?“ Вперед вышел человек. „Кто вы?“ Голос человека звучал слабо. „Белютин...“ – „Кто?!“ – рявкнул Хрущев. Кто-то из членов правительства сказал: „Не он настоящий руководитель, вот кто на самом деле...“, – и указал на Неизвестного. Хрущев снова начал орать. А Неизвестный крикнул в ответ: „Вы можете быть и первым секретарем, и первым министром, только не здесь, не перед моими работами. Тут я – премьер, и будем разговаривать на равных“. Кто-то из министров: „Вы знаете, с кем говорите? Да мы вас на урановых рудниках сгноим!“ Два агента безопасности схватили Неизвестного за руки. А он сказал: „Вы говорите с человеком, который вполне способен в любую минуту покончить с собой. Так что угрожать мне незачем“».

Далее Э. Эгеланд подробно рассказывает, как Хрущев, проникшись уважением к личному мужеству скульптора, позднее, после снятия со всех партийных и государственных

постов, уже совсем иначе относился к Неизвестному, и о том, как после смерти опального реформатора родственники Хрущева просили Неизвестного выполнить ему памятник: это было желание самого Никиты. Памятник был установлен на Новодевичьем кладбище. Эгеланд приводит и анекдот: «В энциклопедии ХХХ века написано: „Хрущев – мелкий политикан эпохи Эрнста Неизвестного“». И, надо сказать, анекдот вполне обоснованный. Эгеланд приводит и еще одно характерное место из того исторического монолога в Манеже. Хрущев: «Где вы бронзу-то взяли?» Неизвестный: «Украл». Тут весь Советский Союз в нескольких словах и с вечным дефицитом, и с госразрядками на фондовые материалы, и с повсеместным воровством и детищем его – черным рынком, о котором сам скульптор в книге «Говорит Неизвестный» так красочно поведал.

В тот самый день, вернувшись из Манежа, скульптор начал лепить Орфея, который сегодня, вместе с другими его работами, в частности с Кентавром и Пророком, украшает замечательный сад Шульман-билдинга в Нью-Йорке. Пластикой напряженных мышц, их гипертрофированным движением Орфей и верно напоминает микельанджеловских рабов, разрывающих плен камня. Издали скульптура выглядит как крест. Мотив креста, кстати, очень част в творчестве Неизвестного – можно сказать, одна из доминант его скульптурных композиций. Существующая пока лишь в виде уменьшенной модели, Гигантомахия, как справедливо отметил Эгеланд, в основе всей композиции и каждой из групп, ее составляющих, тоже имеет крест. Одна из главных концепций Неизвестного, самый частый мотив его – борьба Света и Мрака, воплощенная в образах противостояния и активного противодвижения начал человеческого и каменного. Само переформирование неживого в живое, дерева или камня в человеческое тело, происходит на глазах у зрителя, постепенно, но зримо, словно длясь во времени. Это – может быть, самое главное, что надо учитывать, чтобы понять всю степень новизны, внесенную скульптором в пластическое искусство.

В своей монографии Э. Эгеланд отмечает, что человечество нуждается в универсальной концепции мироздания: «Это главное произведение Неизвестного поражает воображение». В нем, рядом с ним, «вокруг него», вы видите себя, как ветвь, как побег всеобщего Древа Жизни. «Это всеобъемлющее

произведение» пока только в модели и в сотнях деталей – отдельных скульптур, «каждая из которых шедевр». Эти фрагменты, все сделанные в натуральную величину – сами по себе целая галерея.

Рассказывая о подпольной работе Неизвестного в СССР, о работе над замыслом и деталями Древа Жизни, Эгеланд вспоминает слова известного американского журналиста Г. Солсбери: «Неизвестный – самый крупный и самый независимый из советских художников, и более всех вызывающий споры».

«Его видение всеобщности, – пишет Эгеланд, – в то же время открыто для каждого, свободно от любых идеологий, которые всегда хотят вербовать себе сторонников». Сила Неизвестного в том, что он никому ничего не навязывает, но просто предлагает миру свое понимание. Вот почему это искусство непримиримо противоположно эпохе дробления мира, эпохе Пикассо и Корбюзье, требовавших от зрителя разделять их и только их точку зрения, их анализ, их видение деталей раздробленного, по их пониманию, мира...

Время анализа закончилось. Сам факт появления такого художника, как Эрнст Неизвестный, – тому доказательство. Пафос отказа от любого антиискусства, от любого направления, от любой «творческой» догмы – вот позиция скульптора. Любая школа, догма, идеология сузила бы, обузила бы универсальность идеи, восстановление духовной основы искусства во всей полноте.

«Жизнь – смерть, – максимально напряженное внутреннее отношение», – писал сам Неизвестный о своей работе. Поэтому диалогическая скульптура выражает состояние души полнее и глубже. Это «внутри себя самой диалог духа и плоти. Она едина, но не однородна», в отличие, к примеру, от античной, монологической скульптуры, показывающей тело, форму и оставляющей дух вне искусства, где-то там, в области Слова или Музыки.

Монумент «Древо Жизни» – не только скульптура. В ней можно «передвигаться, оглядываться, спускаться под землю, подниматься к небу. Это – пространство, модель мира, внутри нее надо находиться, чтобы этот мир вас в полном смысле слова окружал».

Норвежский искусствовед удивлен, что такое искусство родилось в стране, не знавшей Ренессанса, и восприни-

мает Неизвестного, как явление некой компенсации Судьбы за это.

Структура в борьбе с аморфностью, информация как антиэнтропия в искусстве могут быть представлены только всеобъемлющим синтезом. Синтез в искусстве, отрицающий раздробленность и собирающий воедино все результаты всех анализов и дроблений XX века, и синтез всех искусств – вот символ борьбы Космоса против Хаоса, Света против Тьмы, античных одухотворенных богов, против гигантов – творений первозданного, косного сугубо земного мира. Синтез духа и плоти – как суть нераздельного и неслиянного Человека. Вот о чем говорит Неизвестный.

Василий Бетаки

КНИГА О БАЛЕТМЕЙСТЕРЕ БАЛАНЧИНЕ

Когда в апреле 1983 года в нью-йоркской больнице умер балетмейстер Джордж Баланчин, американская пресса единодушно причислила его к сонму столпов искусства XX века. Баланчина приравнивали к Пикассо и Стравинскому. Непривычный унисон газет, обыкновенно друг другу противоречащих, на сей раз не поражал. Ведь Баланчин – создатель и крупнейшая фигура американского балета. Между тем, родился он и учился в Петербурге; настоящее его имя – Георгий Мелитонович Баланчивадзе.

Георгий Мелитонович любил вспоминать, что отца его, зачинателя грузинской оперы и романса, величали «грузинским Глинкой». Младший брат Георгия, видный композитор, до сих пор живет в Тбилиси. Но судьба Жоржа (как его называли сверстники) оказалась связанной с петербургской балетной традицией, восходящей к легендарному Мариусу Петипа.

Юный Жорж был поначалу старательным учеником балетной школы. Он причинил, однако, своим бывшим наставникам много огорчений, когда позднее, после революции, возглавил дерзко экспериментальный ансамбль под названием

Solomon Volkov. Balanchine's Tchaikovsky. Interviews with George Balanchine. Simon and Schuster, New York, 1985.

«Молодой балет». В Петрограде молодым артистам приходилось и, голодать, и бедствовать. Поэтому, когда Жоржу с друзьями разрешили выехать в гастрольную поездку на Запад, он твердо решил, что назад не вернется.

Ему повезло: сам Дягилев принял его в свою труппу балетмейстером и «опарижил» его имя – отныне он был Баланчин. Появились новые знакомые: Равель, Утрилло, Матисс, Макс Эрнст. Два балета, поставленные Баланчиным для Дягилева, до сих пор причисляют к шедеврам неоклассической хореографии: «Аполлон Мусагет» на музыку Стравинского и «Блудный сын» на музыку Прокофиева.

В 1933 году Баланчин перебрался в Соединенные Штаты. Здесь начался самый длительный и блестящий период его деятельности. Стартовал балетмейстер буквально на пустом месте. Сначала была организована балетная школа; затем – небольшая труппа. Первые рецензии были уничтожающими. Баланчин оставался невозмутимым; он твердо верил в успех. Успех пришел после десятилетий напряженного труда: явились и неизменные восторги прессы, и многомиллионный «грант» от фонда Форда, и портрет Баланчина на обложке журнала «Тайм». И главное – переполненные залы на представлениях труппы Баланчина, которая стала называться «Нью-Йорк Сити Балет».

Баланчин был человеком чрезвычайно скрытным, редко подпуская к себе журналистов и не склонным раскрываться в своих немногочисленных интервью. Поэтому с естественным интересом американская публика и пресса встретили книгу бесед с Баланчиным, посмертно опубликованную в Нью-Йорке. Беседы эти провел и записал музыковед Соломон Волков. Книга Волкова (ее превосходно перевела на английский язык Антонина Бюис) называется «Чайковский по Баланчину».

К Чайковскому у Баланчина всю жизнь было отношение – мало сказать, восторженное – почти мистическое. Будучи воспитан в среде, где о Чайковском постоянно говорили и вспоминали, Баланчин ощущал себя с ним в особого рода контакте. Он всю жизнь ставил балеты на музыку Чайковского и признался Волкову: «Когда я работал и видел – что-то получается, я чувствовал, что это Чайковский мне помог. Или же он говорил – «не надо!»... Один, без помощи Чайковского, я не справился бы». Типичное для русского артиста признание!

А Баланчин, несмотря на полвека, прожитые в Америке, оставался человеком глубоко русским и религиозным. Он настаивал: «В веру нельзя прыгать как в бассейн. В нее надо входить постепенно, как в океан. Это надо делать с детства». Таковую же религиозность Баланчин искал и находил у Чайковского. В то же время Баланчин, опираясь на истории, слышанные им еще в Петербурге, а позднее в дягилевском окружении, считал смерть Чайковского самоубийством.

Здесь не место обсуждать научную достоверность этой точки зрения: вопрос сложный, и без свободного доступа объективных исследователей к архиву Чайковского в Клину, он, вероятно, никогда не будет разрешен удовлетворительно. В беседах с Волковым Баланчин выдвинул гипотезу «русской рулетки»: Чайковский, возможно, сознательно выпил сырой воды во время холерной эпидемии 1893 года в Петербурге. Желая смерти, композитор как бы перепоручил Провидению последний выбор, избежав, таким образом, конфликта со своими религиозными убеждениями.

Баланчин своеобразно комментирует не только жизнь Чайковского, но и его музыку: «Считают: Чайковский – это только замечательные мелодии. Это неправда! Он свои мелодии сложно переплетает, строит из них почти готические храмы, у него оркестровка серебряная». Для Баланчина Чайковский – непревзойденный искусник: «Можно долго изучать, как все это сделано, какие он приемы использовал. А говорят – душа! Я не понимаю, что это такое – душа в музыке. Чайковский прав был, когда над этим смеялся. Когда что-то нравится, говорят: это душевно. Путают два совсем разных слова – «душевный» и «духовный». Музыка Чайковского не душевная, она духовная».

Баланчин определяет Чайковского как «русского европейца», петербургского мастера. Эта линия, к которой он причисляет также Глинку и Пушкина, а из современных авторов Стравинского, для Баланчина чрезвычайно важна: «По крови я грузин, по культуре – русский, а по национальности – петербуржец». Поэтому, естественно, предпочтение отдается петербургской балетной школе: «У нас была настоящая классическая техника, чистая. В Москве так не учили... У них, в Москве, все больше по сцене бегали голые, таким кандибобером, мускулы показывали. В Москве было больше акробатики. Это совсем не императорский стиль».

С умилением вспоминает Баланчин петербургских чудак: покровителя футуристов Левкия Жевержеева (отца первой жены Баланчина), поэта Михаила Кузмина, наигрывавшего молодому балетмейстеру музыку Э. Т. А. Гофмана. Память об этом мире, исчезавшем у него на глазах, Баланчин унес с собой в изгнание. Вероятно, поэтому страницы книги, посвященные Петербургу, неожиданно трогательны.

На Западе Баланчину выпало счастье тесной дружбы с другим великим русским изгнанником. Игорю Стравинскому, в которого Баланчин поверил так же, как Петипа – в Чайковского, посвящена в книге отдельная глава. И вновь характерные, острые детали «изнутри»: Стравинский увлекался физкультурой; мог всплакнуть, слушая собственную музыку; любил, опрокинув несколько стопок водки, порассуждать с Баланчиным о политике. Но главное – во всем оставался высоким «петербургским» профессионалом. Баланчин вспоминает: «Я ему позвонил – мне тогда нужна была музыка для шоу в цирке – и говорю: «Игорь Федорович, мне полька требуется, можете написать для меня?» Стравинский отвечает: «Да, как раз есть у меня свободное время, есть. А для кого полька?» Я объясняю, что вот, мол, у меня балерина – слон. – «А молодая балерина-слон?» – Я говорю: «Да, не старая». Стравинский засмеялся и говорит: «О, если молодая, то это хорошо! Тогда я с удовольствием напишу!» И написал польку, с посвящением – для молодой балерины-слона. И не стыдился, что пишет для цирка».

Подготавливая книгу к печати, Волков опустил свои вопросы к Баланчину; вместо них в текст введены отрывки из писем Чайковского, из воспоминаний его друзей и т. д. Но из ответов Георгия Мелитовича видно, что вопросы задавались тактично и умно. Американские рецензенты книги отметили, что так Баланчин еще никогда не раскрывался. И дело тут не только в удовольствии вволю наговориться по-русски, но и в том, что собеседников объединяла любовь к Чайковскому и желание разъяснить его музыку современной аудитории, зачастую по незнанию третирующей композитора как устаревшего.

Шесть лет тому назад Соломон Волков выпустил на Западе записанные и отредактированные им мемуары Дмитрия Шостаковича, с тех пор переведенные на четырнадцать языков. Эта книга, вызвавшая много шума и споров, несом-

ненно помогла существенно изменить отношение к Шостаковичу: в его трагическую музыку гораздо внимательнее вслушиваются, судят о ней с несравненно большим уважением и проникновением. Новая книга Волкова о Баланчине наверняка попадет в Советский Союз и даст людям яркий портрет великого балетмейстера. На Западе эта книга будет работать против приставших к Чайковскому снобистских ярлыков. Соломон Волков делает большое культурное дело.

Любовь Федорова

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И АМЕРИКАНСКИЕ СЛАВИСТЫ

Только что издательство Йельского университета выпустило в свет объемистый том – «Пособие по русской литературе». На суперобложке прекрасного издания портреты классиков: от Пушкина и Лермонтова до Пастернака и Ахматовой; под ними сжатое описание тома. Оказывается, «Пособие...» – первая в своем роде энциклопедия, опубликованная по-английски, охватывающая десять веков литературного процесса. Труд этот создан усилиями ста шести славистов США, Канады и ряда европейских стран. Главный редактор тома – профессор славянских литератур Браунского университета, Виктор Террас.

«Пособие по русской литературе» ожидалось в Америке с большим нетерпением, именно эта энциклопедия должна была способствовать более глубокому изучению нашей словесности в вузах страны, но, как мне кажется, благие помыслы редактора издания так и не вышли из сферы прожектов... Обращусь к фактам, точнее – к цитатам.

«Советские эмигранты „третьей волны“ создали такие журналы... „Вестник“ (в Париже) и „Мы и наше время“ (Израиль)» – статья «Эмигрантская литература» (автор – Т. Пахмус). Еще одна цитата из другой статьи того же автора: «Кнут эмигрировал в Израиль в 1949 году, где он работал в театре

«Handbook of Russian Literature». Edited by Victor Terras. New Haven, 1985. Yale University Press. Стр. 558. Цена – \$ 35.

Хабин» (статья «Кнут, Д.»). А вот что пишет профессор Виктор Террас о гулаговских мучениях Ю. Домбровского: «Однажды Домбровский был арестован и, кажется, некоторое время провел в концлагере». Молодой русский поэт Алексей Цветков следует в «Пособии...» сразу же за Мариной Цветаевой. А. Лерман в статье о нем оповещает: «...Он (Цветков. – Э. Ш.) бесспорно один из лучших, если не самый хороший русский поэт современности... Стоит овладеть русским языком, чтобы в оригинале читать Цветкова».

Приводить цитаты из увесистого тома в пятьсот пятьдесят восемь страниц можно довольно долго, думается, что приведенных выше – достаточно. Во-первых, журнал называется не «Вестник», а «Вестник русского христианского движения», во-вторых, к «третьей волне» он не имеет никакого отношения. В-третьих, даже не слависты знают, что ведущий театр Израиля называется Габима, а не Габин...

В-четвертых, и тут-то дело посерьезнее. Невольно вспоминается очерк Жана Катала (переводчик Ю. Домбровского) – «Слово из тюрьмы». Есть там такие строки: «Домбровский пробыл почти четверть века в ссылках, тюрьмах, лагерях... Пять арестов, первый в 1932 году – ему было тогда 23 года... освобождение, новый арест, и так – «из Замка в Замок» – до 1957 года». Возможно, что кабинетная тишина Браунского кампуса сглаживает завороты нашей жизни, поэтому «четвертак» Домбровского Террасу всего лишь кажется. В-пятых, как-то отвыкли мы от того, чтобы поэтов выстраивать по ранжиру, да изучать русский язык только ради творчества Цветкова – не такое уж стоящее занятие.

В «Пособие по русской литературе» попал, однако, и целый ряд прекрасных работ, глубоко освещающих сложнейшие явления литературного творчества, повествующих о стилях и жанрах, о художниках слова. В томе Терраса есть и такие статьи, которые до сих пор не включались в американские издания о русской литературе. Назову хотя бы такие – «Ерофеев, В.» (автор – М. Альтшулер), «Бем, А.» (автор – Р. Белкнап), «Даниэль, Ю.» (автор – Д. Глад), «Память» (автор – Н. Перлина).

Сто шесть авторов – громадная сила, но только часть ее оказалась на должной высоте. Прежде всего, большой интерес вызывают работы «йельцев»: покойного ныне А. Раннита, Т. Венцлова, Э. Станкевича, Р. Пиккио. Хорошими статьями

представлены в книге и другие профессора: Л. Денис, Н. Полторацкий, А. Урбаник, Е. Непомнящая, Н. Перлина, М. Фридберг, Б. Филиппов. И все же работы этих вдумчивых ученых теряются не только в серости и безвкусице, но и просто в... невежестве.

Был когда-то в Союзе зе-ка 1Б-860. Ему «повезло» и умер он в своей постели, в Америке, в 1970 году. Незадолго до смерти он был уволен из университета то ли по сокращению штатов, то ли из-за изменения профиля кафедры славистики. Перед смертью этому американскому безработному удалось все же обратиться в Пен-клуб с призывом изгнать из его рядов либеральных дружков СССР, а на их место ввести Галанскова, Гинзбурга, Мороза... О безработном этом писал в «Архипелаге...» Солженицын, а академик Сахаров в 1973 году заявил заместителю Генерального прокурора СССР: «Я считаю Белинкова выдающимся писателем-публицистом...» (А. Сахаров, «Диалог с Маляровым», «Нью-Йорк таймс», 23 августа 1973 года). Высказывания двух Нобелевских лауреатов не убедили американских славистов. Они, в прямом смысле слова, «вычистили» Белинкова из русской литературы. Даже Краткая литературная энциклопедия оказалась принципиальнее и в статье «ОПОЯЗ» все же дала ссылку на книгу А. Белинкова «Юрий Тынянов». Итак, в «Пособии...» статьи о творчестве Белинкова нет, есть, однако, статья «Тынянов, Ю.» (автор – Е. Томпсон), но не указано в ней главное – книга А. Белинкова. Профессор К. Бростром дал в том Терраса статью «Олеша, Ю.». В библиографии к ней, однако, не найти одно из лучших произведений отечественной литературы – «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Та же Томпсон, все знающая и обо всем пишущая, в статье «ОПОЯЗ» опять обошла молчанием Белинкова, как и Данов, Д., автор статьи «Эзопов язык».

В «Пособии...» прослеживается странная взаимосвязь: американские слависты не признают все то, или всех тех, кто не пришел по духу славным охранительным органам. Вот и примеры. Об Аркадии Белинкове писалось выше. Есть в книге Терраса статья о советском литературоведе Петре Богатыреве, но нет в ней о талантливом поэте-переводчике Константине Богатыреве, «зверски убитом за то, что ни тюрьма, ни Московский университет (филологический изолятор) не смогли погасить в нем личности». В американской книге о

русской литературе ни единым словом не упоминается работа Ю. Мальцева «Вольная русская литература», и только единожды, невзначай, обмолвилось «Пособие...» о книге Г. Свирского «На Лобном месте». Не найти в томе упоминания об Алешковском, создателе «Николая Николаевича» и песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» Забыт Анатолий Марченко и «МетрÓполь», забыты, вычеркнуты целые пласты «литературы нравственного сопротивления». И даже статьи «Память», «Ерофеев, В.», «Галич, А.» и ряд других не в состоянии изменить ощущения странных совпадений...

«Пособие по русской литературе» довольно подробно освещает научную деятельность языковедов-лингвистов. Есть тут статьи о Дале и Потемне, Якобсоне и Фортунатове, Шахматове и Трубецком. Ученый, совершивший фонетическую революцию, создавший Казанскую и Петербургскую лингвистические школы, Бодуэн де Куртенэ, в американскую энциклопедию включен не был.

Отсутствие в томе имени величайшего лингвиста, как и многих других заслуженных для нашей словесности литераторов, следует, очевидно, рассматривать, как попытку В. Терраса разнообразить, оживить тематику... американских комиксов. Именно как комикс воспринимается статья о журнале «Континент» самого редактора «Пособия...». В Террас пишет: «Журнал издается редколлекгией – Владимир Емельянович Максимов (гл. редактор), Виктор Некрасов, Наталья Горбаневская и Евгений Терновский». Главный редактор отмечен по имени и отчеству, другие члены редколлекгии уже только по имени, не говоря уже о том, что ни Евгений Терновский, ни Виктор Некрасов не имеют сейчас к журналу никакого отношения.

В «Пособие...» включено много статей главного редактора издания. Уровень их крайне низок. В статье о великом поэте и мыслителе Вячеславе Иванове читатель напрасно будет искать информацию о трагической судьбе книги В. Иванова, почти целиком опубликованной у Мережковских в «Новом пути», а потом в «Вопросах жизни», отдельное издание которой почти полностью сгорело – «Эллинская религия страдающего Бога». Бесследно исчезла в статье Терраса еще одна важная работа В. Иванова – «Родное и Вселенское» (1918). В статье о Дягилеве (все того же автора) не указан фундаментальный труд о великом импрессарио, книга Сергея Лифаря –

«Дягилев и с Дягилевым» (Париж, 1939). Пишет в «Пособии...» Террас и об А. Кузнецове, хотя и не слыхивал он о последних зарубежных публикациях писателя, о его вкладе в «Новый Колокол».

Можно лишь с прискорбием констатировать, что «тон», заданный редактором издания, подхватили некоторые слависты. Э. Бристоль в статье об И. Бродском умудрилась ничего не сказать об альманахе «Часть речи», полностью посвященном 40-летию поэта. Все та же Е. Томпсон ничего не слыхивала о главной книге О. Брика – «Не попутчица». Не слыхивали американские слависты имени Василия Комаровского, которого Анна Ахматова считала предтечей акмеизма. Б. Джонсон в статье «Набоков, В.» вообще обошел стороной поэтическое творчество писателя, не говоря уже о том, что он не отметил его поэтический псевдоним – Вас. Шишков. Нет в «Пособии...» старейшей газеты нашего изгнания – «Нового Русского Слова», как нет и парижской «Русской Мысли».

Среди авторов «Пособия по русской литературе», нет, к сожалению, ни Маркова, ни Карлинского, ни Лосева, ни Юрьевой и Филипп, ни Леонида Ржевского (в «Пособии...» выступает лишь Николай Ржевский) и многих других ученых.

Американский книжный рынок всеяден, переварит он и этот том. Нам же остается лишь надеяться, что во втором или в третьем издании том В. Терраса все же станет пособием по русской литературе...

Э. Штейн

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
Alexander Solzhenitsyn



ЧИТАЕТ
Reading

"ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА"
"One Day In The Life Of Ivan Denisovitch"

ЗАПИСЬ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ-БИ-СИ
Recorded for The BBC Russian Service

ПРОДАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Available Here

ORDER FORM

Please send me the three cassettes of the BBC Russian Service Recording of "One Day in the Life of Ivan Denisovitch".

I enclose my cheque postal order international money order for £12 including VAT, Postage and Packing.

Name

Address

Send to:
BBC External Business and Development Group, Room 913 N.E. Wing, Bush House, London WC2

Коротко о книгах

Владимир РЫБАКОВ

«ТИСКИ». Армейские очерки

Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1985

Предисловие Георгия Владимова

«Тяжесть», «Тавро», «Тиски» – три названия вышедших в эмиграции книг Владимира Рыбакова начинаются, по авторской причуде, на «Т», образуя «т»рилогию. Чувствительный к цвету букв обнаружит, пожалуй, что «т» – коричнево-черная, как деготь. А еще – слова, вынесенные в заглавие этих книг, несут значение атрибутов насилия, из арсенала надсмотрщика над рабами. Эти книги В. Рыбакова и говорят о растлении рабством. Разные сюжеты повествуют об одном – о клейме советизма, нестираемом, как бороздки на кончиках пальцев.

Говорят, что «быль» В. Рыбакова «Тяжесть» испугала власти в Советском Союзе, и нынче числится среди самых зловредных. А Борис Суварин как-то сказал, что там есть нечто такое, чего о Советском Союзе он – и то не знал. «Тиски» принимают эстафету описания нелегкого солдатского советского бытия. Многие из очерков, помещенных в «Тисках», публиковались ранее в «Русской мысли», в «Новом русском слове» и других зарубежных периодических изданиях. Но, когда их собрали, они зазвучали по-новому.

Тема всех рассказов В. Рыбакова – жизнь под гнетом, превращение людей в зверей в процессе прохождения военной службы в советской России. Путь солдата – от повестки в военкомат до дембеля, на всех этапах. Повествование ведется лаконично, скупое, правда, не без актерского наигрыша, деланной невозмутимости. Игра автора в том, чтобы на место крика вводить обыденную интонацию. Но вот история о том, как полюбивший девушку-корейку солдат помогает ей бежать с Сахалина, где происходит действие, в Корею, вместе с родичами, на лодке. Смотрит вслед лодке, увозящей мать его будущего ребенка – и наводит на лодку вслед предателям автомат! Но – не выстрелил солдат. Человек опускает автомат. А вот контрстория – о том, как человек стал солдатом, – рассказ «С корабля на бал». Написанный, как и многие в сборнике, с тошнотворным натурализмом, он повествует

о том, как юноша из Ленинграда, натерпевшись в армии и озверев, закалывает штыком корову, нагадившую на участке, когда тот его подметал...

Что ни история – то повесть о задушенной душе, о насилии звериного над человеческим, о гибели. Но сквозь ужас – порой свет разума и добра. В этом аду люди остаются, невзирая ни на что, – мыслящими существами, и в этом залог их спасения. Об этом – последний рассказ в сборнике: о двух солдатах, служащих в «чуждеальной сторонущке», в оккупированном Афганистане. Они уходят из «тисков» на волю. Это один из лучших рассказов в книге В. Рыбакова.

Эти истории не связаны общим сюжетом, напротив – у каждой из них свой центр тяжести и свои удачи и, что греха таить, недостатки, среди которых наиболее частые – погрешности против вкуса, смакование ужасов, неряшливость парадоксов – ими автор прямо-таки злоупотребляет, таким образом их девальвируя. Но в том-то и состоит особенность психологической прозы В. Рыбакова, что в этих рассказах – запах настоящего.

Со страниц книги В. Рыбакова «Тиски», из дробных частных, из десятков лиц – поднимается л и ц о: суровое, с выгоревшим взглядом. Лицо русского Воина, что на службе у горькой советчины.

К. С.

По страницам журналов

«ВИДНОВА» – №№ 2, 3

«Vidnova» Verlag GmbH, 1985

Новый украинский журнал, «Виднова», начавший выходить в Мюнхене с прошлого года, – журнал с четким жанровым признаком – хотя в нем и есть произведения литературные, но главное – «политика, общество, культура» – как сказано в подзаголовке. В этом смысле «Виднова» прекрасно дополняет существующую многие годы «Сучастность», в которой художественная литература – главное.

Оригинальной чертой «Видновы» стало и то, что каждый номер этого журнала тематически един (и эта доминирующая тема обозначается на обложке) – так, второй номер посвящен украинско-русским взаимоотношениям, а третий – украинско-польским. В число членов редколлегии этого журнала, кроме известных украинских публицистов, критиков, общественных деятелей, вошли как русские, так и польские литераторы.

Во втором номере центральное место занимают материалы украинско-русского диалога, в частности материалы научной конференции «Украина и Россия – встреча в истории», которая состоялась несколько лет назад, но только теперь широкий читатель может прочесть все, что к этой конференции относится. Прежде всего – письмо А. И. Солженицына, посланное в свое время в адрес конференции, письмо, в котором писатель формулирует свое отношение к сложному вековому вопросу отношений между двумя народами, двумя культурами: «...сепаратизм или федерация – может, и от меня хотят услышать только этот один ответ? Я неоднократно говорил, и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой...» Но вопрос взаимоотношений, конечно, не исчерпывается этой темой. Прежде всего – и это не только в письме Солженицына, но и во всех материалах конференции – «анализ современности может основываться только на понимании того, что коммунизм – зло международное, историческое и метафизическое, а не московское». Именно эта идея – разрушающая самое, пожалуй, «удачное» из построений советских органов дезинформации о том, что советское и русское тождественны, именно эта идея, вносящая ясность в понятия национального, как вечного и социально-политического, как преходящего, стала не только

ведущей идеей всей конференции и опубликованных в «Виднове» ее материалов, но в какой-то мере и доминирующей мыслью в позиции самого журнала. Он – не сепаратистский и не федералистский. Он просто признающий очевидность: есть два народа, родственных, но разных, каждый со своей личностью, и ни один не может и не должен быть в положении «старшего» или «младшего».

А право на самостоятельную государственность, как выражение самостоятельности нации-личности, есть *естественное* право всякого народа. Это настолько бесспорно, что любой вопрос об империи, как мне кажется, просто снимается с повестки дня. Раз право *естественное* – значит речь может идти не о «предоставлении» независимости кому бы то ни было, а лишь о «самоограничении нации», о котором А. Солженицын писал еще десять лет тому назад. Нельзя дарить то, что принадлежит и так народу по естественному праву. Можно лишь самым в той или иной форме ограничить свои действия.

Этот же мотив пронизывает и статью главного редактора Ярослава Пеленского, открывающую номер: «Украине будет трудно освободиться и получить государственную независимость без позитивного решения русских проблем». И с другой стороны, «Россия сможет лучше всего разрешить свои проблемы не будучи отягощенной украинским, или вообще имперским комплексом».

Именно эта взаимосвязанность наших проблем отмечена в интервью «Видновы» с Владимиром Максимовым, справедливо заметившим, что если в Польше, несмотря на антирусские настроения, исторически и политически понятные, само имя «Континента» открывает сейчас любую дверь, то «нам хотелось бы, чтобы так же было и на Украине. Возможно, что отчасти оно и так, но, к сожалению, с Украины доходит до нас очень мало вестей».

Развитие украинско-русских взаимоотношений В. Максимов видит в том, чтоб диалог между двумя народами «перенести внутрь советской империи». «Важно начало, а там – само пойдет».

Среди множества материалов хочется отметить особо еще один – статью Гергарда Симона «Национальности и возможность управлять Советским Союзом: языковые проблемы – главное поле конфликтов». Говоря о том, что «Советский Союз – последняя колониальная держава в европейской истории», Симон утверждает, что языковые границы доставят больше сложностей всем народам колоний и народу метрополии, чем любые иные вопросы. Именно тот факт, что вместо сталинской элиты в республиках-колониях, присланной из Москвы, все большую роль играют «национальные элиты», ставит вопрос о

лояльности этих элит, могущих сыграть важную роль в дезинтеграции империи, как это, видимо, будет в Литве или Эстонии, но могут и наоборот – тормозить пробуждение национального самосознания, как это наблюдается в мусульманских республиках (от себя добавлю – потому, видимо, что ислам из всех *образов жизни* – ибо он не только религия – наиболее легко конвергируется с социализмом советского типа).

В кратком обзоре невозможно уделить внимание всем интереснейшим материалам журнала. Остановимся вкратце на номере 3 – посвященном украинско-польским отношениям. Позиция журнала и тут по сути та же самая, что и в вопросе отношений с Россией, но особая специфика в том, что отношения колонии с метрополией в данном случае – давняя история, а не жгучая современность, как в отношениях с СССР. Тут прежде всего обращает на себя внимание статья ответственного (второго) редактора «Видновы» Богдана Осадчука «Польша и Украина». Пробежав взглядом всю тысячелетнюю историю отношений между двумя народами, Осадчук пишет: «Для каждого тоталитаризма, т. е. современного рабства, удушение свободного выражения мыслей самая главная черта. При сталинизме ее подняли до уровня основной партийной догмы. После Сталина она стала основой основ «развитого социализма. В том же смысле действовал и немецкий национал-социализм – гитлеровский близнец сталинизма». Именно учитывая это, отношения между подсоветской Польшей и еще более подсоветской Украиной неестественны, искривлены принадлежностью обеих стран, хотя и в разной степени, к одной и той же империи. И настоящий диалог возможен лишь тогда, когда собеседники либо формально освободятся, завоевав национальную государственность не на бумаге, либо смогут говорить между собой так, словно империи не существует, что весьма нелегко. Исторически же союз между Польшей и Украиной не сложился, как думает автор, по множеству причин, из которых не последняя – конфессиональная рознь. Но взаимопонимание найти можно и нужно.

Среди интересных материалов этого номера следует отметить также «Польскую легенду про Мазепу» Христины Пеленской, обзор Вл. Одоевского «Польско-украинская тематика в современной польской прозе» и полемические заметки Ежи Томашевского «Разные взгляды на историю».

Особое место в номере занимает анкета, в которой польские деятели отвечают на вопросы редакции. Здесь помещены высказывания Ежи Гедройца, Яна Юзефа Липского и многих других...

Возвращаясь к словам В. Максимова о том, что диалог важно начать, а там само пойдет, можно сказать, что вышедшие три номера «Видновы» и есть то самое всеми нами желаемое начало диалогов между украинским и другими соседними с ним народами.

В. Б.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССИКА»

НОВАЯ КНИГА

АНДРЕЙ СЕДЫХ

СТАРЫЙ ПАРИЖ · МОНМАРТР

Иллюстрации Бориса Гроссера

Две изящные книги, написанные молодым журналистом, влюбленным в Париж, вышли во Франции в 1925 и 1927 гг. и давно стали библиографической редкостью. А между тем эти книги, родившиеся из бесконечных прогулок по одному из прекраснейших городов мира, ничуть не потеряли своего очарования: каждый уголок Парижа, описанный в них, связан с легендами и достоверными историческими происшествиями, с именами королей, аристократов, революционеров, великих поэтов и писателей Франции. И сегодня они в равной степени ценны и как увлекательные рассказы о Городе-Светоче, и как путеводитель, за который каждый русский гость Парижа будет благодарен автору.

366 стр.

\$ 16.00

Заказы направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.

799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U.S.A.

По заказам в США: просьба добавлять 1 доллар за первый и 50¢ за каждый следующий экземпляр на пересылку.

Вниманию лиц, проживающих за пределами США:

Просьба добавлять \$ 1.50 за первый и 75¢ за каждый следующий экземпляр на пересылку и оплачивать заказы Международными денежными переводами в долларах США.

(Стоимость пересылки одного экземпляра воздушной почтой за пределы США – 7.00 ам. долл.)

Наша анкета

Беседа с Главным редактором «Нового Русского слова» АНДРЕЕМ СЕДЫХ

Ведет профессор Декон Глэд

Д. Г.: Расскажите о том, как вы уехали из России. Вы же из Крыма, кажется, да?

А. С.: Я уехал из Крыма, из Феодосии – это мой родной город. Я только что окончил гимназию, мне было семнадцать лет. Это был последний этап гражданской войны, в Крыму уже шли бои на Перекопе. Нужно было думать о будущем – город переходил несколько раз в руки красных, зеленых, махновцев. Надо было думать об эвакуации в индивидуальном порядке. Вот я и поступил матросом на пароход, который шел в Ялту, а из Ялты в Болгарию. Из Болгарии я попал в Константинополь. В те времена город этот был очень яркий, совсем не похожий на Константинополь сегодняшний. Все турки ходили в фесках, женщины – в темных вуалях.



Я прожил в Константинополе шесть месяцев; делать там было абсолютно нечего. Я продавал на улице русские газеты. Могу сказать, что я один из тех путешественников поневоле, которые из Азии ездили в Европу, а из Европы в Азию по крайней мере сорок раз в день, потому что существовали такие «шаркеты», которые плавали через Босфор с европейского берега на азиатский, и я на этих шаркетах продавал газеты скупавшим пассажирам.

В Константинополе моя карьера газетчика прервалась, потому что мы с двумя приятелями купили на толкучке большую подозрительную трубу, соорудили из нее телескоп, установили его на людном месте и начали показывать луну за пять

пиастров. Турки большие поклонники луны. Луна их символ.

У нас всегда стояла очередь. Один из нас был, так сказать, астроном, он носил специальный берет с тремя звездами, который где-то добыл. Я брал плату, а третий давал на непонятном языке объяснения, есть ли на Луне жизнь и так далее. И мы очень хорошо зарабатывали до тех пор, пока небо не покрылось тучами и нечего стало показывать. Тогда и мы остались без работы. И я уехал во Францию. Это было целое приключение.

Д. Г.: В каком году?

А. С.: В 20-м. Я приехал во Францию за месяц до Рождества. После войны Париж выглядел неприветливо, весь в каком-то зеленоватом, типично зимнем парижском тумане. Жил я с товарищем на маленькой средневековой улице Hôtel de Ville, на берегу Сены, где стоял вечный туман, вечный адский холод. В отеле не было никакого отопления. Жилось очень трудно, не было работы, не было денег.

В конце концов я поступил работать в какой-то банк, а потом Михаил Михайлович Федоров, министр торговли царского правительства, устроил меня в университет, в Школу Политических Наук. L'Ecole des Sciences Politiques считалась очень аристократической, консервативной школой и мое появление там было совершенным скандалом. Тем не менее я учился в этой школе и окончил ее в 26-м году.

В то время я уже начал работать в «Последних новостях», когда редактором газеты стал Милюков. Как выпускника Школы Политических Наук, он назначил меня парламентским корреспондентом. Я сидел дни и ночи в Палате Депутатов, в Сенате и в Елисейском дворце. Мои репортажи часто занимали всю первую страницу газеты. В Палате Депутатов и в редакции «Последних новостей» я провел двадцать лет моей жизни.

Д. Г.: Расскажите, пожалуйста, о газете подробнее.

А. С.: В 30-м году «Последние новости» праздновали 10-летие своего существования, и был опубликован в очень ограниченном количестве экземпляров альбом, в котором есть портреты ста ее ближайших сотрудников. Я должен с горечью сказать, что в настоящий момент, сегодня, в живых осталось только три человека, в том числе я. Но я был единственным постоянным членом редакции, другие двое писали только

время от времени – рассказы, стихи. Одна из них Ирина Одо-евцева.

Д. Г.: Какой был тираж тогда у газеты?

А. С.: Тираж «Последних новостей» доходил до 35 тысяч. Милюков был человеком по тем временам левым, но у него были свои счеты с вождями, с руководителями Белой Армии. Его не любили, но тем не менее в Париже все читали «Последние новости»: профессора, инженеры, работники заводов и шоферы такси.

Там печатались не только мои парламентские отчеты. Иногда я писал о крупных судебных процессах, как, например, о процессах Кутепова, Миллера, вернее, о похищениях Миллера и Кутепова, которых я лично знал хорошо. Я печатал также свои очерки, рассказы. Милюков очень покровительственно относился ко мне, и я ему очень благодарен за это. Я считал себя его учеником, он научил меня многому.

Д. Г.: Опишите обстановку, в которой жила русская литература в Париже 20-х годов.

А. С.: Парижская эмиграция была необыкновенно интересна по своему составу. В Париже оказался весь интеллектуальный Ленинград, или Петроград, если хотите, а также Москва, Киев – все те, кому удалось бежать. Бывшие политические деятели, причем, очень видные. Там жил Керенский, там жил Милюков, оба они между собой были в довольно плохих отношениях. Я жил в Отей, по соседству с Керенским. Иногда мы встречались и гуляли вместе. Это были не особенно веселые прогулки, потому что Керенский, человек необычайного темперамента, увлекался и очень много критиковал мое начальство.

В «Последних новостях» сотрудничали Бунин, Надежда Тэффи, Марк Алданов.

Я работал регулярно в редакции по воскресеньям и понедельникам, делал первую страницу вместе с Алдановым. Алданов не только писал романы; время от времени, ради хлеба насущного, ему приходилось делать чисто газетную работу. Мы работали вместе и были большими друзьями. Дважды вместе ездили на каникулы, проводили время иногда в Ницце, иногда в Виши.

В качестве театрального рецензента у нас работал князь Сергей Михайлович Волконский, бывший директор Императорских театров. Волконский оказался замечательным лите-

ратором, он оставил после себя очень интересную книгу о декабристах, среди которых, как известно, был и его предок.

Балетным отделом заведовал Андрей Левенсон, непревзойденный балетный критик, французские газеты им очень дорожили. О музыке писал Борис Шлецер. Шахматами ведал гроссмейстер Зноско-Боровский.

Фактически газетой руководил выдающийся русский журналист Александр Абрамович Поляков, потому что Милюков следил больше всего за политической линией газеты.

У нас сотрудничали такие люди, как Ремизов и Цветаева. Они оба жаловались, что их печатают неохотно, что они в каком-то загоне. У этих людей была особая судьба, к ним слава пришла посмертно.

Д. Г.: Цветаеву печатали в «Современных записках».

А. С.: Ее печатали в толстых журналах неохотно, ее поэзию при жизни не понимали и не оценили. Она была впереди своего времени. Она это очень переживала, сама об этом часто говорила.

Алексей Михайлович Ремизов немножко юродствовал. Ремизов обставил свою жизнь сказочной атмосферой, выдумывал фантастические истории, используя имена людей живущих, которых все знали. У него были какие-то любимцы – африканский доктор, которого мы все хорошо знали – доктор Уковский. Или он мог написать: «Видел во сне Цвибака. Что это значит?»

Мне очень трудно всех перечислить. Я не помню, сотрудничал ли у нас Борис Константинович Зайцев, но мы были очень дружны. Я его очень любил, уважал и он ко мне очень хорошо относился.

Писал у нас Александр Иванович Куприн, добрейший человек. В молодости он в пьяном виде был страшен во гневе, пил много. А на старости лет и пить-то перестал, потому что хмелел от одного стакана вина и становился мягким, добрым, благожелательным человеком. Я ему очень обязан, потому что он очень помог мне в молодости.

Я писал очерки о ночном Париже. По совести говоря, я теперь их немножко стесняюсь, я никогда за последние 50 лет не раскрыл мою раннюю книжку «Париж ночью». Там были рассказы о парижских улицах, притонах, проститутках – ночная жизнь Парижа. И вдруг Куприну это страшно понравилось, он начал меня хвалить и говорить: «Издайте, издайте

отдельную книгу. Это очень важно, это очень интересно». Я колебался, но издал эту книгу, и Куприн написал предисловие, для меня очень лестное. Это было близко интересам его юности, что ли...

У меня, между прочим, есть другая книга, которой я очень горжусь. И предисловие к ней написал Бунин. Бунин пишет там, что он никогда ни для кого не писал предисловий, да я никогда бы и не осмелился у Ивана Алексеевича попросить предисловие для моей книги, но Бунин сам мне сказал: «Вы знаете, я напишу для вас предисловие, мне очень нравятся „Звездочеты с Босфора“, это хорошая книга, вы должны писать, из вас выработается хороший писатель, если вас не убьет журналист».

Я продолжал выпускать книги, писать беллетристику и продолжал оставаться журналистом на всю жизнь. Очень этим горжусь и очень люблю мою профессию.

Д. Г.: Вы, наверное, знали Довида Кнута?

А. С.: Кнута я знал хорошо. Была целая группа молодых русских, существовал такой кружок «Гатарапак», который обитал в Латинском квартале. Это слово по буквам расшифровывается: Гингер, Терешкович, Поплавский, Кнут. Терешкович – художник, который со мной делил комнату. Поплавский тоже жил со мной в одной комнате, но мы с ним не ладили, потому что он отличался большими странностями. Например, он целыми днями спал, мог спать одетым, повернуться к стене, спать или молчать. Я его, бывало, спрашиваю: «Что ты делаешь, почему валяешься на кровати целый день?» А он отвечает: «Я молюсь». Он трагически погиб, как вы знаете, в результате отравления какими-то наркотиками.

Довид Кнут не был богемой. Он очень гордился тем, что развозил на трехколесном велосипеде какие-то товары по Парижу. Потом он работал в мастерской по раскрашиванию платков. Пошуары, кажется, они назывались. Мы часто бродили ночью по Парижу, через весь Париж, который так красив по ночам. В освещенном ночном Париже горели тысячи газовых фонарей, мы выходили на Конкорд, на Елисейские поля. Никого не было, ни живой души, и нам казалось, что только для нас двоих горят эти сотни фонарей. Я знал его жену и знал вторую его жену Скрябину – дочь композитора Скрябина, которая приняла еврейство и была очень глубоким, интересным человеком. Мы когда-то рассказывали, шутя, я

Довиду или Довид мне еврейский анекдот, который, как евреи считают, они могут рассказывать, даже если они могут показаться антисемитскими. Евреи могут себе позволить такую роскошь.

Когда она услышала наш анекдот, то горько заплакала. Я никогда в жизни этого не забуду. Эта изумительная женщина погибла во время оккупации. Она переводила группу еврейских детей в Швейцарию, а Довид переводил другую группу. Довид благополучно перевел свою группу, а ее накрыл немецкий патруль, открыл огонь – и ее убили.

Д. Г.: А Георгия Иванова вы тоже знали?

А. С.: Знал хорошо.

Д. Г.: Его многие ругают за его воспоминания, которые считают выдуманными.

А. С.: При большой степени талантливости, Жорж был все же циником, и он не стеснялся придумывать, чтобы придать красочность и интерес своему рассказу. Его воспоминания «Китайские тени» были, конечно, весьма и весьма неправдоподобны, чего я не могу сказать о воспоминаниях его жены Ирины Одоевцевой. Эти воспоминания основаны на фактах. Она знала людей, о которых писала. Он тоже знал, но не стеснялся приукрашивать. Вместе с тем он вырос в большого поэта в эмиграции, особенно в период своей болезни. Я с ними был близок и хорошо знал обоих. Ирина сейчас живет в Париже, недавно потеряла своего последнего мужа Якова Николаевича Горбова, тоже писателя.

Д. Г.: Вот уже больше 60-ти лет вы – писатель и журналист – живете вдаль от России, в разрыве с ней. Как вы это воспринимаете, как вы на себя смотрите?

А. С.: Больше 60-ти, точнее, 64 года. Кто-то меня назвал гражданином мира. У меня память плохая на то, что было вчера. Я могу забыть имя человека, которого я знал очень хорошо или который даже сегодня со мной работает, но события, происходившие 60 или 70 лет назад, я помню до мельчайших подробностей.

Поэтому мне легко жить с Россией, но эта Россия совсем другая. Я никогда не выезжал за пределы Крыма, который я знал хорошо. Я обожал татар, я жил с татарами, бывал у них. Они у нас жили, я дружил с одним татаринном, Фитой. И мне не нужно напрягать память, я все это вижу, как живое. Обо всем этом я рассказал в «Крымских рассказах».

Позже Париж. Париж захватывает. Я знал очень много интереснейших людей по редакции «Последних новостей». Все русское, все, что было в нем интересного и выдающегося, проходило через редакцию «Последних новостей», но я еще очень хорошо знал и многих больших французских политических деятелей. Я знал многих и разговаривал со всеми премьер-министрами, бывал на их приемах. Это настолько заполняло жизнь, что для ностальгии не было времени. К тому же, я окончил французский университет, поэтому говорил без русского акцента.

Д. Г.: Так что вы считаете себя писателем-космополитом скорее, чем русским писателем, или как?

А. С.: Нет, почему же? Мои вещи – «Крымские рассказы» или «Звездочет с Босфора» – это очень русские вещи. Вместе с тем, я писал во Франции. Я могу писать и писал в моих позднейших книгах много об Америке. Недавно профессор Константин Калаур защитил докторскую диссертацию, которая называется «Проза Андрея Седых». Она посвящена нескольким моим ранним книгам из истории Парижа, а также нескольким рассказам – крымским, парижским и нью-йоркским. Некоторые его выводы и замечания приводят меня в изумление, многого из того я не подозревал в себе, он открывает во мне некоторые «глубины», которых, конечно, я не чувствовал, когда писал эти рассказы. Я был поражен, когда увидел эту книгу в 270 страниц, посвященную нескольким моим книгам, о моей в общем-то скромной личности.

Д. Г.: Скажите, вы не хотите попытаться или сравнить русскую литературную жизнь Парижа в период между войнами и русской литературной жизнью в Нью-Йорке теперь? Или это невозможно?

А. С.: Нет, это возможно. Я могу это очень легко сделать, потому что я имею об этом довольно точное представление. Это разные вещи. В Париже тогда жили русские классики – Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Бунин, Зайцев, Тэффи, Шмелев, Куприн, я мог бы назвать еще очень многих. Жизнь была очень активная, литературная в первую очередь. Были две газеты, солидные газеты – «Последние новости» и «Возрождение», последняя с меньшим тиражом, менее интересная, которую читали гораздо меньше, но там сотрудничали, например, Мережковский и Гиппиус. Гиппиус потом писала в «Последних новостях» под псевдонимом Антон Крайний.

Все эти поэты и писатели жили в большой нужде, в те времена не было «грантов», никакие университеты их не приглашали, никто с ними не возился. Перевод книги на французский был делом совершенно немислимым. Я помню, какого труда мне стоило добиться издания, первого издания «Темных аллея» во Франции в издательстве Зелюка.

Вообще, книги выходили с большим трудом, а если они выходили, то маленькими тиражами. Полное собрание сочинений Бунина, которого сейчас в России выпускают полумиллионным тиражом, расходуется в одну неделю, в три дня, но в Париже его тогда печатали в русском издании в количестве 1 тысячи экземпляров.

Я был одно время секретарем издательства Поволоцкого в Париже. И Бунин мне сам тогда говорил, шутя, что он завидует моему тиражу, а мой тираж был две тысячи! Мои книги были живые, на них был спрос, а о Бунине говорили: «Ах, Бунин пишет скучно, знаете, у него природа» – Бунин вошел в моду гораздо позже, к концу своей жизни, и особенно его начали ценить после смерти.

В Париже выходило несколько серьезных литературных журналов. Я не говорю уже о «Современных записках», очень солидном журнале. Были и другие. Издавался «Благонамеренный» и еще целый ряд периодических изданий. «Иллюстрированная Россия» выпускала в виде бесплатных приложений 52 книги в год. Настоящие книги в 200-300 страниц. Они переиздали всех классиков, много воспоминаний.

При тираже в одну тысячу экземпляров, что можно заработать на книге? Писатели очень часто устраивали свои благотворительные вечера, развозили билеты, дамы продавали их, но не без труда. И мне когда-то Мария Самойловна Цетлина, знаменитая благотворительница, рассказывала, как устраивался Пушкинский вечер. Она принесла какому-то меценату из нуворишей билет и сказала, что вот такой билет стоит пятьдесят франков, на что тот сказал: «Если Пушкин нуждается, я готов и сто франков дать».

Но это редкое исключение. В Париже существовала тогда культурная элита интеллигенции. Была большая группа философов. Все они – Франк, Бердяев, жили в Париже или около Парижа. Так что шла очень активная, насыщенная литературная жизнь. Люди постоянно встречались на вечерах Союза

писателей, на индивидуальных писательских вечерах и в пользу писателей.

А возьмем теперь Нью-Йорк. В Нью-Йорке есть одна газета «Новое Русское слово», которая существует 72 года. Это старейшая русская газета в мире, потому что советские газеты начали выходить с 1917 года, после того, как были закрыты все старые русские газеты. А «Новое Русское слово» начала издаваться в Нью-Йорке как ежедневная русская газета в 1910 году, то есть 75 лет назад, и нет другой русской газеты в мире, старше «Нового Русского слова», и я очень горжусь, что я ее редактор, и что мне в последние годы удалось немало поднять ее тираж. Конечно, огромное дело создал мой предшественник М. Е. Вейнбаум, бывший редактором «НРС» около 50 лет.

В газете работали все лучшие силы русской эмиграции. С тех пор, как мы с А. А. Поляковым приехали сюда, в ней работал регулярно Алданов, печатался Дон Аминадо, Бунин, Зайцев, Тэффи, и я мог бы до бесконечности перечислять имена сотрудников, которые уже ушли в лучший мир. Их было очень много. Что же вам рассказать еще? Теперь, к сожалению, писатели разрозненны, писатели не устраивают творческих вечеров. Я пошел на творческий вечер одного поэта, вместе со мной там оказалось одиннадцать человек. Такое было совершенно немыслимо в Париже. Так что мне было очень больно и стыдно присутствовать на таком вечере. Значит, тут понастоящему литературной жизни нет. Есть литературный фонд, который занимается больше благотворительной деятельностью, и, к сожалению, активные его члены – люди уже очень солидного возраста, которым очень трудно.

Теперь в эмиграции с успехом выступают только барды, которые приезжают из Советского Союза. Вот приезд Галича был сенсацией, приезд Высоцкого – тоже. А из беллетристов – В. Е. Максимова или В. П. Некрасова. Эти люди собирали залы по полторы тысячи человек, что, по эмигрантским масштабам, колоссальный успех. Но попробуйте устроить вечер какого-нибудь популярного поэта, настоящего поэта, которого любят и читают. Придет несколько десятков человек, в лучшем случае, не больше, и он, конечно, обескураженный, больше не захочет устраивать таких вечеров.

Писатели такого калибра, как Аксенов, которые могли бы быть интересны, которых знают, которых читают, поче-

му-то вообще не устраивают своих вечеров. Может быть, это им не нужно с точки зрения материальной, может быть, с точки зрения моральной, я не знаю. Но вообще третья эмиграция поглощена личной жизнью и устройством, своими личными делами; она совершенно не организована для общественных дел. За 5-7 лет существования третьей эмиграции в Америке здесь создали, может быть, одну-две организации, которые разваливаются или уже развалились. Есть и другие примеры – создали, например, Союз ветеранов и сразу же появилась другая организация – Союз инвалидов Отечественной войны. Во главе поставили такого замечательного человека, как генерал Григоренко – героическая фигура. И уже сейчас эти Союзы разваливаются из-за интриг, разногласий. Мою газету заваливают письмами протеста, которые я, к сожалению, печатать не могу, потому что это такая склока, которая в общем всем вредит, и в первую очередь, самим эмигрантам, которые пишут эти письма.

Д. Г.: Вы считаете, что новейшие эмигранты быстрее ассимилируются?

А. С.: Они ассимилируются, но они были так всего лишены, что у них острая потребность восстановить то, о чем они мечтали всю жизнь – добыть приличные квартиры, хорошую работу, устроиться по специальности, переключиться на другой язык. Это всё требует массу времени, сил. Я их не обвиняю, это всё по-человечески понятно. Им хочется быть хорошо одетыми, им хочется иметь автомобиль, им очень трудно уделять внимание общественным делам.

Но все-таки у нас печатаются лучшие авторы эмиграции – Максимов, Аксенов, Некрасов, Гладилин. Очень много талантливых публицистов – Градобоев, например. Я пишу регулярно по вторникам. Я считаю, что все в какой-то момент проходят обязательно через «Новое Русское слово». И если они в дальнейшем уходят в университетскую работу или в чисто писательскую, как ушел Аксенов, или работают где-то в других журналах, «Континенте», например, – все равно мы с ними не теряем контакта. У нас буквально сотни сотрудников, которые время от времени присылают нам свои материалы и статьи.

Мы теперь выходим шесть раз в неделю, у нас 8-12-16 страниц в номере, и это совершенное чудо. Когда я разговаривал с американцами-журналистами на съезде журналистов

газет, они говорили, что у них работает 80-90 человек в ежедневной газете, а у нас вместе с конторой всего 30. Редакционных же работников всего десять. Двое из редакции, в том числе и я, – из первой эмиграции, один из второй, все остальные – представители третьей советской эмиграции. Они очень серьезные, хорошие работники.

Я не люблю то, что по-английски называют funeral parlor, похоронный дом. Я люблю, чтобы люди разговаривали, смеялись – каждая редакция это немножко политический клуб, немножко кабак. Тогда это хорошо, есть разговоры, есть какое-то общение.

Но работы много, очень трудно в условиях эмиграции при теперешних ценах издавать ежедневную газету. У меня, очевидно, хорошие, крепкие нервы, но это трудная вещь, и для этого нужно много денег.

Еще в городе, как вы знаете, появляются, как грибы после осеннего дождя, еженедельные газеты и журналы, которым трудно. Я не хочу сказать, что они влачат жалкое существование, жалеть их нечего, они делают то, что хотят, и радуются этому. Но им очень трудно. Они умирают через месяц-другой, потом возникают новые. Очень трудно начать новое солидное издание, ежедневную газету без какой-то субсидии. Я очень горд тем, что «Новое Русское слово» никогда за 75 лет своего существования не получало никаких субсидий. Когда дважды газету поджигали – один раз редакцию, один раз типографию, и мы были в критическом положении, я обратился к читателям газеты, друзьям газеты. На каждую из моих статей получал по 50-60 тысяч долларов, и это были по тем временам большие деньги, что позволило нам снова стать на ноги и продолжать газету.

Д. Г.: Какой тираж газеты сейчас?

А. С.: Теперь у нас 42 тысячи экземпляров, из них половина поступает в розничную продажу в Нью-Йорке, а половина уходит во все 50 штатов. У нас есть читатели на Аляске и в Алабаме, в Пекине, и 6 таинственных подписчиков в Москве – вместо адреса – почтовый ящик. К сожалению, я потерял прелестную читательницу из Абиссинии, из Адис-Абебы, которая присылала мне очень забавные письма. Действительно, у нас есть читатели всюду.

Д. Г.: А десять лет тому назад какой был тираж?

А. С.: Когда я пришел в газету, около 22-23 тысяч. Я пере-

нял газету от покойного Марка Ефимовича в 1973 году. Конечно, эмиграция новая принесла новую волну подписчиков.

Эмиграция старая переезжает на кладбище в Париже, в Сент-Женевьев-де-Буа – это русский мавзолей. Я уверен, что когда-нибудь найдется человек, который напишет диссертацию о русских кладбищах в эмиграции. Это интереснейшая тема. Здесь это Ново-Дивеево, старая русская эмиграция на 80% лежит на кладбищах.

Нас, конечно, спасла эта большая волна новых эмигрантов, которые очень жадно накинудись на газету; они никогда ничего подобного не читали в жизни. Для них газета интересна, по утрам на линии собвоя из Бруклина в Манхэттен весь вагон развертывает «Новое Русское слово».

Д. Г.: У вас в газете есть какие-либо литературные архивы?

А. С.: Увы, архивы были уничтожены во время пожара. Отдельные люди собирают материалы. У меня есть личный архив. Часть моего архива я отдал уже давно в Йельский университет. Там было сто писем Бунина, там были письма Куприна, Алданова, Мережковского, – большое собрание писем. Вторая часть архива, очевидно, пойдет туда же.

Д. Г.: Давайте поговорим о Бунине. Вы были его личным секретарем, когда он получил Нобелевскую премию.

А. С.: У Бунина была, по-видимому, особого рода фотографическая память на детали русской жизни. Кстати, нечто вроде этого было и у Зайцева, и чего не было совершенно у Куприна. Куприн мне признавался, что он без России пишет то, что сегодня видел. Он не мог писать так просто, выдумывать. А Бунин мог среди жаркого лета в Грасе, обливаясь потом, сесть и писать о московской зиме, о том, как дворники скальвают лед с тротуаров. И вы это почти физически ощущали, эту зиму.

Бунин был человеком очень нервным, он мог сильно любить и сильно ненавидеть; быть и обаятельнейшим человеком и очень неприятным. Если Бунин был в ударе или кому-то хотел понравиться, он был совершенно неотразим.

Он был великолепный рассказчик, его надо было послушать. Я знал нескольких необыкновенных рассказчиков в эмиграции и в жизни. Художник Коровин, к примеру, относился к этому кругу. Если бы Коровин не писал своих картин, он был бы знаменитым писателем. Коровин рассказывал о

старой русской жизни именно как художник, перед вами были совершенно живые люди. Он играл – он был актер к тому же.

И Шаляпин был такой. Шаляпина я очень хорошо знал. Мы дружили, он мне писал письма. Часть писем я передал в университет, часть писем погибла, конечно. Когда я что-то писал со слов Шаляпина, основной моей задачей было: не дай Бог переменить хоть одно слово в том, что он говорит, потому что я испорчу весь его рассказ. Шаляпина надо было брать целиком, так, как он рассказывал, таким, каким он был.

Я знал и других гениальных людей. Рахманинова, например. Рахманинов был гениален в музыке, он не пытался быть гениальным в другой области. А Шаляпин обожал скульптуру, делал великолепные вещи; Шаляпин обожал рисовать, и это был безукоризненный рисунок. Портреты он делал замечательные. Лучшие портреты Шаляпина – это его автопортреты.

И Бунин был актер. Он когда-то рассказывал мне, что Станиславский умолял его перейти на сцену, бросить писать.

Бунин отличался великолепной внешностью, он хорошо держался и был мастером художественного чтения. Ремизов тоже читал хорошо, но чтение Ремизова было искусственным.

Д. Г.: Николай Андреев назвал ваши воспоминания талантливыми и... «тактичными».

А. С.: Тактичными потому, что я не считал нужным брать большого человека и изображать его большие человеческие слабости. К примеру, эгоизм Бунина общеизвестен, он мог купить в голодные годы ветчину и съесть ее один, не поделившись с очень близкими ему людьми. В поезде он сам ехал в первом классе, а семья могла ехать во втором или в третьем. Себя очень любил. Но не это же составляло его величие, его талант. Я считал, что правильна французская поговорка, что великих людей нет для их слуг. Слуги знают все секреты своих великих людей. Я не был слугой Бунина, я никогда не считал, что я должен придавать значение или выпускать из внимания то, что по-настоящему представлял собой Бунин. Он был человек исключительно талантливый.

Д. Г.: Почему, на ваш взгляд, его так мало читают на Западе?

А. С.: Его никогда не читали массы. Но все же, надо сказать, что у него есть «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско» – очень популярные книги. Почему-то Бунина

считали продолжателем Тургенева, прозу его считали описательной, но сегодня...

Д. Г.: Как он относился к этому?

А. С.: Он очень обижался. Он считал, что к нему несправедливо, что его не понимают, что до читателя не доходит.

Д. Г.: Он также считал, что отношение к его поэзии несправедливо, не любил, когда его считали, в основном, прозаиком.

А. С.: Потому что он был действительно поэтом, но, конечно, несколько старомодным. В те времена, когда появились Блок, Есенин, даже Маяковский, имени которого он слышать не мог, очень немодно стало писать стихи так, как их писал Фет. Это было уже не то, это была поэзия тютчевского типа, поэзия прошлого, никитинская поэзия.

Я с ним страшно ссорился из-за Есенина, я любил Есенина, я находил в нем очень многое, что меня волновало. Бунин не мог слышать о Есенине. И вот после длинных споров он мне прислал свою фотографию с очень нежной надписью, которая, к сожалению, от времени выцвела. Ее с трудом можно разобрать, а на обороте он красными чернилами написал: «Всю лживую поэзию, писарскую поэзию вашего сукина сына Есенина я не продам за эти две строки – „На заре туманной юности полюбил я красну девицу“». Из стихотворения Никитина. Вот таков был Бунин. Под конец жизни он сказал всё, что хотел, в своих литературных воспоминаниях. Он там разоблачил Леонида Андреева, которого считал моральным пузером, человеком на ходулях. Он низвел с пьедестала Горького. Я сказал ему как-то: «Иван Алексеевич, к разряду добрых людей вас никогда не причислят». Он ответил: «Мне не нужно. Но я всегда был честен в литературе».

Специальное приложение

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕЙГАНА ПЕРЕД ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ В СТРАСБУРГЕ 9 МАЯ 1985 г.

Мы отмечаем сегодня 40-летие освобождения Европы от тиранов, захвативших этот континент и ввергнувших его в страшную войну. 40 лет назад замолчали орудия и воцарился мир – мир, который стал самым долгим в этом столетии.

В этот день 40 лет назад парижские бульвары были заполнены радостными толпами, люди снова собирались у Триумфальной Арки, и в свободном и мирном воздухе разносились звуки «Марсельезы». В этот день 40 лет назад Уинстон Черчилль вышел на балкон Уайтхолла и, обращаясь к народу Великобритании, сказал: «Эта победа – ваша». И собравшиеся внизу люди в едином порыве любви и благодарности воскликнули в ответ: «Нет, она – ваша!» Лондонцы сорвали с окон затемнение и осветили прожекторами великие символы английской истории: впервые почти за шесть лет Биг Бен, Букингемский дворец и собор Св. Павла стояли ярко освещенными на фоне темного неба.

А за океаном полмиллиона нью-йоркцев, смеясь и позиря фотографам, заполнили Таймс-Сквер. В Вашингтоне наш новый президент Гарри Трумэн сказал приглашенным в его резиденцию журналистам: «Флаги свободы развеваются сегодня над всей Европой».

В этот день 40 лет назад я был на своем посту на базе военно-воздушных сил в Калвер-Сити, в Калифорнии. Проходя мимо радиоприемника, я услышал: «Леди и джентльмены! Война в Европе закончилась!» Меня пробрала дрожь, как будто по комнате пронесся порыв холодного ветра, и – хотя Америка еще продолжала воевать на Тихом Океане – я понял, что этой минуты мне никогда не забыть.

В этот день нельзя не чувствовать душевного волнения – натягиваются нити, соединяющие нас с прошлым, и мы вспоминаем общие радости и общую горе. Несколько недель тому назад один старый солдат со слезами на глазах сказал: «Тогда мир был совсем другим. Если вы сами не пережили, представить это почти невозможно, но, когда в городах наконец вновь включили свет, я почувствовал, что как бы родился заново».

Если радость тех дней передать трудно, то еще труднее передать тем, кто этого не может помнить, всю глубину страданий Европы. Почти весь континент лежал в руинах. В развалины были превращены целые города. И на этих развалинах играли дети. Они были голодны и просили хлеба.

40 миллионов было убито. А оставшиеся в живых – это был целый континент жертв. И до сегодняшнего дня мы задаем себе вопрос: как это могло случиться? Почему развитие цивилизации приняло такой страшный оборот? Сколько написано об этом книг и снято документальных фильмов, сколько опубликовано исторических исследований, и все же нам до сих пор трудно понять: как это могло случиться?

Ханна Арендт говорила о «банальности зла» – об обычном маленьком человеке, который совершает ужасные злодеяния. Мы знаем, что существовали тираны, которые использовали обожествленное государство, чтобы навязать войну миролюбивым странам и обрушить геноцид на невинные народы.

Мы знаем, что в человеческой душе существует зло, мы знаем, что в нацистской Германии это зло было воплощено в формы государственных институтов – те, кто правил страной, придали ему силу и направленность. И мы знаем, что попытки задобрить тиранов не спасли нас от войны. Не только не спасли, но даже наоборот – они привели к тому, что война стала неминуемой. Уроки, извлеченные из этого, нельзя забывать никогда.

Но есть и другой урок, который можно извлечь из опыта тех дней, и, наверное, его можно назвать «банальностью добра». Обыкновенные мужчины и женщины, которые вдруг находили в себе великие силы, люди, которые пели детям песни во время бомбежек, вступали в Сопротивление и говорили «нет» тирании, люди, у которых хватало мужества укрывать и спасать евреев и инакомыслящих, – в этих людях на какое-то время сосредоточилось все мужество Запада, от ребенка по имени Анна Франк и до героя по имени Рауль Валленберг. Эти имена священны. Они вечно будут укреплять в нас духовные силы. Свет их памяти озарял Европу в самые темные времена.

Кто может забыть тяжелое послевоенное время? Оглядываясь на эти годы, мы не можем не подумать: «Как ясна была тогда жизнь». Жизнь была полна смысла, мы делили радость общих усилий, а потом – ни с чем не сравнимую радость на-

шей победы. Это были дни, когда Запад засучил рукава и взялся за восстановление разрушенного, дни, когда Европа во всей своей красоте вставала из руин. Бывшие враги были вновь приняты в семью европейских народов. Америка и Западная Европа вместе выработали и осуществили восстановительный план Маршалла. Вместе создали мы Атлантический союз, целью которого была не защита преходящих интересов государств, но отстаивание общих идеалов. А чтобы новые тираны никогда больше не смогли терзать Европу, мы вместе создали Организацию Североатлантического договора.

НАТО было не просто крупным организационным успехом, это было нечто новое и совершенно особенное. Ведь сила НАТО проистекала из моральных ценностей представляемых им народов, из их самых высоких идеалов, любви к свободе, из их стремления к миру.

Но самый важный успех заключался, видимо, не в области материальных достижений. Нет, самой значительной послевоенной победой было то, что, несмотря на весь хаос, бедность и усталость, несмотря на все бедствия, выпавшие на долю этого континента, народы Западной Европы не поддались на призывы новых тиранов и отвергли приманку их соблазнительной идеологии. Ваши народы не стали благодатной почвой для новых экстремистских теорий. Вы устояли против искушений тоталитаризма. Ваши народы остались верны демократии, этой мечте, которую фашисты так и не смогли убить. Они выбрали свободу.

Сегодня мы воздаем дань благодарности выдающимся людям, которые вели народы по этому пути; Черчиллю и Моне, Аденауэру и Шуману, Де Гаспери и Спааку, Трумэну и Маршаллу. Мы выражаем признательность и независимым политическим партиям, которые внесли свой вклад в торжество общего дела: либералам и христианским демократам, социал-демократам, лейбористской и консервативной партиям. Они объединили свои усилия, и могучий корабль Европы сдвинулся с мели и устремился вперед.

Если кто-нибудь сомневается в этом успехе, то пусть взглянет на сидящих в этом зале. Здесь находятся те, кто 40 лет назад сражались друг с другом, их сыновья и дочери. Теперь вы работаете вместе и ведете Европу по пути демократии. Вы оставили в прошлом былую враждебность и ненависть. Люди,

собравшиеся в этом зале, – самое убедительное свидетельство примирения и единства Европы.

В послевоенные десятилетия Европа достигла всестороннего развития и могущества, удивительного разнообразия во всех сферах: от искусств и до мод, от промышленности до науки, до мира идей. Европа была сильна и бодра, и это было не случайно. Это было естественным результатом свободы, результатом стремления к демократии. Мы, американцы, восхищались Европой и происходящее в ней называли – насколько не преувеличивая – экономическим чудом.

И это было неудивительно. Когда мы, американцы, говорим о наших европейских корнях, мы чаще всего имеем в виду ваше культурное влияние и богатое этническое наследие. Но ведь и индустриальная революция, преобразившая американскую экономику, пришла тоже из Европы. В основе нашей демократической системы лежат идеи Локка, Монтескье и Адама Смита – европейцев. И гении, возвестившие приход современной индустриально-технической эры, тоже были... Впрочем, я думаю, вы все это знаете. Но приведу все же два примера. Александр Грэхем Белл – автор изобретения, которое выводит из себя в Америке всех родителей, когда их дети во что бы то ни стало хотят позвонить своим европейским друзьям, вместо того, чтобы писать письма, – был шотландец. А Гильельмо Маркони, который изобрел радио – и таким образом обеспечил средства существования молодому человеку из Диксона, штат Иллинойс, будущему политику (я думаю, необходимо пояснить, что этот молодой человек – я, поэтому – да здравствует Маркони!), – так вот, Маркони, как вы знаете, родился в Италии.

Сегодня исполняется 35 лет плану Шумана, плану, который положил начало Европейскому сталепромышленному сообществу, первому шагу на пути создания Объединенной Европы. Целью этого плана было связать французское и немецкое – и вообще европейское – индустриальное производство так тесно, чтобы война между европейскими странами «стала бы не только немислимой, но и невозможной по чисто материальным соображениям». Это слова Роберта Шумана. Сталепромышленное сообщество стало детищем его гения. И если бы сегодня он был здесь, мне кажется, он сказал бы: «Это только начало».

Я поднялся на эту трибуну, чтобы заверить вас: Америка, как и 40 лет назад, полностью поддерживает идею европейского единства. Мы, как и раньше, считаем, что сильная и объединенная Европа – это не соперник, но еще более надежный партнер США. Ведь еще Джон Ф. Кеннеди в своей «декларации независимости», произнесенной 23 года назад в г. Фридом-Белл, в Филадельфии, подчеркнул, что эта цель является ключевой задачей послевоенной американской политики. Эта политика рассматривала Новый и Старый Свет как две одинаково важные опоры более широкого демократического сообщества. Мы, американцы, по-прежнему считаем, что единство Европы – жизненная сила исторического процесса демократизации. Мы поддерживаем расширение Европейского сообщества. Мы приветствуем вступление в него Испании и Португалии, так как их присутствие в ЕЭС способствует усилению Европы, а более сильная Европа – это и более сильный Запад.

И все же, несмотря на европейское «экономическое чудо», которое привело к такому резкому подъему жизненного уровня многих людей, несмотря на плодотворные идеи европейских лидеров, несмотря на расширение демократии внутри самого Европейского сообщества, мне приходится слышать, что сегодня в Европе царит настроение неуверенности. Я слышу выражения «европессимизм» и «европаралич». Мне говорят, что Европа утратила веру в свои силы, характерную для послевоенного времени. Если это и в самом деле так, если по сравнению с прошлым что-то и в самом деле утрачено, не связано ли это с тем, что в последние годы некоторые начали ставить под сомнение те идеалы и философские идеи, которые в течение столетий определяли развитие Запада?

Сегодня я хотел бы остановиться и на этих сомнениях. И вряд ли можно было бы найти для этого лучшее место, чем Страсбург – город, где учился Гёте, где преподавал Пастер, где вдохновенно работал Гюго. В этом городе часто ставили вопросы и часто находили на них удачные ответы.

К тому же, некоторые из нас испытывают к этому городу особо теплые чувства. Известно, что наша Статуя Свободы – это дар Франции и автор ее, Огюст Бартольди, – француз. Не знаю, задерживали ли вы когда-нибудь взгляд на лице статуи, но переселенцы, прибывающие в нью-йоркскую гавань, часто напряженно всматривались в него, как будто стремясь прочесть на нем ответ: что ждет их там, в новом мире. Это доброе

и сильное лицо – лицо матери Бартольди, эльзаски. Мы, американцы, благодарны Европе за многое, в том числе – и за это лицо.

Статуя Свободы – изготовленная в Европе и установленная в Америке – напоминает нам не только о прошлых связях, но и о сегодняшней действительности. Именно к этой действительности мы и должны обращаться, чтобы развеять любые сомнения относительно исторического развития и месте свободного человека в этом развитии. Мы живем в сложном, опасном и расколоте мире, и все же этот мир может обеспечить нас всеми необходимыми благами, духовными и материальными, нужно лишь обладать уверенностью и мужеством, чтобы смело встретить вызов истории.

Нам, на Западе, есть, чем дорожить: миром, благополучием и свободой. Чтобы сохранить эти блага для наших детей и внуков, сегодняшние европейские лидеры должны проявить такую же решимость и проницательность, которой обладали Черчилль, Аденауэр, Де Гаспери и Шуман. Перед ними стояла задача восстановления демократической Европы бок о бок с могучим и опасным советским соседом. Наша задача в некотором смысле еще более сложна – сохранить мир с еще более могущественным Советским Союзом, добиться в отношениях с ним еще большей стабильности и жить вместе в таком мире, где наши ценности могли бы развиваться и дальше.

Лидеры и народы послевоенной Европы извлекли исторические уроки из неудач своих предшественников. Они поняли, что политика умиротворения и потакания только усиливает агрессию, что сама слабость может разжечь аппетиты агрессора. Мы, со своей стороны, многому можем научиться из успехов наших предшественников. Мы знаем, что и конфликты, и агрессию можно предотвратить, что демократические нации могут проявить необходимые для этого решительность, способность идти на жертвы и последовательность в политике.

Со времени создания НАТО в 1949 году и до начала 70-х годов нам удавалось успешно сдерживать агрессивные тенденции Советского Союза. Сила западной экономики, энергичность нашего общества и мудрость нашей дипломатии – все это помогало обуздывать советскую агрессивность. Но решающим фактором, конечно, была уравнивающая мощь –

военная и, прежде всего, ядерная, – которую Запад смог создать для защиты своих интересов. •

В начале 70-х годов Соединенные Штаты потеряли то превосходство над Советским Союзом в области стратегического ядерного вооружения, которое характеризовало послевоенный период. Последствия этой перемены в Европе стали заметны не сразу. Но в мировом масштабе советская политика изменилась резко и опасно. Сначала в 1975 году в Анголе, затем, когда Запад не смог оказать необходимого отпора, в Эфиопии, в Южном Йемене, в Кампучии, а в последнее время – в Афганистане, Советский Союз начал действовать все более рискованно и распространять свое влияние с помощью прямых и косвенных военных акций. Сегодня мы видим, что СССР такими же способами пытается стимулировать региональные конфликты в Центральной Америке и воспользоваться ими.

(Неодобрительные выкрики в зале)

Они там не были. А я был.

(Аплодисменты)

То, что Запад не смог эффективно противостоять советскому авантюризму в конце 70-х годов, объясняется многими причинами. Не последняя из них – то настроение неуверенности, которое воцарилось в США после вьетнамской войны. И если в ранний послевоенный период во всех советских расчетах учитывалось преобладание американской стратегической мощи, то в конце 70-х годов все важные решения в Москве, так же как в Вашингтоне и во всей Европе, принимались на фоне увеличения роста советского ядерного потенциала и застоя – западного.

Некоторые могут сделать из этого вывод, что Запад должен восстановить свое ядерное превосходство, на котором основывались в течение всего послевоенного времени наша безопасность и наша стратегия в отношении Советского Союза. Я так не считаю. Наша свобода и мир не могут и не должны постоянно основываться на расширении ядерных арсеналов.

Вскоре у нас не будет иного выхода, как только состязаться с Советским Союзом в этой области, стремясь к достижению не превосходства, а просто равновесия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты имели современные и надежные ядерные средства во всех стратегически важных

сферах – на море, на суше и в воздухе. Не менее важно, чтобы Франция и Великобритания сохраняли и модернизировали свои независимые стратегические силы.

Советский Союз, однако, не разделяет нашу точку зрения по вопросу о гарантиях стабильного ядерного равновесия. Он предпочел создавать ядерные средства, которые прямо направлены на нанесение первого ядерного удара и, таким образом, на обезоруживание противника. СССР подходит к развертыванию новых мобильных ракет MIRV, которые не только предназначены к нанесению первого удара, но и недоступны для средств радиообнаружения и слежения, а также недоступны мерам, применяемым при контроле над вооружениями. Этим самым Советский Союз подрывает ядерное равновесие, а также основы взаимного сдерживания гонки вооружений.

Можно предложить несколько ответов на продолжающееся увеличение советских ядерных сил. Во-первых, мы можем предложить Советскому Союзу сократить свои наступательные системы в рамках проведения мер по контролю над вооружениями. Мы пытаемся добиться соглашения по этому вопросу на Женевских переговорах. Но другая сторона пока не идет нам навстречу.

Вторая возможность – это увеличить наши усилия по модернизации вооружения, так чтобы не отстать от постоянно возрастающих темпов Советского Союза в этой области, повторяю: не чтобы достичь превосходства, а чтобы только идти наравне. Но является ли это на самом деле приемлемым выходом? Даже если Запад и сможет поддерживать такую гонку, достигнутый стратегический баланс будет менее прочным, чем тот, что существует сегодня. Стоит ли нам соглашаться на бесконечную гонку ядерных вооружений? Я думаю, что нет. Нам необходимы более прочные гарантии мира.

К счастью, существует и третья возможность. Мы можем противопоставить развертыванию советских наступательных средств развитую систему защиты от этих средств. В 1983 году я принял решение о проведении новой исследовательской программы – инициативы стратегической обороны.

Современная технология достигла такого уровня, что вскоре впервые станет возможно использовать неядерные системы для поражения баллистических ракет. СССР уже давно сам признал важность систем оборонительного воору-

жения и вложил в эту область значительные средства. На развитие этих систем в течение более чем 20 лет было израсходовано столько же, сколько и на наступательное вооружение.

Осуществление вышеупомянутой программы потребует времени. В течение всего срока ее развития мы будем соблюдать существующие договорные ограничения. Мы будем проводить подробнейшие консультации с нашими союзниками. А когда придет время принимать решения о возможном производстве и размещении таких систем, мы непременно проведем по этим вопросам обсуждения и переговоры с Советским Союзом.

Я уверен, что и в ближайшем и в более отдаленном будущем Запад сможет поддерживать военное равновесие. Но мы, конечно, должны стремиться к большему, чем просто положение военного перемирия в международной политике.

В 70-е годы мы часто шли на уступки и ограничивали в одностороннем порядке наши программы стратегического вооружения, надеясь, что Советский Союз будет придерживаться в своей политике некоторых правил, таких, например, как отказ от поисков односторонних выгод за счет другой стороны. Эти усилия привели в начале 70-х годов к некоторому улучшению обстановки в Европе (самый наглядный пример – четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Но надежды на более широкое и длительное примирение между Востоком и Западом были погребены в Анголе, Эфиопии, Афганистане и Никарагуа.

Вопрос, стоящий сегодня перед нами, таков: извлекли ли мы полезный урок из этих ошибок и можем ли мы добиться стабильных и мирных отношений с Советским Союзом, основываясь на эффективных сдерживающих мерах и ослаблении напряженности? Я считаю, что да. Я думаю, мы усвоили, что плодотворное сотрудничество с Советским Союзом должно сочетаться с успешным состязанием в тех областях – в частности, в том, что касается Третьего мира, – где Советский Союз еще не готов действовать более сдержанно.

(Несколько человек покидают зал, их провожают аплодисментами и топотом ног)

Вы знаете, я усвоил кое-что полезное для себя. Может быть, если я буду достаточно долго говорить и в своем Конгрессе, некоторые из таких тоже выйдут из зала.

Но разрешите мне остановиться на тех соображениях, которые определяют нашу политику по отношению к Советскому Союзу. Эта политика включает в себя следующие основные элементы:

– В то время, как мы поддерживаем военное равновесие, необходимое для сохранения мира, Соединенные Штаты будут постоянно и неуклонно стремиться к уменьшению напряженности и разрешению спорных вопросов в отношениях с Советским Союзом.

– Соединенные Штаты готовы заключить честные, взаимовыгодные и поддающиеся контролю за выполнением соглашения о сокращении вооружений, и прежде всего – ядерных наступательных вооружений.

– Соединенные Штаты будут настаивать на выполнении условий уже заключенных договоренностей – как ради соблюдения самих этих договоренностей, так и ради укрепления уверенности в возможность будущих соглашений.

– Соединенные Штаты не стремятся получить никаких односторонних преимуществ и, конечно, не согласятся на предоставление таких преимуществ Советскому Союзу.

– Соединенные Штаты будут действовать в тесном контакте со своими союзниками, понимая, что наши судьбы взаимосвязаны и что мы должны выступать как единое целое.

– Соединенные Штаты не стремятся разрушить или изменить существующую в Советском Союзе систему или нанести ущерб безопасности СССР. В то же время Соединенные Штаты будут противодействовать попыткам Советского Союза использовать силу или угрозу ее применения по отношению к другим странам или силой навязать свою систему.

И, наконец, я надеюсь, что советские руководители поймут, что они ничего не выиграют, пытаясь достичь военного превосходства или силой распространить свое влияние, но что, напротив, сотрудничество с Западом в области сокращения вооружений и расширение контактов в других сферах принесет СССР существенные выгоды.

Я поручил государственному секретарю договориться с советскими руководителями о расширенной программе переговоров по важнейшим проблемам. И все же, даже теперь, когда мы предпринимаем новые попытки завязать продуктивный диалог с Советским Союзом, нам приходится вспоминать о препятствиях, обусловленных принципиальными разли-

чиями наших концепций гуманности, прав человека, ценности человеческой жизни. Последнее напоминание об этом – убийство майора Николсона советским солдатом в Восточной Германии и отказ Советского Союза взять на себя ответственность за этот акт.

Если мы хотим добиться успеха в ослаблении напряженности между Востоком и Западом, мы должны найти способы, предотвращающие произвольное использование силы – как против отдельных личностей (случай майора Николсона), так и против групп (инцидент с южнокорейским самолетом).

Именно поэтому я хотел бы изложить вам сегодня в общих чертах план действий, которые кажутся мне полезными. Я предлагаю, чтобы США и СССР предприняли четыре практических меры.

Во-первых, наши страны должны ввести в практику регулярный обмен наблюдателями на военных учениях и при перемещении войск. В настоящее время мы придерживаемся этой взаимовыгодной практики в отношении со многими странами.

Во-вторых, я считаю, что если встречи и обсуждение проблем между руководителями СССР и США бесспорно полезны, то и военные руководители наших стран тоже могут извлечь немало пользы из более тесных контактов. Поэтому я предлагаю проводить регулярные встречи на высшем уровне между представителями советского и американского военного командования; это поможет нам лучше понять друг друга и предотвратить возможность потенциальных катастроф.

В-третьих, я настаиваю на том, чтобы конференция по разоружению в Европе работала бы быстро и эффективно и одобрила бы конкретные меры по укреплению доверия, предложенные странами НАТО. Соединенные Штаты готовы обсудить советское предложение об отказе от использования силы в том случае, если СССР согласится утвердить конкретные меры по укреплению доверия.

В-четвертых, я считаю, что большую пользу может принести постоянно действующая линия связи между военным командованием СССР и США. Этот канал может использоваться для обмена информацией, касающейся текущей военной деятельности, и таким образом уменьшить возможность недоразумения и неправильного истолкования действий другой стороны. Со временем он может превратиться в «устрой-

ство ограничения риска» для быстрой связи и обмена информацией в кризисных ситуациях.

Эти предложения не являются, конечно, панацеей для всех наших сегодняшних проблем и не смогут вернуть жизнь погибшим. Но, как ни ужасны события прошлого, было бы еще большей трагедией, если бы мы не попытались предотвратить гораздо более серьезные катастрофы, которые могут произойти из-за отсутствия необходимых контактов и связи.

Перед нами, на Западе, стоит много задач – и мы должны осуществлять их вместе, мы должны сохранять единство перед лицом попыток разобщить нас и силу – несмотря на попытки нас ослабить. И мы должны помнить, что наше единство и мощь – не просто плод усилий одинаково мыслящих союзников, а естественный результат объединяющей нас любви к свободе.

Мы, конечно, понимаем, что надежды на возможность объединения коммунистической системы и свободных обществ – полнейшая иллюзия. Нам предстоит долгий период идейной борьбы. И мы, на Западе должны ответить на вопрос: сможем ли мы обеспечить необходимые материальные и идеологические средства, чтобы успешно состязаться с СССР в странах Третьего мира. У нас есть немало преимуществ, и не последнее из них – говорящий в нашу пользу опыт тех стран, которые уже испробовали марксизм и сейчас ищут других путей.

Мы не стремимся навязать кому-либо нашу систему, нет у нас и готовых ответов на все большие вопросы нашего времени. Но наши идеалы свободы и демократии... (*Выкрики из зала: «Никарагуа, Никарагуа!»*) Здесь, оказывается, есть эхо? Наши идеалы демократии и свободы, экономические системы наших обществ доказали свою жизнестойкость и способность удовлетворять интересы наших народов. А наши противники могут предложить своим народам лишь экономический застой и власть прогнившей партийной и государственной бюрократии, что, в конечном счете, не удовлетворяет ни материальных, ни духовных потребностей людей.

Я хочу еще раз заверить народы Европы в постоянстве целей американской политики. Мы были на вашей стороне во время двух мировых войн. Мы были на вашей стороне в течение 40 лет не очень спокойного мира. Мы на вашей стороне и сегодня, потому что, как и вы, мы не изменили идеалам За-

пада – идеалам свободы, демократии и мира. И пусть никто – повторяю: никто – не сомневается в наших намерениях.

Соединенные Штаты стремятся не только к обеспечению безопасности Европы, мы преданы и идее расширения и истинного «европеизирования» Европы. Соединенные Штаты стремятся не только к сотрудничеству с Европой – мы стоим и за то, чтобы положить конец искусственному разделению Европы.

Мы не отрицаем законного права всех народов на обеспечение своей безопасности. Мы разделяем главные чаяния всех европейских народов – свобода, благополучие и мир. Но когда разъединяются семьи, когда людям не дают возможности поддерживать нормальные человеческие и культурные контакты, то создается международная напряженность. Только такая система, при которой все люди чувствуют себя в безопасности и обладают независимостью, сможет обеспечить продолжительный и надежный мир.

Поэтому мы поддерживаем сегодня и будем способствовать и в дальнейшем движению за распространение во всей Европе общих социальных, человеческих и демократических идеалов. Дело не в государственных границах, а в обеспечении права всех народов жить так, как они желают. Проблема разделенной Европы, так же, как и другие проблемы, должна быть решена мирными путями. Давайте вновь направим наши усилия на полную реализацию всех положений Хельсинкского Заключительного Акта.

Стремясь укрепить демократию, мы должны помнить, что каждой стране приходится бороться за нее в рамках своей собственной культуры. Рождающиеся демократии сталкиваются с особыми трудностями, и им нужна особая поддержка. Те народы, у которых демократические институты только появляются, а вера в демократию еще не укоренилась достаточно глубоко, нуждаются в нашей помощи. Они должны иметь возможность, как равный к равному, обратиться за помощью или просто за советом к авторитетному сообществу демократических стран.

Обращаясь к парламенту Великобритании в 1982 году, я говорил о том, что демократические правительства должны осуществлять миссию демократии во всем мире. Я высказался в поддержку усилий Европейского Совета собрать для этой цели представителей разных наций. Меня

обнадеживает итог работы этой конференции, «Страсбургская инициатива».

Мы в нашей стране сделали новое важное усилие для укрепления и развития демократических идеалов и институтов. Следуя примеру Федеративной Республики Германии, Конгресс США одобрил создание Национального демократического фонда. Эта организация учредила затем в сферах труда, бизнеса и политики институты, которые должны осуществлять программы сотрудничества с демократическими силами во всем мире. Я надеюсь, что и другие демократические нации присоединятся к этому начинанию и внесут свой вклад в осуществление этой цели.

Здесь, в Западной Европе, вы создали многонациональное демократическое сообщество, в котором возможно свободное перемещение людей, обмен информацией, материальными и культурными ценностями. Жители Западной Европы часто и свободно ездят в другие страны, пользуясь достижениями мысли и культуры других народов и внося свою лепту в их развитие. Я мечтаю о том, чтобы в XXI веке – от которого нас отделяет только 15 лет – жители всей Европы, от Москвы и до Лиссабона, могли бы путешествовать без паспортов и чтобы ни люди, ни идеи не встречали бы на своем пути никаких железных занавесов. Я всем сердцем желаю, чтобы Европа XXI века стала единой и свободной.

Я не верю тем, кто утверждает, что в Европе сегодня властвует пессимизм, что ее охватил паралич. И мне хочется сказать: Европа, дорогая Европа, ты сама не знаешь, насколько ты велика. Ты сокровищница многовековой западной культуры и мысли, ты родоначальница идеалов и веры Запада.

Европа, ты всегда была силой и славой Запада, ты подтверждение его морального успеха. В тяжкие послевоенные времена ты отвергла тоталитаризм, ты отвергла приманку нового «супермена» и «нового коммунистического человека». Ты доказала, что ты была – и продолжаешь оставаться – нравственным торжеством.

Западная Европа – это Европа без иллюзий, Европа, твердо придерживающаяся идеалов и традиций, которые принесли ей величие, Европа, не скованная несостоятельной идеологией. Сегодня это – новая Европа на пороге нового века, демократическое общество, которому есть чем гордиться.

У нас много дел. Работа, ожидающая нас, сродни возведению огромного собора. Она кропотлива, трудна и потребует много времени. Она с гордостью передается от поколения к поколению. В ней принимают участие не только лидеры, но и самые обычные люди. Собор воздвигается медленно, каждое поколение привносит что-то свое, соответствующее своему, новому видению, но первоначальные идеалы не меняются, и вера, определяющее новое видение, остается прежней. Результаты этой работы видны не сразу, но наши дети и внуки заметят в воздухе величественные своды и узнают веру, самоотверженность и любовь, которые воздвигли их. Друзья мои, этот собор – Европа, и от него все еще исходит свет.

А если вы сомневаетесь в том, хватит ли вам воли, духа и сил для борьбы, вспомните о тех, кто 40 лет назад плакал на развалинах и смеялся на улицах, о тех, кто победно шествовал по Европе, кто с любовью и преданностью благодарил Черчилля, кто пел «Марсельезу» на бульварах. Такой дух не умирает. Он не может погибнуть, он не исчезнет. Слишком многое стоит за ним.

И в заключение мне хотелось бы добавить только одно: ваша вера в демократию проявилась в том, что выступавшие здесь говорили свободно, так, как они на самом деле думали. И все же я не могу не напомнить: некоторые из тех, кто пользуется этим демократическим правом, кажется, не отдают себе отчета в том, что если та форма правления, которую они пропагандируют, станет реальностью, никто больше не сможет говорить так же свободно.

Благодарю вас за все ваше внимание в этот великий день. Благодарю вас и да благословит вас Бог.

Вашингтон
Белый Дом

23 октября 1985 г.

г-ну Алберту Джолису
Секретарю-казначее
Американского фонда содействия
Интернационалу Сопротивления
Пятая Авеню, 500, Нью-Йорк

Уважаемый господин Джолис,

Благодарю Вас и членов Американского фонда содействия Интернационалу Сопротивления за присланную мне брошюру о деятельности вашей организации.

На протяжении жизни многих поколений мы, американцы, пользовались благами свободы – этого общего нашего наследия, которое, о чем мы иногда забываем, было завоевано для нас ценой пролитой крови и самопожертвования отцов-основателей нашего государства. Так вспомним же еще раз, что та борьба против тирании, в которую они вступили 200 лет назад, продолжается и сегодня, а ту высокую цену, которая была заплачена за нашу свободу в Америке, платят ныне борцы за свободу в Камбодже и Анголе, в Афганистане и Никарагуа, в Польше и – да! да! – в Советском Союзе.

Ваша организация поставила перед собой задачу – напоминать свободным народам повсюду в мире об узах, связывающих их с теми, кто сражается за свою свободу. Всех нас связывает и объединяет одна общая цель – сопротивление угнетению. И какие бы формы ни принимало это сопротивление, в качестве залога победы оно неизменно требует от всех нас самоотверженности и преданности этой высокой цели. Мы, американцы, должны не только оказывать поддержку тем, кто активно борется против тоталитаризма, но также делать все, что в наших силах, для упрочения демократии и укрепления ее институтов. Демократия предлагает миру альтернативу, позволяющую избежать любых крайностей тирании. Именно с демократией связаны все наши надежды на мир, безопасность и свободу.

Я хотел бы воспользоваться представившейся мне возможностью и для того, чтобы высказать свою высокую оценку деятельности Американского фонда содействия Интернационалу Сопротивления и передать всем его членам мои самые лучшие пожелания. Вы занимаетесь благородным делом, и я надеюсь, что вашим усилиям будет постоянно сопутствовать успех.

С уважением,

Рональд Рейган

ПОДПИСКА НА 1986 ГОД

«СТРЕЛЕЦ»

*Еженедельный иллюстрированный журнал литературы,
искусства и общественно-политической мысли.*

Главный редактор – Александр ГЛЕЗЕР.

В журнале представлены проза, поэзия, литературная критика, литературный архив, интервью, воспоминания, эссе, изобразительное искусство, кино, театр, публицистика. «Стрелец» печатает произведения, созданные и в эмиграции, и в метрополии, рецензирует наиболее интересные книги русских писателей и поэтов, вышедшие на Западе и в России, публикует неизвестную и забытую прозу 10-х – 20-х годов, освещает творчество русских художников-нонконформистов, дает оперативную информацию о выставках русских художников в Европе и США, Москве и Ленинграде. В журнале помещаются статьи и рецензии как русских, так и западных критиков и искусствоведов, посвященные русской культуре, литературе и изобразительному искусству. В портфеле редакции на 1986 год: новые прозаические произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Георгия Владимова, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Виктора Некрасова, Вадима Нечаева, Дмитрия Савицкого, Сергея Юрьенена и других писателей-эмигрантов, рассказы, поступившие к нам по каналам Самиздата из СССР; стихи Дмитрия Бобышева, Василия Бетаки, Наталии Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского, Алексея Радашкевича, московских и ленинградских неофициальных поэтов; в разделе «Литературный архив» предполагается опубликовать неизвестные и мало известные современному читателю рассказы, повести и романы Леонида Андреева, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Гайто Газданова, Алексея Ремизова.

Вас ждут воспоминания деятелей литературы и искусства, интервью с писателями, поэтами и художниками, статьи ведущих критиков и публицистов эмиграции.

Стоимость годовой подписки, включая пересылку: 36 долларов или 336 фр. франков.

Для подписавшихся до 15 ноября 1985 г. установлена льготная стоимость годовой подписки в 30 долларов или 280 фр. франков.

Стоимость подписки на комплект журналов за 1984 и 1985 гг. (вместе) 55 долл. или 550 фр. фр. а на один из этих годов – 30 долл. или 280 фр. фр., включая пересылку.

Заказы и чеки направлять по адресу: **в США** – Alexander Glezer, 286 Barrow St., Jersey-City, N. J. 07302, U. S. A.

в Европе: Alexander Glezer, Chateau du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron, France.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,- ДМ, или 17.50 US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 3.50 US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату производу:

приложенным чеком почтовым переводом

через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

Г Р А Н И № 138

под редакцией

Г. Н. Владимова

В номере: глава из нового романа Владимира Максимова «Звезда Адмирала», статья Бориса Парамонова «Канал Грибоедова», литературно-критические статьи Елены Гессен, Игоря Ефимова, Елены Тудоровской, Александра Жолковского, П. Вайля и А. Гениса, исторический очерк Виталия Рапопорта «Меч и скрипка», стихи Вероники Долиной и Нины Бодровой, библиография...

«Грани» выходят 4 раза в год. В каждом номере 320 стр. Большой отдел прозы, поэзия, литературная критика, философия, история, публицистика, полемика, воспоминания, документы...

Подписывайтесь на журнал «Грани» непосредственно в издательстве «Посев» (Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M., -80) – 56 н. м. или 25 ам. долл. в год, в представительствах издательства (70 н. м. или 28 ам. долл. в год) или покупайте его в любых русских книжных магазинах (17,50 н. м. или 7 ам. долл. за номер).

НАУМУ КОРЖАВИНУ – 60 ЛЕТ

Поздравлять поэта с датой, хотя бы и с круглой, – почти оскорбительно, ибо возраст поэта – это возраст поэзии: мгновение и вечность.



Поэтому в день шестидесятилетия мы поздравляем Наума Коржавина не с днем рождения, а с мгновениями, которые он сумел и успел остановить – вне зависимости от того, были они горьки или радостны. Ведь горечь кормит стих еще и вернее радости, и все, что есть жизнь, – сколько бы предательств она ни совершала – все равно прекрасно.

Мы поздравляем Наума Коржавина с его стихами, ходившими по рукам, с неисповедимыми путями, какими имя его, произносившееся шепотом или вополгоса, стало известно гораздо раньше, чем вышла из печати его первая книжка, – еще в начале 50-х годов. И даже если ему уготован был тяжкий для всякого художника жребий выпускать в свет не свеженькие, с пылу с жару строки, а книги-итоги десятилетий, мы и с этим поздравляем поэта, ибо десятилетия и итоги – были, есть. И будут, разумеется.

Мы поздравляем его с неистощимой его горячностью, с неистощимой памятью, с неистощимой болью и с неистощимой любовью ко всему, что объединено магическим именем «Россия». Мы поздравляем его с органической, кровной связью с тем, что зовется СЛОВО (которое было Вначале, которое было у Бога и которое было – Бог).

Мы поздравляем Наума с его добротой, с его непримиримостью, с его выступлениями и статьями, с его верностью друзьям и с верностью ему друзей. Мы поздравляем его с прошлым и будущим. И с нашим искренним и горячим желанием еще долго поздравлять большого поэта с круглыми датами.

«КОНТИНЕНТ»